

ISSN 2074-0492 (PRINT)
ISSN 2413-144X (ONLINE)

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Научный и общественно-политический журнал

Sociology of Power

Т. 37 № 3 (2025)

Vol. 37. No 3 (2025)

ТЕМА ВЫПУСКА:
ТЕОРИИ НАСИЛИЯ

SPECIAL TOPIC:
THEORIES OF VIOLENCE

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ

Выходит с 1989 г.

Периодичность: 4 выпуска в год

Социология ВЛАСТИ

Том 37 № 3 2025

Редакция:

- А. А. Смолькин, канд. социол. наук, РАНХиГС, Москва, Россия (*главный редактор*)
А. И. Зыгмонт, канд. филос. наук, РАНХиГС, Москва, Россия (*зам. главного редактора*)
И. В. Напреенко, НИУ ВШЭ, Москва, Россия (*научный редактор*)
Н. Кловайт, Университет Падерборна, Падерборн, Германия (*редактор англоязычных материалов*)

Редакционная коллегия:

- С. Жижек, PhD, Люблянский университет (Любляна, Словения)
В. А. Мау, д-р экон. наук, профессор, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара (Москва, Россия)
Д. В. Михель, д-р филос. наук, профессор, ИНИОН РАН (Москва, Россия)
Дж. Моррис, PhD, Орхусский университет (Орхус, Дания)
М. М. Соколов, канд. социол. наук, Европейский Университет (Санкт-Петербург, Россия)
Э. Сперо, PhD, Массачусетский технологический институт (Кембридж, США)
О. Е. Столярова, д-р филос. наук, профессор, Институт философии РАН (Москва, Россия)
А. С. Титков, канд. геогр. наук, Университет Манчестера (Манчестер, Великобритания)
И. В. Утехин, канд. ист. наук, Европейский Университет (Санкт-Петербург, Россия)
А. Ф. Филиппов, д-р социол. наук, профессор НИУ ВШЭ (Москва, Россия)
И. Д. Фрумин, д-р пед. наук, профессор, Университет Констрактер (Бремен, Германия)
П. Хиггс, PhD, Университетский Колледж Лондона (Лондон, Великобритания)
И. Чалаков, PhD, Университет Пловдива (Пловдив, Болгария)

Адрес редакции:

119602, Москва, пр. Вернадского, 82, стр. 3 (корпус 2)

Отпечатано в типографии ИД «Дело»

Адрес издателя и типографии:

119602, Москва, пр. Вернадского, 84, корпус 3

<https://socofpower.ranepa.ru>

soc.of.power@gmail.com

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 — 46715 от 23.09.2011

Входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ России (К1).

Индексация: Белый список РЦНИ, RSCI, ВАК (К1), Финский белый список (JUFO), DOAJ, ERIH Plus, PhilPapers, Hungarian Scientific Bibliography Database, UlrichWeb Global Serials Directory, Jisc Open policy finder (бывш. Sherpa Romeo), Scilit, OpenAlex, Wikidata, Scholia, Fatcat, Journal Observatory, DNB 1/DNB 2, CrossRef, ROAD, РИНЦ, eLibrary

© РАНХиГС (дизайн, верстка), 2025

© Авторы, 2025

Sociology of Power

Sotsiologiya vlasti

Vol. 37. No 3, 2025

Founder: The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Frequency: quarterly

Founded: 1989

Editorial Office:

Editor-in-Chief: Anton A. Smolkin, Cand. Sci. (Sociol.), RANEPA, Moscow, Russian Federation

Deputy Editor-in-Chief: Aleksei I. Zygmont, Cand. Sci. (Philos.), RANEPA, Moscow, Russian Federation

Scientific Editor: Ivan V. Napreenko, HSE University, Moscow, Russian Federation

Editor of the English content: Nils Klowait, Paderborn University, Paderborn, Germany

Editorial Board:

Paul Higgs, PhD, University College London, London, United Kingdom

Alexander F. Filippov, PhD, National Research University Higher School of Economics, Russian Federation

Issak D. Frumin, PhD, Constructor University, Bremen, Germany

Vladimir A. Mau, PhD, Gaidar Institute for Economic Policy, Moscow, Russian Federation

Dmitry V. Mikhel, PhD, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Jeremy Morris, PhD, Aarhus University, Aarhus, Denmark

Mikhail M. Sokolov, PhD, European University, St. Petersburg, Russian Federation

Ellan Spero, PhD, MIT, Cambridge, USA

Olga E. Stolyarova, PhD, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Ivan Tchalakov, PhD, University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria

Alexey S. Titkov, PhD, University of Manchester, Manchester, United Kingdom

Ilia V. Utekhin, PhD, European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russian Federation

Slavoj Žižek, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Editorial address:

82 (build. 3), Vernadskogo Ave, Moscow, 119602, Russian Federation

Indexing: Finnish Journal White List (JUFO), DOAJ, ERIH Plus, PhilPapers, Russian Science Citation Index (RSCI), Russian white list, Jisc Open policy finder (former — Sherpa Romeo), Hungarian Scientific Bibliography Database, UlrichWeb Global Serials Directory, Scilit, OpenAlex, Wikidata, Scholia, Fatcat, Journal Observatory, DNB 1/DNB 2, ROAD, Russian Journal Rank RCSI, eLibrary

<https://socofpower.ranepa.ru>

soc.of.power@gmail.com

Printed at “Delo” printing house

© RANEPA (design, layout), 2025

© Authors, 2025

Содержание

Предисловие редактора-составителя

-
- 8 Алексей И. Зыгмонт
От «теории» — к «теориям» насилия

Статьи. Теории насилия

-
- 13 Мария М. Родионова
«Вавилонская башня»: теоретический обзор детерминант обыденных представлений о межличностном насилии
-
- 36 Антон А. Сизов
Надзор и структурное насилие: от Паноптикона к алгоритмам
-
- 61 Оксана В. Тимофеева
Лошадь бьют: от насилия к сексуальности и обратно
-
- 80 Григорий А. Часовских
Функциональный комплиментаризм насилия и социального контроля в исследованиях эволюции морали
-
- 97 Дмитрий А. Бочков
Как катастрофа становится коллективной травмой: насилие и социальный порядок в дюркгеймианской перспективе
-
- 126 Иннокентий А. Мартынов
Насилие и травма как «слабые» концепты
(в перспективе гlosсематики)
-
- 155 Роман В. Гуляев
«Искусство, которому нельзя предаваться от случая к случаю»:
разум и насилие у Фукидода

Статьи. Исследования

-
- 177 Александр А. Ижогин, Андрей В. Коротаев
Влияние раскола элит на успех невооруженных
революционных выступлений начала XXI века

-
- 214 Евгений А. Варшавер, Анастасия А. Орлова,
Юлия В. Гупалова
В Москве живут славяне и южане? Исследование вернакулярных
категоризаций с применением элицитационных методов

Рецензии

-
- 241 Полина В. Чудина (Врублевская)
Мимикрия под микросоциологию. *Рецензия на книгу:*
Коллинз Р. (2025) Насилие. Микросоциологическая теория /
Пер. с англ. Н. Проценко. М.: Новое литературное обозрение
-
- 252 Никита А. Кутявин
О дегуманизации (и нелюбви к трампизму). *Рецензия на книгу:*
Смит Д. Л. (2025) О бесчеловечности. Дегуманизация и как ей
противостоять. Ереван: Fortis Press
-
- 261 Кирилл С. Благодаров
Немецкие дары и русские харизмы. *Рецензия на книгу:*
Ячменик В. (2025) «Духовные вожди»: Понятие харизмы
и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века. М.:
Новое литературное обозрение

Table of Contents

Contributing Editor's Foreword

-
- 8 ALEKSEI I. ZYGMONT
From “Theory” to “Theories” of Violence

Articles. Theories of Violence

-
- 13 MARIA M. RODIONOVA
“Tower of Babel”: A Theoretical Review on the Determinants
Shaping Lay Perceptions of Interpersonal Violence
-
- 36 ANTON A. SIZOV
Surveillance and Structural Violence: From Panopticon to
Algorithms
-
- 61 OXANA V. TIMOFEEVA
The Horse is Beaten: From Violence to Sexuality and Back Again
-
- 80 GRIGORIY A. CHASOVSKIKH
Functional Complementarity of Violence and Social Control in
Studies of Moral Evolution
-
- 97 DMITRII A. BOCHKOV
How Disaster Becomes Collective Trauma: Violence and Social
Order from a Durkheimian Perspective
-
- 126 INNOKENTIY A. MARTYNOV
Violence and Trauma as “Weak” Concepts (in the Perspective of
Glossematics)
-
- 155 ROMAN V. GULYAEV
“An Art Not to Be Attended at Idle Times”: Reason and Violence in
Thucydides

Articles. Investigations

-
- 177 ALEXANDER A. IZHOGIN, ANDREY V. KOROTAYEV
Impact of the Split of Elites on the Success of Unarmed
Revolutionary Episodes of the Early 21st Century

-
- 214 EVGENI A. VARSHAVER, ANASTASIA A. ORLOVA, YULIA V. GUPALOVA
Are There Only Two Ethnic Groups in Moscow: Slavs and
Southerners? Research on Vernacular Categorization Using
Elicitation Methods

Book Reviews

- 241 POLINA V. CHUDINA (VRUBLEVSKAYA)
Mimicry of Microsociology. *Book Review:* Collins R. (2025) Violence.
A Micro-sociological Theory / N. Protsenko, trans. Moscow: New
Literary Review
-
- 252 NIKITA A. KUTYAVIN
On Dehumanization (and Hatred of Trumpism). *Book Review:*
Smith D. L. (2025) On Inhumanity: Dehumanization and How to
Resist It. Yerevan: Fortis Press
-
- 261 KIRILL S. BLAGODAROV
German Graces and Russian Charismata. *Book Review:*
Yachmenik V. (2025) "Spiritual Leaders." The Concept of Charisma
and Figures of Religious Leadership in Early 20th-Century Russia.
M.: Novoye Literaturnoye Obozreniye

Предисловие редактора-составителя

Редакторская заметка / Note

От «теории» — к «теориям» насилия

АЛЕКСЕЙ И. ЗЫГМОНТ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0002-5822-9014>

Рекомендация для цитирования:
Зыгмонт А. И. (2025) От «теории» —
к «теориям» насилия. *Социология
власти*, 37 (3): 8-12
EDN: BEXDFG

8

For citation:
Zygmunt A. I. (2025) From "Theory"
to "Theories" of Violence. *Sociology of
Power*, 37 (3): 8-12

Поступила в редакцию: 29.09.2025;
принята в печать: 01.10.2025
Received: 29.09.2025; Accepted:
01.10.2025



© Author, 2025
This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Предметом социальной теории «насилие» в собственном смысле стало начиная по меньшей мере с XVII–XVIII веков, когда о нем рассуждали Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо. Однако расцвет теоретического осмысливания насилия пришелся уже на XX век, точнее — на период после Второй мировой. Казалось бы, геноциды и войны должны были направить социологов, философов и других исследователей по пути физической трактовки этого феномена — вот они, горы трупов и моря крови, репрессивный аппарат государства и прочее, — но парадоксальным образом произошло обратное: говорить о насилии стало труднее. В качестве «насилия» было узнано и многое другое, а само понятие расщепилось, стало множественным. Если исследователи в чем-то насчет «насилия» сегодня между собой и согласны — так это в том, что они не согласны и, вероятно, согласия никогда не достигнут. Помимо того, что в качестве «насилия» были узнаны и многие вещи, которые раньше таковыми не считались (от педагогики и взгляда до «глазлитинга»), ситуация осложняется тем, что «насилие» в теоретическом осмысливании часто приходится сводить к другим, еще более труд-

ным и запутанным понятиям: силе, принуждению, власти, господству, агрессии, деструктивности и так далее.

Можно согласиться с тем, что безотносительно времени своего появления теории насилия делятся на «классические» и «новые» (Родионова, Смирнов 2022). В концепциях первого рода, которых до сих пор обычно придерживаются социологи, а также социальные и политические теоретики, насилие — это физический акт, воздействие на тело. Оно принципиально видимо, у него есть различимые субъект и объект. «Новые» же определения насилия, как водится, — не такие уж новые и восходят по крайней мере к левой теории 1970-х годов с ее фундаментальным подозрением, что насилия гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и что оно лежит в самом основании «социального порядка». Субъект насилия выступает лишь как его агент — пешка в «руках» структуры, которая сама зачастую «не ведает, что творит». Более того: меркнет не только субъект, но и объект насилия. П. Бурдье и Ж.-К. Пассрон, например, в 1970 году заявляли: «Всякое педагогическое воздействие (ПВ) объективно является символическим насилием, поскольку с помощью произвольной власти навязывает культурный произвол» (Bourdieu, Passeron 1970, p. 19), — но ведь школьник не знает, что родители и учителя творят над ним такое насилие, и может считать его чем-то естественным и даже хорошим. Наконец, если раньше насилие считалось функциональным — средством на службе у цели, — то с утратой субъекта-объекта и обновленным акцентом на моральных вопросах оно становится до абсурда дисфункциональным — туманом, который клубится сам в себе. Среди примеров такого рода теорий — концепции «структурного» и «культурного» (Й. Галтунг), «символического» (П. Бурдье), «системного» (С. Жижек), «тихого» (Н. Гарвер) или психологического насилия — эти понятия ужеочно вошли в наш язык.

Поэтому данный номер «Социологии власти» посвящен не какой-то единой «теории насилия»; когда ее критиковал в своем «Анти-Дюринге» Энгельс, она, может, и существовала, но сейчас невозможна. Вместо этого мы обратились к теоретическому осмыслению разных трактовок насилия — или, лучше сказать, даже разных «насилий». Закономерным образом такая работа не могла ограничиться рамками одной дисциплины, а охватывает социологию, «передовую» социальную теорию, философию и историю. В основной раздел вошло семь текстов, чьи авторы либо анализируют существующие теории насилия, либо предлагают авторские концептуальные разработки.

Открывающая номер статья Марии Родионовой посвящена так называемым обыденным представлениям о насилии — тем самым, к которым в качестве «последнего средства» иногда обращаются социологи, отчаявшись разобраться в дебрях теории. Эти обыденные

представления, как показывается в тексте, следуют скорее в русле «классических» описаний насилия как физического акта, который происходит на межличностном уровне и в значительной мере определен наличием оправдывающих факторов, а также моральными оценками. Впрочем, эти «обыденные» представления на поверку оказываются ничуть не менее сложными и многогранными — а потому и не более надежными, чем «научные».

В противоположном направлении идет Антон Сизов, который рассматривает феномен наблюдения в современном цифровизированном обществе сквозь призму теорий «структурного» и «тихого» насилия. По мнению автора, со времен изобретения Паноптикона у И. Бентама — и его анализа у Фуко — заключенное в «надзоре» структурное насилие прошло долгий путь и теперь воспроизводится уже не всесильным государством и не людьми с их частными конфликтами, а безлично-капиталистическими интерфейсами и алгоритмами, которые создают «асимметрию аффордансов» и все больше лишают людей автономии.

Статья Оксаны Тимофеевой переосмысливает связь насилия и сексуальности на материале одного из известнейших «кейсов» Фрейда — случая маленького Ганса. Как известно, маленький Ганс боялся лошадей, видел, как их избивают, ассоциировал себя с «жеребенком» — а потом захотел избивать лошадей сам. В пику Фрейду эта связка переосмысливается так, что сексуальность оказывается лишней. На первый план выходит насилие над животными — и над живыми существами вообще: в основе социализации лежит принятие насилия, транзит от естественной эмпатии к социально одобряемой агрессии: так «проведенный» через патриархальную машину маскулинности инициант совершает переход от «бытия лошадью» к сомнительной потребности «бить лошадь».

Тригений Часовских обращается к исследованиям эволюции морали и подвергает критическому пересмотру широко известную в этой сфере теорию функционального комплиментаризма насилия и социального контроля, в рамках которой насилие трактуется как эволюционно обусловленный инструмент поддержания внутригрупповой кооперации и межгрупповой конкуренции. Ставя под сомнение однозначность и неизбежность этой функциональной связки, автор обращается к данным культурной антропологии, эволюционной теории игр и приматологии и утверждает, что насилие — это не «судьба» человеческого вида: его практики в достаточной мере опосредованы культурными механизмами, чтобы открыть нам дорогу к преодолению насилия — или хотя бы сдерживанию.

Следующие две статьи так или иначе имеют дело с понятием «травмы», чья сложность усиливается тем, что изначально после Первой мировой войны оно описывало боевую психическую травму

(то, что мы сейчас называем «ПТСР»), а затем проложило себе путь из военной медицины и психиатрии в социологию. Так, Дмитрий Бочков исследует концептуализацию травмы на этом первом этапе, когда она понятным образом трактовалась как следствие насилия на поле боя, а затем обращается к послевоенной американской социологии катастрофы. Автор приходит к выводу, что катастрофа не является «коллективной травмой» изначально и объективно, поскольку может вызывать как разрыв, так и усиление социальных связей, — но «производится» как таковая пострадавшими благодаря тому, что осмысляется через призму насилия.

Совсем иную позицию в отношении связи «травма-насилие» занимает Иннокентий Мартынов. Опираясь на семиологию Луи Ельмслева (глоссематику), он показывает, что оба этих понятия — рекурсивные семиотические системы, которые в силу постоянных взаимных отсылок и слабых внутренних связей пронизаны своего рода понятийной «энтропией» и для анализа не годятся. Поэтому для понимания сущности «травмы» исследователь предлагает рассматривать ее вне связи с «насилием» — как ослабление функций «Я». В статье демонстрируется, как при помощи глоссематики можно «усиливать» концепты, в конечном счете превращая их в более ясные и практические.

11

Уникальную перспективу предлагает Роман Гуляев в закрывающей номер статье о морских сражениях в «Истории Пелопоннесской войны» Фукидida. Рассмотрение крайне частных аспектов устройства кораблей и боевой тактики греков позволяет автору поднимать более глубокие вопросы о соотношении политики, стратегии и техники, контроле над насилием (или его отсутствии) и конструировании различий между «цивилизованными людьми» и «варварами». В заключении автор делает зловещий вывод, что именно у Фукидida человек впервые предстает как «существо, выражющее собственную человечность через насилие» — и неясно, человек ли управляет насилием или наоборот.

В блоке рецензий представлены три текста. Наиболее тематический из них — обзор Полины Врублевской на фундаментальную работу Рэндалла Коллинза «Насилие. Микросоциологическая теория», переведенную в этом году издательством «НЛО». Публикация этой книги на русском — важнейшее событие, однако работа Коллинза местами вызывает больше вопросов, чем дает ответов, — что и обозначает автор рецензии. Далее следует критический отзыв Никиты Кутявина на недавнюю книгу американского философа Дэвида Ливингстона Смита «О бесчеловечности. Дегуманизация и как ей противостоять». Автор рецензии задается вопросом, можно ли называть врагов дегуманизации «силами добра», не выставляя оппонентов «силами зла» — не «дегуманизируя дегуманизаторов». Наконец, за-

вершает раздел наименее тематический, но оттого не менее ценный отзыв Кирилла Благодарова на книгу Вячеслава Ячменника «“Духовные вожди”: Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века», также изданную в «НЛО» в серии *Studia Religiosa*.

С учетом того, что исследования по теории насилия в России велись до сих пор разрозненно, а переведенных работ на эту тему крайне мало, надеемся, что данный номер позволит если не «продвинуть» эту область исследований, то продемонстрировать сложность концептуализации насилия и показать, в сколь разных направлениях могут двигаться исследования на эту тему.

Список источников / References

Родионова М. М. & Смирнов Н. М. (2022) Корабль Тесея: трансформации понятия насилия в политической и социальной теории. *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*, 3, с. 6-27. EDN: LOWNBU. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-6-27>

— Rodionova M. M. & Smirnov N. M. (2022) The Ship of Theseus: Transformations of the Concept of Violence in Political and Social Theory. *Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast*, 3, 6-27. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-6-27> (in Russ.)

Bourdieu P., Passeron J.-C. (1970) *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*. Les Éditions de Minuit.

12

Об авторе / About the author

Зыгмонт Алексей Игоревич — кандидат философских наук, заместитель главного редактора журнала «Социология власти», РАНХиГС. Научные интересы: религия и насилие, мученичество, теория сакрального, французская мысль XX века, религия в России.

<https://orcid.org/0000-0002-5822-9014>. E-mail: alekseizygmont@gmail.com

Aleksei I. Zygmunt — Cand Sci. (Philosophy), Deputy Editor-in-Chief of the journal «Sociology of Power», The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Research interests: Religion and violence, martyrdom, theory of the sacred, 20th century French thought, religion in Russia.

<https://orcid.org/0000-0002-5822-9014>. E-mail: alekseizygmont@gmail.com

Статьи. Теории насилия

Научная статья / Original Article

«Вавилонская башня»: теоретический обзор детерминант обыденных представлений о межличностном насилии

Мария М. Родионова

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0002-2246-379X>

Рекомендация для цитирования:
Родионова М. М. (2025) «Вавилонская башня»: теоретический обзор детерминант обыденных представлений о межличностном насилии. *Социология власти*, 37 (3): 13–35
EDN: EXXUTL

For citation:
Rodionova M. M. (2025) "Tower of Babel". A Theoretical Review on the Determinants Shaping Lay Perceptions of Interpersonal Violence. *Sociology of Power*, 37 (3): 13–35

Поступила в редакцию: 31.03.2025;
прошла рецензирование: 16.07.2025;
принята в печать: 20.07.2025
Received: 31.03.2025; Revised:
16.07.2025; Accepted: 20.07.2025



© Author, 2025

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: Несмотря на широкую распространность и возрастающую популярность, понятие насилия остается неоднозначным и спорным как в повседневном обиходе, так и в академическом дискурсе. Эта статья посвящена межличностному насилию и призвана выявить ключевые факторы, влияющие на то, что люди будут определять как насилие. На основе систематического теоретического обзора существующих эмпирических исследований в данной работе показано, как люди воспринимают и классифицируют насильтственные действия в зависимости от характеристики оцениваемой ситуации конфликтного взаимодействия. Продемонстрировано, что индивидуальные характеристики оценивающих оказывают меньшее влияние на обыденные оценки, чем факторы, описывающие оцениваемую ситуацию. Среди этих ситуативных факторов важнейшую роль играет восприятие намерения агента насилия: преднамеренные действия, направленные на причинение вреда, с большей вероятностью классифицируются как насильтственные по сравнению с непреднамеренными. Еще одним важным фактором оказывается тип насилия и ассоциированный с ним вред: физическое насилие оценивается как более

13

серьезное по сравнению с психологическим. Кроме того, на обыденное восприятие насилия влияет наличие оправдывающих действие оснований и моральная оценка поступка. В обыденном восприятии наличие оснований, нормализующих действие, снижает готовность расценивать происходящее как насилие. Более того, обыденная оценка насильственности действия оказывается тесно связана с его обыденной моральной оценкой. В исследовании освещаются различия между обыденными и научными концептуализациями насилия. Показано, что обыденные представления о насилии не менее многообразны, чем научные, но при этом более устойчивы.

Ключевые слова: социальное насилие, систематический обзор, предна меренное действие, физическое насилие, психологическое насилие, вред, оправдание насилия, моральная оценка насилия

“Tower of Babel”: A Theoretical Review on the Determinants Shaping Lay Perceptions of Interpersonal Violence

Maria M. Rodionova

14

Higher School of Economics National Research University, Moscow,
Russian Federation
<https://orcid.org/0000-0002-2246-379X>

Abstract: Despite its high prevalence and increasing popularity, the concept of violence remains ambiguous and contested in both everyday and academic discourse. This article focuses on interpersonal violence and aims to identify the key factors that influence what people will define as violence. Based on a systematic theoretical review of existing empirical research, this paper shows how people perceive and categorize violent acts depending on the characteristics of the evaluated conflict interaction. It is demonstrated that individual characteristics of assessors have less influence on lay evaluations than factors describing the situation being assessed. Among these situational factors, the perception of the intent of the violent agent plays a crucial role: intentional acts aimed at causing harm are more likely to be classified as violent compared to unintentional acts. Another important factor is the type of violence and the harm associated with it: physical violence is rated as more severe than psychological violence. In addition, the existence of justifying reasons and the moral evaluation of the act influence the perception of violence. In lay perceptions, normalization narratives surrounding an action tend to reduce how violent it is judged to be. Furthermore, the perceived violence of an action is closely linked to its lay moral evaluation. The study highlights the differences between lay and scientific conceptualizations of violence. It shows that lay conceptualizations of violence are as multifaceted as scientific conceptualizations, yet are more robust.

Keywords: social violence, systematic review, intentional action, physical violence, psychological violence, harm, justification of violence, moral evaluation of violence

Несмотря на то что смысл понятия «насилие» кажется самоочевидным, обыденные представления о нем кардинально различаются. То, что составляет насилие для одного человека, может рассматриваться другим как часть обычного порядка вещей и *vice versa*. Порой, обсуждая насилие, люди обнаруживают, что говорят будто бы на разных языках, наделяя понятие принципиально разными смыслами. Это обстоятельство иллюстрирует то, почему за насилием, наряду с другими понятиями политической и социальной науки (Gallie 1956; Collier et al. 2006), закрепляется статус «принципиально оспариваемого» (De Haan 2008). Понятие насилия, в отличие от многих других «принципиально оспариваемых» понятий, представляет особую проблему, поскольку затрагивает нормативные аспекты социальной трансгрессии. Понятие перестает быть однозначным и употребляется для обозначения самых разнообразных социальных ситуаций: от указаний на домашнее и психологическое насилия, ставших привычными для слуха, до более современных указаний на насильственный юмор (Swani et al. 2013) или насильтственные мобильности (Balkmar 2018). Свобода в обращении с термином характеризует как обыденный, так и научный дискурсы.

15

В это же время количество как теоретических, так и эмпирических исследований в области социальных наук, посвященных насилию, неуклонно возрастает. Стремясь привести концептуализацию понятия в соответствие со своими исследовательскими задачами, ученые, рассматривающие расширяющийся спектр вопросов, связанных с насилием, производят гетерогенные определения насилия, которые не согласуются друг с другом. Это затруднение достаточно тривиально: предлагая респондентам, например, оценить их отношение к пощечине или к пренебрежению собеседником (или частоту, с которой они сами прибегают к этим действиям или становятся их реципиентами), мы лишь предполагаем, что измеряем именно насилие, хотя достоверно не знаем, определяют ли сами респонденты пощечину и пренебрежение как насилие (Stanko 2003). Исследователи констатируют, что научное сообщество все дальше от консенсуса о том, что, собственно, составляет понятие насилия и как отношение к нему, соответственно, должно быть измерено (Blumenthal et al. 1972; Tolan 2007). Радикальное решение, некритически предлагаемое в этом случае, состоит в том, чтобы отказаться от выработанных к настоящему моменту способов концептуализации насилия в научном дискурсе и полностью заместить их обыденными определениями и интуициями (Rucht 2003). Однако, как я постараюсь показать, обыденные представления о «насилии» кажутся самоочевидными и однозначными только на первый взгляд.

Цель настоящей статьи заключается в определении ключевых факторов, которые детерминируют обыденные представления о межличностном насилии и конституируют его обыденные определения. Для этого я предлагаю обратиться к системному теоретическому обзору немногочисленных эмпирических исследований, посвященных поиску детерминант обыденных оценок насилия. Прежде чем приступить к непосредственной теоретической работе, необходимо сделать ряд концептуальных оговорок.

Во-первых, в рамках предлагаемого анализа я ограничиваюсь только ситуациями межличностного насилия, эталонное проявление которого подразумевает социальное взаимодействие между двумя людьми. За рамками рассмотрения я оставляю обыденное восприятие других форм насилия, например межгруппового, классически являющегося предметом изучения социальной психологии, или межгосударственного, рассматриваемого политической наукой. Несмотря на то что некоторые детерминанты обыденного восприятия насилия разных типов могут совпадать — что вполне ожидаемо, коль скоро речь ведется о феноменах схожей природы, — я не претендую на их универсальное описание, фокусируясь на ситуациях межличностного социального взаимодействия.

16

Во-вторых, факторов, которые могут влиять на то, что тот или иной человек посчитает насилием, чрезвычайно много, они неоднородны и учесть их все в рамках одного обзора затруднительно. Тем не менее они могут быть объединены в две крупные аналитические категории. К первой должны быть отнесены *индивидуальные характеристики* человека, оценивающего насилие: пол, уровень образования, личный опыт столкновения с насилием в прошлом, выраженность определенных психоэмоциональных черт и так далее. Ко второй принадлежат *характеристики, присущие оцениваемой ситуации и ее участникам*: предшествующая история взаимодействия потенциальных агента и реципиента насилия, их намерения, характер действия, его исход и так далее. Сравнение вкладов этих двух категорий факторов в объяснение наблюдаемых различий в оценках насилия показывает, что вес индивидуальных факторов (4-9%) существенно меньше тех, что описывают ситуацию (43-45%), подлежащую оцениванию (Triplett et al. 2016, p. 346). В других случаях обнаруживается, что оценки насильственности поступков всецело определяются представлениями людей о самой ситуации, и статистически не связаны с их социально-демографическими характеристиками (Adriaenssen 2020, p. 141-142). Содержательно это означает, что при оценке конфликтных ситуаций, потенциально связанных с манифестацией насилия, люди руководствуются прежде всего их фактическим содержанием и интерпретацией. Можно осторожно предположить, что в ситуации оценивания люди стре-

мятся занять, насколько это возможно, нейтральную позицию и дистанцироваться от собственного опыта. Однако это не означает, что они всегда успешно изолируют влияние своего социального опыта на собственные оценки — например, систематически демонстрируется, что женщины чаще расценивают ситуации как насилистические и в целом оказываются более чувствительны к разным типам насилия (Sikström 2021; Triplett et al. 2016; Kennel, Agresti 1995). В свете вышесказанного наиболее целесообразной представляется в первую очередь теоретическая систематизация и классификация второй группы факторов.

В-третьих, обыденные представления людей о насилии измеряются по-разному. В большинстве случаев для измерения того, считает ли человек ту или иную ситуацию насилием, используется одна из двух шкал оценивания: *дихотомическая* или (*псевдо-*)*интервальная*. В первом случае человеку требуется выбрать из двух вариантов (например, является насилием или не является насилием), во втором — оценить степень насилия по шкале (например, от нуля до десяти, где ноль означает минимальную насилийность, а десять — максимальную). Вторая стратегия пользуется большей востребованностью в силу сложившейся традиции и не в последнюю очередь из-за требований статистических методов анализа, применяемых в современных эмпирических исследованиях. На практике используются и другие, менее распространенные способы: сумматорные шкалы (Straus et al. 1996; Dilek, Aytolan 2008); свободное ассоциативное перечисление действий, относящихся к насилию (Larsson, Gill 2013; Morgan, Björkert 2006); класс нереактивных методов исследований (Lindgren 2014; Hagemann-White 2008) и психофизиологическое измерение (Carruthers, Taggart 1973; Leiberg et al. 2012). Тем не менее неизвестно, как именно формируется и формулируется обыденная оценка насилия: маркирует ли человек ситуацию в абсолютных категориях (не)насилия, оценивает ли степень ее насилийности в некоем спектре, мысленно сравнивает ее со схожими ситуациями, или вовсе прибегает к нескольким тактикам оценивания параллельно? Это ограничение тем не менее свойственно не только способам измерения обыденных оценок насилия, но и процедуре измерения субъективных оценок как таковой. Стремясь частично компенсировать его, я включаю исследования в систематический обзор вне зависимости от используемых в них способов фиксации обыденной оценки насилия.

Наконец, указание на «обыденный» или «повседневный» характер рассматриваемых представлений и определений отсылает к устоявшейся в научном дискурсе традиции, посвященной изучению отношения людей к широкому кругу феноменов с помощью их обыденных оценок (англ. *lay evaluations*). Может казаться, будто

бы «обыденное» означает здесь простое и банальное, а «научное» — непременно истинное и правильное. Это не так. Различие между обыденными и научными представлениями о насилии проводится для того, чтобы указать на существование двух принципиально несводимых друг к другу дискурсивных областей и не стремится подчеркнуть превосходство одной над другой.

* * *

Рассматривая ситуативные факторы, детерминирующие обыденные оценки насилия, я организую их множество в укрупненные смысловые группы. Во-первых, я выделяю *степень преднамеренности действия и намерение* как связанные факторы, поскольку при обыденном оценивании степень преднамеренности действия агента принимается во внимание в связи с планируемым им исходом такого действия. При маркировании ситуации как насильтвенной люди обращают внимание на то, что было планируемым результатом действия и насколько оно вообще было преднамеренным. Во-вторых, я рассматриваю *характер действия и тип ассоциированного с ним вреда*, обращая отдельное внимание на физические действия и физический вред. При определении того, что является насилием, люди ориентируются на то, что, собственно, произошло, различая ситуации физических и нефизических социальных взаимодействий, которые могут приводить к разным результатам. Физическое взаимодействие в конфликтной ситуации вероятнее повлечет за собой физический вред, а вербальное противостояние скорее причинит психологическое страдание — однако детерминируемые этим обыденные оценки насилия различают и ситуации, когда характер действия и тип вреда оказываются диссоциированы (например, случаи, когда физическое действие приводит и к физическим, и к психологическим последствиям, или случаи, когда физическое действие не приводит к вреду). В-третьих, я рассматриваю ориентацию обыденных оценок на представление *о наличии легитимного основания действия*. При рассмотрении потенциально насильтвенной ситуации люди обращают внимание на основание, оправдывающее действие. Такими основаниями зачастую являются желательность и неотъемлемость (неизбежность) причинения вреда, представляемые в логике превентивного или ответного действия; например, когда насильтвенное действие призвано предотвратить больший вред или дать отпор ранее инициированной агрессии. Наконец, я указываю, что в обыденном представлении насилие является *моральной и нормативной категорией*, а значит, практически все факторы, детерминирующие обыденное вос-

приятие хорошего и плохого, приемлемого и предосудительного, также могут объяснить и обыденные оценки насилия.

Подобная классификация носит предварительный характер и может быть расширена, дополнена и уточнена в будущем. В заключении к статье я кратко намечаю еще несколько возможных групп факторов, достойных исследовательского внимания: фигуры агента и реципиента, институциональные ожидания, эффекты фреймирования.

Степень преднамеренности действия и намерение агента

Намерение действия — это один из немногих критерииев, в котором между научными и обыденными концептуализациями насилия обнаруживается подобие согласия. Несмотря на то что некоторые исследователи включают в акты насилия чистые случайности или, например, игровое поведение (Lehrner, Allen 2014), зачастую насилие определяется как преднамеренное действие, направленное на причинение вреда (Hamby 2017; Jacquette 2013; Wikström, Treiber 2009). Даже сторонники более скептических взглядов на необходимость интенциональности в теоретическом определении насилия (Bufacchi 2007) не отрицают ее важности в обыденных оценках насилия. Неоднозначные трактовки преступного умысла (лат. *mens rea*), по-прежнему возникающие и активно обсуждаемые в современной правовой традиции, подчеркивают особенное положение намерения агента в классификации ситуации.

19

Обыденные оценки действий как насильтственных или не имеющих отношения к насилию ориентируются не только на степень преднамеренности действия, представленную в диахотомической логике «случайное» — «преднамеренное», но и на непосредственное содержание намерения, то есть планируемый результат действия, представленный палитрой альтернатив от «оказания помощи» до «причинения вреда». Немногочисленные исследования детерминант обыденных представлений о насилии свидетельствуют о том, что намерение причинить вред оказывается одним из наиболее сильных и устойчивых предикторов в аналитических моделях, объясняющих субъективные оценки насильтственности.

Приписываемое агенту намерение оказывается тесно скоррелировано с воспринимаемой степенью насильтственности при оценке насилия на телеэкране (Sander 1997, р. 66–67), при этом эффект сохраняется при включении в модель всех контрольных переменных. Когда респонденты предполагают наличие у действующего осознанного намерения, они оценивают действие как более насильтственное. Обратный эффект наблюдается для шуточного контекста применения

силы — он отрицательно связан с обыденной оценкой насилия (Sander 1997: 66–67). Еще одна эмпирическая работа обнаруживает, что наличие намерения причинить вред (вне зависимости от того, был ли он в итоге причинен или нет), которое участники приписывали агенту, было положительно связано с их оценкой степени насилия действия. Это же исследование показывает, что ситуации, которые, по мнению респондентов, ассоциированы с намерением причинить физический вред реципиенту, оцениваются как более насилиственные в сравнении с теми, в которых, по их мнению, преобладает намерение причинить эмоциональный вред (Triplett et al. 2016).

Намерение причинить физический вред оказывается, вероятно, важнее, чем непосредственно причинение вреда. Некоторые исследования не обнаруживают различий в оценках между удавшимся и неудавшимся покушением, если они связаны с намерениями причинения вреда; при этом оценки этих ситуаций значимо отличаются от аналогичных, но произошедших случайно или по неосторожности (Trémolière, Djegiouat 2016). Такой паттерн характерен скорее для обыденной оценки предосудительности, и не наблюдается в случае правовой оценки поступков (Cushman 2008). Другие исследования тем не менее обнаруживают различия в обыденных оценках между неудавшимся покушением и успешным причинением вреда (Young et al. 2010).

Таким образом, обыденные оценки насилия во многом опираются на представление о намерении агента. В тех случаях, когда люди предполагают наличие у агента намерения причинить вред, они оценивают ситуацию как заведомо более насилиственную. Ситуации же, в которых сопоставимый ущерб наносится реципиенту случайно, то есть при отсутствии соответствующего намерения, не рассматриваются как проявления насилия. Это важный критерий, который частично объясняет, почему оценки одного и того же действия (например, случайного и специального обжигания другого кипятком) могут дифференцироваться в обыденных представлениях. Намерение, которым обладает и/или которое приписывается агенту, будет частично объяснять разницу в оценках насилия с виду идентичных социальных ситуаций.

Здесь же обнаруживается проблема и эмпирических исследований, и теоретических концептуализаций насилия — намерение агента остается принципиально недоступным для внешней оценки и предстает предметом обыденной или теоретической реконструкции. Эта проблема — осознанно или нет — эксплуатируется в обыденном дискурсе, когда требуется оправдать причиненный вред, и выражается в широко тиражируемой сентенции «я не специально». Многолетняя судебная практика также убедительно демонстрирует

множественные трудности, сопровождающие процесс доказательства наличия преступного умысла (Parsons 2000).

Эмпирические исследования частично снимают эту проблему, предъявляя в экспериментальных описаниях варьирующуюся информацию о *смоделированном* и поэтому *достоверно известном* намерении агента. Теоретически видится несколько способов рассмотрения обозначенного затруднения: с одной стороны, такой способ предлагают интерпретативные подходы, фокусирующиеся на агенте, социальном действии и его смыслах; с другой стороны — подходы, смещающие акценты в пользу структуры, «через» которую действуют агенты (Archer 2003). Так, теория атрибуции (Heider 2013) предполагает, что смысл действия и его дальнейшая оценка во многом определяется мотивом, который ему приписывается; структуралистская же социальная теория (Galtung 1969; Бурдье 1993) фокусируется на эффектах действия и допускает, что, совершая насилие, сам агент может этого не осознавать (и, как следствие, не намереваться прибегнуть к насилию).

Вне зависимости от того, какая стратегия разрешения этого парадокса покажется наиболее предпочтительной, обнаруживается, что обыденное восприятие насилия зависит от представлений о намерении агента, совершающего действие, которое на практике, как я постараюсь показать далее, оказывается практически неотделимо от своих последствий.

21

Физическое действие и ассоциированный с ним физический вред

Одним из ключевых, если не главным, фактором при обыденном маркировании насилия является сам характер действия и его исход. Эта идея логически продолжает предыдущий пассаж: причиненный физический вред чаще всего — хотя, разумеется, не всегда — является результатом преднамеренного физического действия. В обыденном представлении насилие — это в первую очередь физическое действие или такое действие, которое влечет за собой физический вред. Это несколько противоречит тренду, успевшему наметиться в социальных исследованиях, последовательно смещающих фокус в определении насилия к его «метафизическим» основаниям, — будь то свободная воля агентов (Гусейнов 1992, с. 72) или их структурные диспозиции (Galtung 1969). Более того, современная социология допускает включение все большего числа действий в таксономическое определение насилия (Hamby 2017). В ряд с классическим физическим насилием встает психологическое, исключающее необходимость физического воздействия одного агента на другого — и, как следствие, их физического соприсутствия. Наси-

лие может проявлять себя в ситуации между субъектами, которые не знакомы и разделены пространственно и темпорально; в случае структурного насилия непосредственный агент насилия физически не воплощен (Sørensen 2014). Исследования же обыденных представлений о насилии систематически показывают, что физический характер действия является неотъемлемой чертой, позволяющей людям судить о том, что происходит именно насилие.

Исследование обыденных спонтанных ассоциаций показывает (Larsson, Gill 2013, p. 293), что дети и подростки, описывая ситуации, которые они считают насилием, упоминают психологическое насилие значительно реже (5–8%), чем межличностное физическое насилие (73–76%). В сравнении с детьми и подростками взрослые люди оказываются чувствительнее к проявлениям психологического насилия (18%), но маркируют его в качестве такового все так же значительно реже, чем физические проявления этого феномена (64%). Обыденная оценка насилистичности при включении в модель контрольных переменных (Sander 1997, p. 67) оказывается теснее связана с физическими действиями ($\beta = 0,49$) в сравнении с психологическими ($\beta = 0,27$). Исследование обыденных оценок серьезности различных типов правонарушений также показывает (Adriaenssen et al. 2020, p. 141), что действия, предполагающие непосредственный физический и телесный вред (убийство, изнасилование, вооруженное нападение) оцениваются как более серьезные и насилиственные в сравнении с теми, что влекут материальный (ограбление, кража) или косвенный ущерб (корпоративное мошенничество, торговля наркотиками).

В свою очередь, феноменология Эммануэля Левинаса и следующие в ее русле исследователи предлагают теоретическое допущение об абсолютном характере категории насилия: оно выражается в идее, что насилие неквантифицируемо и не существует, соответственно, «большего» и «меньшего» насилия (Evink 2014). Однако проявления физического насилия, вероятно, имеют в обыденных представлениях кумулятивный эффект. Исследование, моделирующее судебное заседание, показывает, что присяжные более склонны выносить смертный приговор в случаях, когда речь идет о большем числе убитых (White 1987).

В своем исследовании Сверкер Сикстрём и его соавторы показывают, что обыденные оценки тяжести психологического насилия стабильно ниже, чем аналогичные показатели для физического насилия (Sikström et al. 2021). В еще одном исследовании Сикстрём и Матц Дауль показывают, что, оценивая различные действия, участники эксперимента при прочих равных расценивают физическое и сексуализированное насилие как «более насилиственное» в сравнении с психологическим (Sikström, Dahl 2013, p. 8).

Справедливым стало бы замечание о том, что психологическое насилие оценивается как систематически менее насильственное ввиду того, что оно не требует физического соприсутствия людей (и может осуществляться, например, онлайн) и, как следствие, частично нивелирует риски, сопряженные с немедленной эскалацией ситуации насилия до физических форм. Недавнее исследование опровергло это предположение (Wilson, Smirles 2022): ситуации психологического насилия, возникающие в онлайн-коммуникации, оцениваются так же, как и те, что происходят во взаимодействии лицом к лицу, и при этом расцениваются людьми как систематически менее серьезные в сравнении с манифестациями физического насилия. Более того, исследования также обнаруживают, что респонденты расценивают как более насильственные те формы психологического насилия, которые ближе к физическому аспекту действия: например, угрозы причинить физический вред (Álvarez et. al. 2015, p. 384).

Таким образом, несмотря на то что современные исследования постепенно отходят от «классических» концептуализаций насилия, подразумевающих физические действия (Родионова, Смирнов 2022), обыденные оценки насилия во многом формируются именно восприятием его характера: нефизические действия воспринимаются как менее насильственные в сравнении с физическими. Однако даже преднамеренные физические действия, влекущие за собой вред, не всегда классифицируются обычайтелями как насильственные: при оценке действий они оказываются чувствительны к контексту, который сопровождает его и который я намереваюсь рассмотреть далее.

23

Наличие легитимного основания и оправдание действия

Критерий легитимности становится одним из центральных в концептуализациях насилия, предложенных политической философией, теорией международных отношений и правовой традицией. С одной стороны, стоит отметить оправдывающие насилие основания, рассматриваемые современной теорией справедливой войны: к ним классически относятся логики «превентивного» и «ответного» ударов (Gray 2007; Walzer 2002). С другой стороны, необходимо указать и на легальные основания, которые задействуются при правовой классификации насилия, — это доктрина «двойного эффекта» (действие, имеющее положительные и отрицательные эффекты, если негативные последствия не являются его целью) (Bica 1997) и принцип необходимости и пропорциональности (действие ограничивается только необходимыми мерами и реализуется в соразмерном объеме) (Gardam 2004). Эти способы маркирования насилия предложены и развиты в области международных отноше-

ний и права, а потому закономерен вопрос о том, могут ли они быть прямо перенесены на случаи межличностных взаимодействий.

Некоторые теоретики убедительно показывают, что если преднамеренное физическое действие, направленное на причинение вреда, при этом желательно и неизбежно (Hamby 2017, p. 170), оно не может быть классифицировано как межличностное насилие. К взаимодействиям такого рода относятся, например, самооборона и медицинское вмешательство (*Ibid.*, p. 171). Яркий житейский пример «насилия» во благо приводит Б.Г. Капустин: «Я могу силой воспрепятствовать своему нетрезвому приятелю сесть за руль автомобиля, стремясь предотвратить риск весьма вероятной аварии или ареста его полицией» (Капустин 2003, с. 11) — использование принуждения и даже физической силы, если оно мотивировано благими намерениями, не может считаться, как показывает автор, насилием в полной мере. Обыденные представления о насилии оказываются крайне чувствительны к истории взаимодействия агентов, предшествующей оцениваемой ситуации. Наличие в ней основания, оправдывающего поступок, вне зависимости от его сути, — будь то самооборона, предотвращение большего вреда, традиция и обычай, функциональность насилия — снижает обыденные оценки насилийности.

24

Субъективное представление о наличии «причины для удара, которая делает его нормальным», отрицательно скоррелировано с обыденными оценками степени насилийности действия (Triplett et al. 2016, p. 346). Представление о наличии легитимного основания (вне зависимости от его содержания) для применения силы в оцениваемой конфликтной ситуации, демонстрируемой на телевидении, также отрицательно связано с обыденными оценками насилия (Sander 1997, p. 66–67). Обыденная оценка допустимости физических наказаний детей возрастает, если наказание производится с целью «остановить ребенка, когда тот совершает опасное действие» (Hazell et al. 2003, p. 58–59).

Исследования судебной практики также показывают, что случаи убийства в результате самообороны расцениваются присяжными как менее серьезные в сравнении с другими типами непреднамеренных убийств (Sousa, Lavery 2023). Предшествующая история взаимодействия оказывается важна, например, при оценке домашнего насилия в суде: в случае, если женщина неоднократно подвергалась насилию со стороны партнера в течение долгого времени, присяжные вынесут ему более строгий приговор; в случае, если такая женщина выступает подсудимой (например, по обвинению в превышении пределов необходимой обороны), она, наоборот, вероятнее получит более мягкий приговор (Bornstein, Nemeth 1999). Обыденная оценка насилия оказывается связана не только с легитимностью действий агента, но и с нелегитимностью его контрагента, то есть реципиента насилия, — недавнее исследова-

ние показывает, что воспринимаемая нелегитимность действий сотрудников полиции повышает одобрение насилистенных действий по отношению к ним (Andersen 2023).

К основанию, оправдывающему насилие, относится также прямое или косвенное согласие участников взаимодействия. Примером могут послужить различные единоборства и виды спорта, подразумевающие рукопашный бой, — спортсмены рефлексируют возможность травматизации, но не маркируют соревнования как акты насилия (Andreasson, Johansson 2019). Намеренное причинение физического вреда во время сексуального акта не рассматривается как насилие в случае консенсуальных BDSM-практик, подразумевающих активное согласие всех партнеров (Pitagora 2013; Rocha 2016).

В остальных случаях контент-анализ дискурсивных логик оправдания насилия в интимных отношениях показывает, что наиболее оправданными людям представляются формы взаимодействия, позволяющие избежать большего насилия, например, «оскорбить партнера вместо того, чтобы ударить» или «не использовать грубую силу» (Lelaurain et al. 2018). Стратегии оправдания насилия в близких отношениях нередко рассматривают насилие в функциональном ключе: как способ коммуникации или инструмент поддержания романтических чувств (Borochowitz, Eisikovits 2002).

25

Таким образом, обыденная оценка насилия оказывается тесно связана с наличием основания, оправдывающего его: оно становится «насилием во благо» и «насилием по согласию», неизбежным побочным эффектом, желательным и ожидаемым, — и это делает его меньшим насилием в обыденном представлении. Обыденная оценка насилия при этом опирается как на сам факт присутствия оправдывающего основания, так и на его содержание. В этом отношении основание легитимации и обсужденная ранее степень преднамеренности функционируют схожим образом. А это означает, что проблемы,ственные реконструкции намерения, характерны и для оправдывающих насилие оснований. Дискурсивные основания, призванные объяснить и оправдать произошедшее насилие — например, в логике «он начал первый» и «она сама виновата», — нередко предъявляются *post factum*. Эти основания нередко ненаблюдаются, что делает их предметом обыденного восприятия, поддающегося манипуляции. Однако одновременно они подчеркивают, что обыденная оценка насилия чувствительна и к моральному измерению поступка.

Моральная предосудительность и нормативный аспект насилия

Теоретический дискурс о насилии часто пренебрегает нормативным измерением насилия. Это может быть естественным следстви-

ем попытки исследователей воздержаться от нормативных оценок предмета своего рассмотрения и остаться в русле требуемой от них объективности. Так или иначе, насилие теоретизируется, за редкими исключениями (Holmes 1973; Runkle 1976; Wyckoff 2013), во многом технически и инструментально, как если бы оно возникало из ничего, — то есть в отрыве от той ситуации конфликта моральной природы, которая сопровождает его.

Эту проблему обнаруживает и пытается частично преодолеть Дональд Блэк. В своей работе «Моральное время» он утверждает, что всякое насилие возникает в результате слишком стремительных или слишком кардинальных изменений в социальном времени (Black 2011). Под ним, в свою очередь, он подразумевает три измерения морального времени: реляционное, вертикальное и культурное (Black 2011). Под реляционным временем подразумеваются изменения социального расстояния, например, ссора близких друзей или внезапная интимная близость; под вертикальным временем понимаются изменения социальной стратификации, например, внезапные позитивные и негативные изменения в уровне благосостояния или статусе; под культурным — изменения идентичности, например, новые нормы или противоречивые ценности. Объяснятельная модель, предложенная Блэком, предполагает, что обыденное восприятие насилия оказывается детерминировано резкими изменениями морального времени: например, в случаях резкого сближения незнакомцев или если ранее маргинализованная группа стремительно становится привилегированной. Теория находит ряд косвенных эмпирических подтверждений. Экспериментальное исследование показывает, что при прочих равных обыденная оценка насилия оказывается выше для потенциально конфликтных социальных взаимодействий между незнакомцами, чем между знакомыми людьми (Barlow 2013, р. 60–62). Некоторые исследования показывают, что люди оказываются менее толерантны к применению силы по отношению к незнакомцам, чем по отношению к знакомым и друзьям (West 1986, р. 233). Социальные отношения между оценивающим и участниками ситуации также влияют на оценки насилия: демонстрируется, что люди охотнее маркируют как насилие действия, совершенные незнакомцем, чем их другом (Mead, Kelty 2021).

Обыденные оценки насилия, таким образом, оказываются чувствительны к моральному измерению манифестации насилия. Это объяснимо: теории, предметом которых становятся моральные суждения людей, показывают, что представления о «хорошем» и «плохом» детерминированы тем, насколько оцениваемое действие соответствует моральным ожиданиям (Hauser 2006), — и коль скоро насилие нарушает нормативные ожидания, оно будет рас-

цениваться как моральная трансгрессия. Ранние исследования, моделирующие вердикты суда присяжных, показывают, что моральная гнусность (англ. *heinousness*) насильтственных преступлений — определяемая в юридической практике как шокирующая и экстремальная сторона преступления — позитивно связана, при прочих равных, с более строгими вердиктами присяжных заседателей (Bornstein, Nemeth 1999).

Акты межличностного насилия затрагивают разнообразные моральные основания, по которым классически оцениваются морально-релевантные аспекты социального взаимодействия (Graham et al. 2013): от очевидных оснований заботы и справедливости до лояльности, авторитета и чистоты. Эти основания, согласно теории, принимаются людьми во внимание при оценке неоднозначных социальных ситуаций, к которым относится насилие. Например, нарушение лояльности партнеру, выраженное в измене, оказывается положительно связано с готовностью оправдывать насилие по отношению к изменнику — нарушителю лояльности (Lelaurain et al. 2018). Аналогично люди, разделяющие ценности «чистоты» и «святости», более склонны к оправданию межличностного насилия в семейных отношениях (Ortiz 2023).

27

Более того, систематически показывается, что, как и в случае оценки насильтственных действий, оценивая морально-неоднозначные ситуации, то есть моральные дилеммы, люди полагаются на представления о вреде (Cushman et al. 2006): например, при оценивании вариаций «проблемы вагонетки» при прочих равных, ситуации, влекущие за собой вред, расцениваются хуже, если агенты соприсутствуют в физическом пространстве. В зависимости от наличия намерения причинить вред, с одной стороны, и фактического причинения вреда — с другой, люди задействуют различные системы морального оценивания (Cushman 2008): однако и те, и другие ситуации расцениваются как морально предосудительные.

Оценки насильтственности практически всегда оказываются тесно связанными с другими оценками нормативной природы. Например, показано, что субъективные оценки моральной предосудительности, приписывание вины и необходимость наказания тесно положительно скоррелированы между собой (Trémolière, Djeriouat 2016).

Обсуждение

В этой работе я представила систематический обзор ключевых ситуативных факторов, детерминирующих обыденные оценки насилия. Среди выделенных характеристик ситуаций, описывающих межличностное социальное взаимодействие, которые осущест-

вляют наибольший вклад в обыденное восприятие такой ситуации как насильственной, оказываются: степень преднамеренности действия агента и его намерение; характер действия и вред, ассоциированный с ним; наличие основания, оправдывающего действие, и моральная предосудительность действия.

Степень преднамеренности оказывается одним из сильнейших предикторов обыденной оценки насилия. При прочих равных люди оценивают намеренные действия как более насильственные, чем случайные. Планируемый агентом исход действия оказывается, вероятно, даже более важным, чем само наличие намерения: если агент намеревался причинить вред, действие будет вероятнее маркировано как насилие. Обыденное восприятие насилия неразрывно связано с фактором физического вреда. Люди скорее распознают насильственное действие, если оно повлечет за собой телесные повреждения, а не материальный (экономический), психологический или иной ущерб. Обыденная оценка насилия оказывается значительно чувствительнее к наблюдаемым, немедленным и физическим последствиям действия в сравнении со скрытым, отложенным и косвенным вредом. Наличие легитимного основания, оправдывающего насилие, снижает строгость его обыденной оценки. Люди менее склонны маркировать действия как насильственные, если они служат высшей цели, направлены на достижение блага или представляются как «наименьшее зло». Обыденные оценки насилия различаются для намеренного причинения вреда и вреда, являющегося «побочным эффектом» ненасильственного действия, даже если социальные последствия ситуаций в целом идентичны. Насилие оценивается в связности с более широким нормативным и моральным контекстом ситуации. Во многом обыденная оценка насилия оказывается детерминирована тем, насколько действие нарушает социальные и моральные ожидания.

Я кратко обозначу и *другие ситуативные факторы*, детерминирующие обыденные представления о насилии и не включенные в этот систематический обзор. Для обыденных оценок важно, кто и по отношению к кому применяет насилие. Если оно направлено на человека, который воспринимается как более слабый или находящийся в уязвимом положении, — например, женщин, пожилых людей и детей (Triplett et al. 2016; Sikström, Dahl 2023), обыденные оценки степени насильственности оказываются выше. Обыденные оценки насилия оказываются ниже, если такие люди, наоборот, прибегают к насилию (Dutton, Nicholls 2005). Более того, важны *институциональные ожидания*, предъявляемые к участникам ситуации: если насилие является неотъемлемой частью институционально-ролевого комплекса агента — например, в случае полицейского или военного — оно будет реже маркироваться как насилие обычайтелями (Fiske,

Rai 2014). Нельзя также исключать, что *эффекты, связанные с фреймированием* конфликтной ситуации, оказывают влияние на обыденные оценки насилия (Anderson et al. 2022; Edwards, Arnon 2021): при прямом упоминании насилия или угроз участники будут склонны давать более высокие оценки насильственности.

Существуют также и *другие ситуативные факторы*, детерминирующие оценку насилия и с трудом поддающиеся изучению в строгих лабораторных условиях, в которых испытуемый осведомлен о том, что проводится исследование. Следует предположить, что оценки гипотетических сценариев, представляемых людям в текстовом виде, заведомо отличаются от тех, что они формируют при непосредственном наблюдении или участии в ситуации межличностного насилия. Исследования показывают, что свидетели насилия систематически оценивают его строже, чем участники: и агенты, и реципиенты насилия (Sikström et al. 2021; Sikström, Dahl 2023). Также вероятно, что присутствие свидетелей насилия, остающихся к нему безразличными, снижает готовность человека вмешиваться, равно как и наличие свидетелей насилия, активно ему препятствующих, повышает ее (Latane, Darley 1968; Fisher et al. 2011). Это свидетельствует в пользу того, что, оценивая потенциально насильственную ситуацию, люди ориентируются, помимо прочего, на мнения и действия окружающих.

29

Как я показала ранее, исследования, проводимые в социальных науках, вырабатывают множественные, порой прямо противоречавшие друг другу определения и концептуализации насилия; более того, некоторые исследователи предпочитают обращение к обыденным интуициям о насилии (Rucht 2003), но и они не оказываются более однозначными и единообразными. В этих обстоятельствах несколько удивительно, что научный дискурс нередко рассматривает противоречивость обыденных оценок насилия как следствие когнитивных искажений, которым подвержены люди, а значит, как то, что требует просвещенческих интервенций и коррекции (Park-Higerson et al. 2008; Mihalic et al. 2004). В этой статье я показала, что обыденное восприятие насилия оказывается не настолько пластичным, как дискурс социальной теории. В обыденном представлении по-прежнему четко различаются акты межличностного взаимодействия: например, причинение физического вреда рассматривается как насилие, а причинение психологического и морального вреда значительно реже признается как насилие.

Этот систематический обзор представляет ключевые ситуативные факторы, обуславливающие обыденное восприятие межличностного насилия. Исследования демонстрируют, что все они так или иначе влияют на то, будет ли ситуация взаимодействия рассматриваться как насилие или нет, но, несмотря на это, остается неясным, какие именно факторы оказывают больший эффект на обы-

денную оценку насилия, а какие — меньший. Не в последнюю очередь разногласия в повседневном обсуждении насилия происходят по этой причине: например, для кого-то ключевым становится физический вред, а кто-то обращает большее внимание на наличие оправдывающего основания. В этих условиях особенно важны эмпирические исследования, сравнивающие вклады разных факторов в формирование обыденного представления о насилии.

В их отсутствие можно предположить, что в обыденной концептуализации насилие в межличностном социальном взаимодействии — это преднамеренное физическое действие человека, направленное на причинение физического вреда другому человеку и влекущее его, которое не является при этом оправданным, ожидаемым или необходимым, и нормативно маркируется как предосудительное. Обыденные представления о насилии оказываются менее чувствительны к непреднамеренным действиям и действиям, влекущим моральный ущерб, в то время как современная социальная теория признает их наравне с более конвенциональными определениями понятия.

30

Финансирование / Funding

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

This study was carried out as part of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics.

Список источников / References

Бурдье П. (1993) Социальное пространство и символическая власть. *THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем*, 2, с. 137–150.

Bourdieu P. (1993) Social Space and Symbolic Power. *THESIS: Theory an History of Economic and Social Institutions and Systems*, 2, pp. 137–150. (in Russ.)

Гусейнов А. А. (1992) Этика ненасилия. *Вопросы философии*, 3, с. 72–81. EDN: QILKJ1
Guseinov A. A. (1992) Ethics of Nonviolence. *Russian Questions of Philosophy*, 3, pp. 72–81. (in Russ.).

Капустин Б. Г. (2003) К понятию политического насилия. *Полис. Политические исследования*, 6, с. 6–26. EDN: EVGTSJ. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.06.02>

Kapustin B. G. (2003) Toward a Concept of Political Violence. *Polis. Political Studies*, 6, pp. 6–26. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.06.02>. (in Russ.)

Родионова М. М. & Смирнов Н. М. (2022) Корабль Тесея: трансформации понятия насилия в политической и социальной теории. *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*, 3, с. 6–27. EDN: LOWNBU. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-6-27>

- Rodionova M. M. & Smirnov N. M. (2022) The Ship of Theseus: Transformations of the Concept of Violence in Political and Social Theory. *Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast*, 3, 6-27. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-6-27>. (in Russ.)
- Adriaenssen A., Paoli L., Karstedt S., Visschers J., Greenfield V. A. & Pleysier S. (2020) Public Perceptions of the Seriousness of Crime: Weighing the Harm and the Wrong. *European Journal of Criminology*, 17(2), pp. 127-150. <https://doi.org/10.1177/1477370818772768>
- Álvarez C. D., Aranda B. E. & Huerto J. A. L. (2015) Gender and Cultural Effects on Perception of Psychological Violence in the Partner. *Psicothema*, 27(4), pp. 381-387. <https://doi.org/10.7334/psicothema2015.54>
- Andersen S. S. (2023) Perceived Policy Illegitimacy Leads to Acceptance of Political Violence: Evidence from a Nationally Representative Survey Experiment in Denmark. *Terrorism and Political Violence*, 35(6), 1336-1352. <https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2038578>
- Anderson R. E., Namie E. M. C., Michel P. K. & Delahanty D. L. (2022) Study Title-Based Framing Effects on Reports of Sexual Violence and Associated Risk Factors in College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(17-18), pp. NP15359-NP15383. <https://doi.org/10.1177/08862605211016349>
- Andreasson J. & Johansson T. (2019) Negotiating Violence: Mixed Martial Arts as a Spectacle and Sport. *Sport in Society*, 22(7), pp. 1183-1197. <https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1505868>
- Archer M. S. (2003) *Structure, Agency and the Internal Conversation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139087315>
- Balkmar D. (2018) Violent Mobilities: Men, Masculinities and Road Conflicts in Sweden. *Mobilities*, 13(5), pp. 717-732. <https://doi.org/10.1080/17450101.2018.1500096>
- Barlow A. M. (2013) Sexualities and Conflicting Moralities at Work: An Empirical Test of Black's Theory of Moral Time (Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University). <http://hdl.handle.net/10919/22034>
- Bica C. C. (1997) Collateral Violence and the Doctrine of Double Effect. *Public Affairs Quarterly*, 11(1), pp. 87-92. <https://www.jstor.org/stable/40435975>
- Black D. (2011) *Moral Time*. Oxford University Press.
- Blumenthal M. D., Kahn R. L., Andrews F. M. & Head K. B. (1972) *Justifying Violence: Attitudes of American Men*. Ann Arbor: Institute for Social Research, the University of Michigan. <https://doi.org/10.3886/ICPSR03504.v2>
- Bornstein B. H. & Nemeth R. J. (1999) Jurors' Perception of Violence: A Framework for Inquiry. *Aggression and Violent Behavior*, 4(1), pp. 77-92. [https://doi.org/10.1016/S1359-1789\(97\)00059-1](https://doi.org/10.1016/S1359-1789(97)00059-1)
- Borochowitz D. Y. & Eisikovits Z. (2002) To Love Violently: Strategies for Reconciling Love and Violence. *Violence Against Women*, 8(4), pp. 476-494. <https://doi.org/10.1177/10778010222183170>
- Bufacchi V. (2007) Violence and Intentionality. In *Violence and Social Justice*, Springer, pp. 66-87. <https://doi.org/10.1057/9780230246416>

- Carruthers M. & Taggart P. (1973) Vagotonicity of Violence: Biochemical and Cardiac Responses to Violent Films and Television Programmes. *British Medical Journal*, 3(5876), pp. 384–389. <https://doi.org/10.1136/bmj.3.5876.384>
- Collier D., Daniel Hidalgo F. & Olivia Maciuceanu A. (2006). Essentially Contested Concepts: Debates and Applications. *Journal of Political Ideologies*, 11(3), pp. 211–246. <https://doi.org/10.1080/13569310600923782>
- Cushman F. (2008) Crime and Punishment: Distinguishing the Roles of Causal and Intentional Analyses in Moral Judgment. *Cognition*, 108(2), pp. 353–380. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.03.006>
- Cushman F., Young L. & Hauser M. (2006) The Role of Conscious Reasoning and Intuition in Moral Judgment: Testing Three Principles of Harm. *Psychological Science*, 17(12), pp. 1082–1089. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01834.x>
- De Haan W. (2008) Violence as an Essentially Contested Concept. In *Violence in Europe*, Springer, pp. 27–40. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09705-3_3
- Dilek Y. & Aytolan Y. (2008) Development and Psychometric Evaluation of Workplace Psychologically Violent Behaviours Instrument. *Journal of Clinical Nursing*, 17(10), pp. 1361–1370. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02262.x>
- Dutton D. G. & Nicholls T. L. (2005) The Gender Paradigm in Domestic Violence Research and Theory: Part 1 — The Conflict of Theory and Data. *Aggression and Violent Behavior*, 10(6), pp. 680–714. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2005.02.001>
- Edwards P. & Arnon D. (2021) Violence on Many sides: Framing Effects on Protest and Support for Repression. *British Journal of Political Science*, 51(2), pp. 488–506. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000413>
- Evink E. (2014) On Transcendental Violence. In *Phenomenologies of Violence*, Brill, pp. 65–80. https://doi.org/10.1163/9789004259782_004
- Fischer P., Krueger J. I., Greitemeyer T., Vogrincic C., Kastenmüller A., Frey D., Heene M., Wicher M. & Kainbacher M. (2011). The Bystander-Effect: A Meta-analytic Review on Bystander Intervention in Dangerous and Non-Dangerous Emergencies. *Psychological Bulletin*, 137(4), pp. 517–537. <https://doi.org/10.1037/a0023304>
- Fiske A. P. & Rai T. S. (2014) *Virtuous Violence: Hurting and Killing to Create, Sustain, End, and Honor Social Relationships*. Cambridge University Press.
- Gallie W. B. (1956) Essentially Contested Concepts. *Proceedings of the Aristotelian Society, New Series*, 56, pp. 167–198. <https://www.jstor.org/stable/4544562>
- Galtung J. (1969) Violence, Peace, and Peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), pp. 167–191. <https://www.jstor.org/stable/422690>
- Gardam J. (2004) *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494178>
- Graham J., Haidt J., Koleva S., Motyl M., Iyer R., Wojcik S. P. & Ditto P. H. (2013) Moral Foundations Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism. In *Advances in Experimental Social Psychology*, 47, Elsevier, pp. 55–130. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00002-4>
- Gray C. S. (2007) *The Implications of Preemptive and Preventive War Doctrines: A Reconsideration*. Strategic Studies Institute, US Army War College. <https://press.armywarcollege.edu/monographs/677>

- Hagemann-White C. (2008) Measuring Progress in Addressing Violence Against Women across Europe. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 32(2), pp. 149–172. <https://doi.org/10.1080/01924036.2008.9678784>
- Hamby S. (2017) On Defining violence, and Why It Matters. *Psychology of Violence*, 7(2), pp. 167–180. <https://doi.org/10.1037/vio0000117>
- Hauser M. D. (2006) *Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong*. New York: Ecco.
- Hazel N., Ghate D., Creighton S., Field J. & Finch S. (2003) Violence Against Children: Thresholds of Acceptance for Physical Punishment in a Normative Study of Parents, Children and Discipline. In *The Meanings of Violence*, Routledge, pp. 49–68.
- Heider F. (2013) *The Psychology of Interpersonal Relations*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Holmes R. L. (1973) The Concept of Physical Violence in Moral and Political Affairs. *Social Theory and Practice*, 2(4), pp. 387–408. <https://doi.org/10.5840/soctheorpract19732413>
- Jacquette D. (2013) Violence as Intentionally Inflicting Forceful Harm. *Revue Internationale de Philosophie*, 265(3), pp. 293–322. <https://doi.org/10.3917/rip.265.0293>
- Kennel R. G. & Agresti A. A. (1995) Effects of Gender and Age on Psychologists' Reporting of Child Sexual Abuse. *Professional Psychology: Research and Practice*, 26(6), pp. 612–615. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.26.6.612>
- Larsson P. & Gill P. E. (2013) Lay Definitions of Violence among Swedish Children, Teenagers, and Adults. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 22(3), pp. 282–299. <https://doi.org/10.1080/10926771.2013.764954>
- Latane B. & Darley J. M. (1968) Group Inhibition of Bystander Intervention in Emergencies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 10(3), pp. 215–221. <https://doi.org/10.1037/h0026570>
- Lehrner A. & Allen N. E. (2014) Construct Validity of the Conflict Tactics Scales: A Mixed-Method Investigation of Women's Intimate Partner Violence. *Psychology of Violence*, 4(4), pp. 477–490. <https://doi.org/10.1037/a0037404>
- Leiberg S., Eippert F., Veit R. & Anders S. (2012) Intentional Social Distance Regulation Alters Affective Responses Towards Victims of Violence: An fMRI Study. *Human Brain Mapping*, 33(10), pp. 2464–2476. <https://doi.org/10.1002/hbm.21376>
- Lelaurain S., Fonte D., Aim M. A., Khatmi N., Decarsin T., Lo Monaco G. & Apostolidis T. (2018) "One Doesn't Slap a Girl But..." Social Representations and Conditional Logics in Legitimization of Intimate Partner Violence. *Sex Roles*, 78, pp. 637–652. <https://doi.org/10.1007/s11199-017-0821-4>
- Lindgren S. (2014) Giving Online Support: Individual and Social Processes in a Domestic Violence Forum. *International Journal of Web Based Communities*, 10(2), pp. 147–157. <https://doi.org/10.1504/IJWBC.2014.060352>
- Mead C. G. & Kelty S. F. (2021) Violence Next Door: The Influence of Friendship with Perpetrators on Responses to Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(7–8), pp. NP3695–NP3715. <https://doi.org/10.1177/0886260518779598>
- Mihalic S., Fagan A., Irwin K., Ballard D. & Elliott D. (2004) *Blueprints for Violence Prevention*. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

- Morgan K. & Björkert S. T. (2006) "I'd Rather You'd Lay Me on the Floor and Start Kicking Me": Understanding Symbolic Violence in Everyday Life. *Women's Studies International Forum*, 29(5), pp. 489–498. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2006.07.002>
- Ortiz A. M., Sunu B. C., Hall M. E. L., Anderson T. L. & Wang D. C. (2023) Purity Culture: Measurement and Relationship to Domestic Violence Myth Acceptance. *Journal of Psychology and Theology*, 51(4), pp. 537–556. <https://doi.org/10.1177/00916471231182734>
- Park-Higgerson H. K., Perumean-Chaney S. E., Bartolucci A. A., Grimley D. M. & Singh K. P. (2008) The Evaluation of School-Based Violence Prevention Programs: A Meta-Analysis. *Journal of School Health*, 78(9), pp. 465–479. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2008.00332.x>
- Parsons S. (2000) Intention in Criminal Law: Why Is It So Difficult to Find? *Mountbatten Journal of Legal Studies*, 4(1/2), pp. 5–19. https://pure.solent.ac.uk/ws/portalfiles/portal/24357842/2000_4_1_2_3_.pdf
- Pitagora D. (2013) Consent vs. Coercion: BDSM Interactions Highlight a Fine but Immutable Line. *The New School Psychology Bulletin*, 10(1), pp. 27–36. <https://www.nspb.net/index.php/nspb/article/view/180>
- Rocha J. (2016) Aggressive Hook Ups: Modeling Aggressive Casual Sex on BDSM for Moral Permissibility. *Res Publica*, 22, pp. 173–192. <https://doi.org/10.1007/s11158-015-9291-0>
- Rucht D. (2003) Violence and New Social Movements. In *International Handbook of Violence Research*, Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 369–382.
- Runkle G. (1976) Is Violence Always Wrong? *The Journal of Politics*, 38(2), pp. 367–389. <https://doi.org/10.2307/2129540>
- Sander I. (1997) How Violent is TV Violence? An Empirical Investigation of Factors Influencing Viewers' Perceptions of TV Violence. *European Journal of Communication*, 12(1), pp. 43–98. <https://doi.org/10.1177/0267323197012001004>
- Sikström S. & Dahl M. (2023) How Bad is Bad? Perceptual Differences in the Communication of Severity in Intimate Partner Violence. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), pp. 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01578-1>
- Sikström S., Dahl M., Lettmann H., Alexandersson A., Schwörer E., Stille L., Kjell O., Innes-Ker Å. & Ngaosuvan, L. (2021) What You Say and What I Hear — Investigating Differences in the Perception of the Severity of Psychological and Physical Violence in Intimate Partner Relationships. *PLoS one*, 16(8), e0255785. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255785>
- Sørensen M. K. (2014) Foucault and Galtung on Structural Violence. *Irenees.net*, October. URL: https://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1032_en.html (accessed on 30.03.2025)
- Sousa P. & Lavery G. (2023) Culpability and Liability in the Law of Homicide: Do Lay Moral Intuitions Accord with Legal Distinctions? In *Advances in Experimental Philosophy of Law*, Bloomsbury, pp. 99–132. <https://doi.org/10.5040/9781350278301.0013>
- Stanko E. A. (2003) Introduction: Conceptualising the Meanings of Violence. IN *The Meanings of Violence*, Routledge, pp. 19–32. <https://doi.org/10.4324/9780203986479>
- Straus M. A., Hamby S. L., Boney-McCoy S. U. E. & Sugarman D. B. (1996) The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) Development and Preliminary Psychometric Data. *Journal of Family Issues*, 17(3), pp. 283–316. <https://doi.org/10.1177/019251396017003001>

- Swani K., Weinberger M. G. & Gulas C. S. (2013) The Impact of Violent Humor on Advertising Success: A Gender Perspective. *Journal of Advertising*, 42(4), pp. 308–319. <https://doi.org/10.1080/00913367.2013.795121>
- Tolan P. H. (2007) Defining and Understanding Violence. In *The Cambridge Handbook of Violent Behavior and Aggression*, Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316847992>
- Trémolière B. & Djeriouat H. (2016) The Sadistic Trait Predicts Minimization of Intention and Causal Responsibility in Moral Judgment. *Cognition*, 146, pp. 158–171. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.09.014>
- Triplett R., Payne B., Collins V. E. & Tapp S. (2016) Does “Violent” Mean “Bad”? Individual Definitions of Violence. *Deviant Behavior*, 37(3), pp. 332–351. <https://doi.org/10.1080/01639625.2015.1026765>
- Walzer M. (2002) The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of Success). *Social Research: An International Quarterly*, 69(4), pp. 925–944. <https://doi.org/10.1353/sor.2024.a923109>
- West M. A. (1986) Moral Evaluation and Dimensions of Violence. *Multivariate Behavioral Research*, 21(2), pp. 229–251. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2102_5
- White L. T. (1987) Juror Decision Making in the Capital Penalty Trial: An Analysis of Crimes and Defense Strategies. *Law and Human Behavior*, 11(2), pp. 113–130. <https://doi.org/10.1007/BF01040445>
- Wikström P. O. H. & Treiber K. H. (2009) Violence as Situational Action. *International Journal of Conflict and Violence*, 3(1), pp. 75–96. <https://doi.org/10.4119/ijcv-2794>
- Wilson J. M. & Smirles K. (2022) College Students’ Perceptions of Intimate Partner Violence: The Effects of Type of Abuse and Perpetrator Gender. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(1-2), pp. 172–194. <https://doi.org/10.1177/0886260520908025>
- Wyckoff J. (2013) Is the Concept of Violence Normative? *Revue Internationale de Philosophie*, 265(3), pp. 337–352. <https://doi.org/10.3917/rip.235.0337>
- Young L., Bechara A., Tranel D., Damasio H., Hauser M. & Damasio A. (2010) Damage to Ventromedial Prefrontal Cortex Impairs Judgment of Harmful Intent. *Neuron*, 65(6), pp. 845–851. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.03.003>

35

Об авторе / About the author

Родионова Мария Михайловна — преподаватель кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ и младший научный сотрудник Лаборатории политико-психологических исследований НИУ ВШЭ в Москве. Научные интересы: исследования насилия, социальная теория, методология факторных опросов.

<https://orcid.org/0000-0002-2246-379X>. E-mail: mmrodionova@hse.ru

Maria M. Rodionova — lecturer at the Department for Social Institutions Analysis and a junior research fellow at the Politics & Psychology Research Laboratory at HSE University, Moscow. Research interests: violence studies, social theory, factorial surveys methodology.

<https://orcid.org/0000-0002-2246-379X>. E-mail: mmrodionova@hse.ru

Надзор и структурное насилие: от Паноптикона к алгоритмам

Антон А. Сизов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0009-0002-4483-6160>

Рекомендация для цитирования:
Сизов А. А. (2025) Надзор
и структурное насилие:
от Паноптикона к алгоритмам.
Sociology of power, 37 (3): 36-60
EDN: H1DJKV

For citation:
Sizov A. A. (2025) Surveillance and
Structural Violence: From Panopticon
to Algorithms. *Sociology of Power*, 37 (3):
36-60

36

Поступила в редакцию: 21.02.2025;
пропущена рецензирование: 20.05.2025;
принята в печать: 01.06.2025
Received: 21.02.2025; Revised:
20.05.2025; Accepted: 01.06.2025



© Author, 2025
This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: В статье рассматривается феномен наблюдения (surveillance) через призму теорий «структурного насилия» Й. Галтунга и «тихого насилия» Н. Гарвера. Автор прослеживает эволюцию моделей контроля из работ И. Бентама, М. Фуко, Ж. Делёза и А. Рувруа — от паноптического до алгоритмического — и выделяет характерные для этих моделей техники наблюдения. Утверждается, что каждая из этих техник порождает специфичные для нее структурные асимметрии, или, как их называет Фуко, «состояния господства», в рамках которых возможно структурное насилие по Галтунгу. Вектор развития моделей контроля, находящий отражение в изменении доминирующих техник наблюдения, описывается как переход от архитектуры поведения (управление множеством через субъективирующие эффекты на индивидуальном уровне) к экологии действия (управлению конкретными выборами ради статистического эффекта на популяционном уровне). Роль наблюдения в воспроизведстве структурного насилия рассматривается на примере теорий «социальной сортировки» Д. Лиона, «паноптического разбора» О. Ганди и «надзорного капитализма» Ш. Зубофф. Особое внимание уделяется интерфейсам в алгоритмическом управлении, которые интегрируются с профилирующим наблюдением в единую систему, манипулирующую набором доступных пользователю аффордансов (Дж. Гибсон, Д. Нортон). Создаваемая технологиями алгоритмической губернантальности, описанной Рувруа, и приводящая к утрате автономии асимметрия аффордансов концептуализируется как «тихое насилие» по Гарверу. В контексте развития интернета вещей (IoT)

и самонаблюдения здоровья (mHealth) рассматриваются перспективы дальнейшего расширения интерфейса между человеком и алгоритмическими системами. Незаслуженно обделенное вниманием теоретиками насилия, наблюдение предстает основным механизмом структурного насилия в современном dataфицированном обществе.

Ключевые слова: власть, контроль, dataфикация, гувернаментальность, надзорный капитализм, аффордансы, Фуко, Галтунг

Surveillance and Structural Violence: From Panopticon to Algorithms

Anton A. Sizov

National Research University Higher School of Economics, Moscow,
Russian Federation

<https://orcid.org/0009-0002-4483-6160>

Abstract: The article examines the phenomenon of surveillance through the prism of J. Galtung's theory of structural violence and Garver's theory of silent violence. The author traces the evolution of control models from the works of Bentham, Foucault, Deleuze and Rovroy — from panoptic to algorithmic — and identifies surveillance techniques typical for these models. It is argued that each of these techniques generates specific structural asymmetries or, as Foucault calls them, states of domination, within which structural violence according to Galtung is possible. The vector of development of control models, reflected in the change in dominant surveillance techniques, is described as a transition from the architecture of behavior (management of the multitude through subjectivizing effects at the individual level) to the ecology of action (management of specific choices for the sake of statistical effects at the population level). The role of surveillance in the reproduction of structural violence is considered using the example of theories such as Lyon's social sorting, Gandy's panoptic sort, and Zuboff's surveillance capitalism. Particular attention is paid to interfaces in algorithmic control, which are integrated with profiling observation into a single system manipulating a set of user-accessible affordances (Gibson, Norton). The asymmetry of affordances created by the techniques of algorithmic governmentality described by Rovroy and leading to the loss of autonomy is conceptualized as silent violence according to Garver. In the context of the development of the Internet of Things (IoT) and self-monitoring of health (mHealth), the prospects for further expansion of the interface between humans and algorithmic systems are considered. Unjustly neglected by theorists of violence, surveillance appears to be the main mechanism of structural violence in modern datafied society.

37

Keywords: power, control, datafication, governmentality, surveillance capitalism, affordances, Foucault, Galtung

Введение

Реконцептуализация насилия в социальной теории второй половины XX века в пользу расширительных трактовок, вклю-

чающих более гибкие и бескровные формы угнетения (Родионова, Смирнов 2022), открыла широкие возможности для социальной критики. Это новое — «тихое» (Garver 1968), «структурное» (Galtung 1969) или «системное» (Жижек 2010) — насилие производится механизмами, настолько укорененными в самом устройстве общества, что порой их трудно заметить.

Еще в Новое время статистика и надзор — наряду с физическим насилием — становятся главным источником «административной власти» национальных государств (Giddens 1985), а сегодня *наблюдение* (*surveillance*) уже можно считать основным механизмом контроля и распределения жизненных шансов. К сожалению, теоретики расширительных трактовок насилия, пишущие про несправедливость этого распределения в социальной структуре, не уделили должного внимания инструменту власти, посредством которого это распределение осуществляется.

Да, наблюдение не наносит физический вред напрямую, но в то же время оно дискриминирует, принуждает и контролирует, нарушает приватность и лишает автономии. *Можно ли тогда считать наблюдение насилием? Что такой подход может дать теории насилия?* Чтобы ответить на эти вопросы, для начала необходимо определить этот термин.

Наблюдение¹ — многогранное понятие, вбирающее в себя совокупность феноменов, связанных с контролем, надзором, слежкой, мониторингом, трекингом, супервизией и иными формами сбора и анализа данных об индивидах. Наблюдение — это «получение и запись данных, которые могут быть использованы как информация» (Мах 2015, р. 736), то есть это любой сбор данных, который влечет последствия для его объекта. В фокусе *surveillance studies* находится не столько сама техническая процедура наблюдения, сколько ее социальный контекст, связанные с ней социальные отношения. Так, наблюдение — это «сфокусированное, систематическое и постоянное внимание к личным характеристикам в целях влияния, руководства, защиты или управления» (Lyon 2022b, р. 2). Это понятие коннотативно связано с «властью, политикой, сопротивлением и установлением смыслов» (*Ibid.*, р. 5).

¹ Слово «надзор» в первую очередь ассоциируется с эксплицитным контролем одними индивидами других, но не подходит, например, для скрытой работы алгоритмов, стакинга в соцсетях, статистического учета рождаемости или ведения истории болезни. Нейтральное «наблюдение» передает больше значений английского слова «*surveillance*», и эта коннотация в русском языке не является для него искусственной («наблюдательный совет», «наблюдать у врача»).

Эта связь хорошо видна в определении Энтона Гидденса, который выделяет два измерения наблюдения: во-первых, это «накопление “кодированной информации”, которая может быть использована для управления теми, о ком она собрана», а во-вторых, «непосредственный надзор (direct supervision) за деятельностью одних индивидов со стороны других, обладающих над ними властью» (Giddens 1985, р. 14). Таким образом, говоря о наблюдении, социальные теоретики имеют в виду не только и не столько технологии и сам процесс сбора и анализа данных, сколько порождаемые ими отношения власти, асимметричные социальные отношения.

Последнее замечание принципиально важно, поскольку насильтенными могут быть только социальные отношения: считать насилием сам сбор данных — работу включенной камеры или файл-cookie — это все равно что считать насилием меч или взмах меча. Мы говорим о насилии тогда, когда ударом Персея меч сносит голову Горгоны или хотя бы висит над головой Дамокла, но не когда Аякс падает на меч. Иначе говоря, насильтенность определяется не физикой воздействия, но асимметрией влияния на индивида со стороны другого индивида или структуры¹.

Наблюдение не наносит физический вред напрямую, но может опосредовать его: например, это могут быть алгоритмические системы самонаведения ракетных установок или городские системы распознавания лиц, таргетирующие меры полицейского принуждения. Если сопоставить насилие с сообщением, а наблюдение — со средством коммуникации, знаменитая маклюновская формула «средство коммуникации есть сообщение» не утратит свой смысл: не само насилие как таковое, а именно его алгоритмичность определяет структуру порождаемых им сегодня социальных отношений. Иначе говоря, именно *наблюдение создает асимметричную структуру социальных отношений, в рамках которой и возможно насилие*.

Это утверждение основано на теории Йохана Галтунга, понимавшего под *структурным насилием* систематическое неэгалитарное распределение ресурсов социальными структурами, приводящее к ограничению человеческого потенциала (Galtung 1969, р. 172, 175). В своей работе он формально определяет структурные — иерархические и сетевые — принципы, приводящие к неравному распределению благ в системах интеракций (*Ibid.*, р. 175-176). По сути, это

¹ Это влияние необязательно является социальным действием в веберовском смысле, так как агент не всегда связывает с ним субъективный смысл (Вебер 2008, с. 90), особенно если агентом выступает не человек, а алгоритм (см. далее трактовку насилия Й. Галтунга). О насилии как асимметричном влиянии на субъекта, исключающем его свободу и возможность сопротивления, см. далее у М. Фуко.

математическое определение структурной асимметрии, однако оно не дает понимания того, как и на основе чего такие асимметрии формируются. Кроме того, универсальная и абстрактная схема Галтунга не объясняет логику исторического развития этих структур. Данная статья ставит своей целью доказать, что структурные асимметрии создаются наблюдением и меняются вместе с эволюцией его техник.

Чтобы объяснить эволюцию техник наблюдения, они будут рассмотрены в терминах Мишеля Фуко как техники власти¹, чья логика подчинена соответствующей гувернантальности, парадигме управления. Важно отметить, что Фуко, будучи крупнейшим теоретиком наблюдения, не признавал какую-либо власть насилием. В его трактовке власть есть управление поведением (*conduite des conduites*), а управлять — значит, «структурировать возможное поле действия других» (Фуко 2006а, с. 181). Насилие, как его понимает Фуко, управляет субъектами как телами, то есть подавляет субъектность; власть же оставляет определенную свободу поступка, «поле возможностей, куда вписывается поведение действующих субъектов» (Там же, с. 180–182). Отношения власти, считает Фуко, пронизывают все общество, но свобода у субъектов есть далеко не всегда, поскольку существуют многочисленные *состояния господства* (Фуко 2006б, с. 244), когда «отношения власти обездвижены таким образом, что они постоянно являются асимметричными, а полоса свободы чрезвычайно суживается» (Там же, с. 258).

По сути, Фуко определяет структурную асимметрию как асимметричные отношения власти, что открывает возможность для рассмотрения проблематики наблюдения в его работах через призму теории структурного насилия. В этом смысле эта статья посвящена тому, как наблюдение создает состояния господства. Эволюция парадигм управления и соответствующих им техник наблюдения приводит к изменениям в социальной структуре и к трансформациям структурного насилия. Именно на этой интуиции построен дальнейший анализ.

В первой части статьи будет кратко рассмотрена эволюция техник наблюдения в соотнесенности с эволюцией моделей власти и показано, что логика контроля всегда построена на принципе структурной асимметрии и каждая модель власти создает ее с помощью характерных для нее техник наблюдения. Во второй части статьи эти структурные асимметрии будут рассмотрены через призму расширительных трактовок насилия с акцентом на вопросах равенства и автономии.

¹ Власть у Галтунга распределяется социальными структурами как ресурс, а у Фуко отношения власти образуют эти структуры.

Контроль: от архитектуры поведения к экологии действия

Одним из первых теоретиков наблюдения можно назвать Иеремию Бентама, чьему перу принадлежит архитектурный проект тюрьмы-Паноптикона, ставший широко известным благодаря работам Мишеля Фуко. Паноптикон представляет из себя здание тюрьмы кольцевой цилиндрической формы, в центре которого находится башня надзирателя. Камеры заключенных расположены по периметру вокруг этой башни так, чтобы быть доступны его взгляду (Bentham 1995, p. 35). Внешний и внутренний períметры здания построены из стекла и железных решеток, чтобы свет проходил через камеры насквозь и перед взглядом надзирателя представляли силуэты заключенных (Фуко 2015, с. 243-244); ночью в камеры направляется свет фонаря центральной башни (Bentham 1995, p. 41). В ранней версии Паноптикона камеры прослушивались с помощью системы слуховых труб, но это могло позволить заключенным слышать надзирателя, и Бентам от них отказался (Фуко 2015, с. 247).

Главный принцип устройства Паноптикона — это *асимметрия видимости*: заключенный «полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной башни надзиратель видит все, но сам невидим» (Там же, с. 245-246). Асимметрия видимости приводит к асимметрии знания, а асимметрия знания — к асимметрии власти: надзиратель видит все нарушения, фиксирует их и наказывает за них, а у заключенных формируется ощущение постоянной поднадзорности, не дающее им нарушать тюремный порядок, — помещенный в поле видимости и знающий об этом «впитывает отношение власти» и сам «становится началом собственного подчинения» (Там же, с. 247).

41

Помимо Паноптикона-тюрьмы, Бентам разработал проекты еще нескольких Паноптиконов: работного дома, школы и дома правительства (см.: Galić et al. 2017, p. 13-15). В архитектуре всех этих зданий заложена асимметрия видимости, причем в случае с домом правительства Паноптикон «выворачивается наизнанку»: чиновники оказываются под надзором публики. Утилитаристская утопия Бентами — мир, где каждый «проявляет себя на глазах у каждого» и каждое действие в пользу «всеобщего счастья будет замечено и оценено» (Bentham 1834, p. 101); это общество абсолютной транспарентности и различимости. Так, Бентам не просто предложил несколько архитектурных проектов, но одним из первых теоретизировал то, как наблюдение создает асимметрию власти — подчинение одних другим, а также призвал сделать наблюдение реципрокным, чтобы эту асимметрию сгладить: в обществе, где властители поднадзорны массам, нет коррупции и деспотии.

Проект Паноптикона-тюрьмы выступает опорной метафорой для Мишеля Фуко, описывающего в работе «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1975) переход европейских обществ XVIII века от системы суверенной власти, проявляющей себя в форме демонстративного насильственного наказания путем казней, пыток и клеймения (Фуко 2015, с. 45), к системе *дисциплинарной власти* в форме пространственно определенного и темпорально расcodированного контроля, надзора и муштры человеческих тел (Там же, с. 166-167, 174-176, 182-185, 205). Эти техники дисциплинарной власти теоретик обнаруживает в тюрьмах, казармах, школах, монастырях, больницах и мануфактурах — дисциплинарных институтах (Там же, с. 168-169), в чьей архитектуре угадывается бентамовский проект. Каждое движение солдата, выполняющего строевые приемы, производится в строгом порядке за определенное с точностью до секунды время. Рабочие фабрики четко пространственно распределены вокруг поточной ленты или станков, их действия оптимизированы в лучших традициях тейлоризма, начало и завершение работы регулируют заводские гудки.

42

Подобная машинерия тел возможна благодаря распространению механизма *паноптицизма* — одной из ключевых черт дисциплинарного общества (Фуко 2015, с. 263). Наблюдение вырабатывает послушание, укорененное в архитектуре, планировке и расписании дисциплины — «здесь мы говорим о двух вещах: о взгляде и об интериоризации взгляда» (Фуко 2002b, с. 232). Так, продуктом дисциплины становятся не только тела, но и сами индивиды (Фуко 2015, с. 237): «отношения подчинения могут изготавливать субъектов» (Фуко 2002a, с. 210). Фуко патетично описывает общество, которое использует весь инструментарий техник власти для *нормации*¹ индивидов, через дисциплину насаждая однородность, а через иерархическое упорядочивание, ранговую сортировку и кодирование различий достигая порядка и максимизируя полезность труда (Фуко 2015, с. 205, 224-225).

К концу XVIII века, как пишет Фуко, основной моделью власти становится *биовласть*², которая управляет жизнью сразу всего населения как популяцией, органической массой, совокупностью есте-

1 В «Надзирать и наказывать» Фуко использует термин «нормализация», но позже обозначает «нормацию» как более подходящий термин, чтобы подчеркнуть «первичность нормы по отношению к нормальному» (Фуко 2011, с. 89).

2 В конце курса лекций «Нужно защищать общество» (Фуко 2005) он вводит понятие «биовласть», но в курсе «Безопасность. Территория. Население» заменяет его термином «устройства безопасности» (*dispositifs de sécurité*) (Фуко 2011, с. 17-18), а далее по ходу курса вводит термин «гouvernementalность» (*gouvernementalité*), включающий в себя предыдущие два: это власть, целью

ственных феноменов (Фуко 2011, с. 13, 455). Биовласть не ограничена искусственным пространством дисциплинарных институтов, а, напротив, с помощью техник *секьюритизирующего контроля* превращает среду человеческого обитания в безопасную территорию, где просчитаны любые риски (Там же, с. 37-39): она «стремится контролировать серию случайных событий, могущих произойти в живой массе; стремится контролировать (при случае модифицировать) вероятность, во всяком случае, компенсировать ее последствия» (Фуко 2005, с. 263). Секьюритизирующее действие биовласти проактивно, оно включает в себя предиктивную аналитику и превентивные меры, это «система различных наблюдений, проверок, действий по надзору и контролю, позволяющих заранее, до того как вор украл, определить, готов ли он совершить кражу» (Фуко 2011, с. 17).

Дисциплинарная власть использовала норму (юридическую, медицинскую, трудовую) как бинарный код, делящий индивидов на два множества — нормальных и аномальных, а затем применяла техники нормации так, чтобы привести элементы второго множества к критериям попадания в первое (Там же, с. 88-89). Биовласть же осуществляет *нормализацию*, определяя статистически оптимальный уровень выраженности или распространения опасности¹, и применяет техники контроля лишь в тех случаях, когда она выходит за пределы интервала допустимого отклонения (Там же, с. 19-20). Это совершенно другая логика наблюдения, требующая куда больших объемов и регулярного обновления данных. Если дисциплинарное наблюдение стремится к субъективирующему эффекту на индивидуальном уровне, то секьюритизирующее — к статистическому эффекту на популяционном. Дисциплинарную матрицу заменяет органическое множество, в котором нет смертей, но есть смертность, нет преступлений, но есть преступность (Там же, с. 18-19, 96).

Новые модели власти не сменяют одна другую, но трансформируют, усложняют существующие техники власти (Фуко 2011, с. 22; Фуко 2015, с. 242), а потому в современном обществе можно обнаружить элементы их всех. Например, камеры наружного наблюдения

которой является население, а инструментом — устройства безопасности (Там же, с. 161-162).

1 Такое понимание нормативности напоминает рассуждения Эмиля Дюркгейма о социальной патологии: для любого общества характерен нормальный уровень преступности, патологией она становится, только когда этот уровень значительно превышен (Дюркгейм 1992, с. 82). Более того, Дюркгейм описывает функциональность нормального уровня преступности, а Фуко описывает функциональность нормальных уровней смертности от болезней и голода в логике биовласти (Фуко 2011, с. 68).

ния на улицах города, распознающие лица, сочетают в себе паноптический, дисциплинарный и секьюритизирующий принципы. Во-первых, горожане видят, что «умный город» видит их, и ведут себя соответствующим образом; асимметрия видимости позволяет городским властям ловить преступников (Graham, Wood 2003) и преследовать протестующих (Feldstein 2019). Во-вторых, камеры фиксируют нарушения, причисляя нарушителя к более низкому рангу в системе (например, китайского социального рейтинга), которому соответствует меньший объем прав. Наконец, камеры превращают пространство города в территорию безопасности, осложняя организацию терактов (Lyon 2006), и обеспечивают карантин, препятствуя распространению вируса (Kitchin 2020; Lyon 2022a).

Жиль Делёз развивает идеи Фуко о наблюдении. В работе «Постскриптум к обществам контроля» (1990) он, игнорируя концепцию биовласти¹, пишет об *обществе контроля*, пришедшем в XX веке на смену дисциплинарному обществу. Контроль становится кибернетическим и осуществляется непрерывной чередой молниеносных компьютерных операций с данными (Делёз 2004, с. 230, 232). Системы наблюдения разбирают проявления индивидов — характеристики их тел (внешность или, например, сердечный ритм) или поведение (перемещения и коммуникацию) — на серии потоков данных. Индивидуумы становятся *дивидуумами*, сводятся к массиву данных (Там же, с. 230, 233); «результатом становится декорпорированное тело, абсолютно виртуальный “дата-двойник”», индивид превращается в чистую информацию (Haggerty, Ericson 2000, р. 611-613). На результатах ее анализа строятся стратегии управления, коммерции и контроля, определяется допуск к ресурсам, сервисам и власти (*Ibid.*, р. 611-613), то есть — если понимать индивидов как потоки данных — доступ к информации (Делёз 2004, с. 230). Так, вуз не пустит студента без электронного пропуска, метрополитен — пассажира без проездного, социальная сеть — без регистрации. Сайты и приложения ограничивают возможности пользователей без платной подписки или не давших согласие на файлы-cookies. Помимо расходов и предоставления данных, от дивидуумов требуется определенное поведение: у банков есть рейтинги благонадежности клиентов, у таможен — списки разыскиваемых и невыездных. Асимметрия власти в обществе

¹ Существует полемика вокруг того, как соотносить биовласть Фуко и контроль Делёза: в самих текстах эксплицитные сходства отсутствуют, но в лекциях Делёза они предстают почти синонимами (Nail 2016). Тем не менее, в отличие от Фуко, Делёз описывает современный дигитализированный контроль, и описываемая им техника наблюдения — *модуляция* — все же отличается от секьюритизирующей категоризации биовласти.

контроля — это *асимметрия доступа*, причем «важен не сам барьер, а компьютер, который отслеживает положение каждого, легальное или нелегальное, и осуществляет глобальную модуляцию» (Там же, с. 232).

Цифровизация наблюдения сделала возможным общество контроля, следующим этапом стала алгоритмизация. Алгоритмическое наблюдение осуществляется без участия человека; алгоритмические системы могут автоматически непрерывно собирать и анализировать большие данные, принимать и реализовывать на основе этого анализа решения и переписывать свои алгоритмы с учетом полученного результата (Introna, Wood 2004; Graham, Wood 2003). Такие системы наблюдения стали активно применяться для предсказания человеческого поведения.

Предиктивная аналитика породила новую форму контроля, которую Антуанетта Рувруа и Томас Бернс назвали *алгоритмической губернаментальностью*. Под этим они понимают тип рациональности, «основанный на автоматизированном сборе, агрегации и анализе больших данных в целях моделирования и предсказания возможного поведения, а также заблаговременного воздействия на него» (Rouvroy et al. 2013, p. 10). Авторы описывают, как алгоритмы конструируют¹ индивида из лишенного уникальных черт множества профилей, отсылающих к его «склонностям, предполагаемым желаниям, возможностям и рискам» (*Ibid.*, p. 27); индивиды профилируются как потенциальные банкроты, покупатели, террористы (*Ibid.*, p. 12). У каждого профиля есть своя характерная структура связей (корреляций) между данными, которая корректируется в реальном времени с получением новых данных (*Ibid.*, p. 20).

Алгоритмы через цифровые интерфейсы в режиме реального времени отслеживают действия индивидов, соотносят их с профилями, которым соответствуют определенные линии вероятного поведения, и предлагают им именно те возможности взаимодействия с интерфейсами (*аффордансы*), которые позволят наиболее вероятно добиться максимально выгодного поведения, например, продать товар за большую цену тому, кто своими действиями в сети выдал

¹ Рувруа и ее соавторы опираются на Жильбера Симондона, который вместо метафизики субстанции, при которой субъект конструирует отношения, описывает онтологию отношений (Rouvroy et al. 2013, p. 21), которые предшествуют субъекту и из которых он конструируется в процессе индивидуации, посредством «интеграции неравенств и различий в единую скординированную систему» (*Ibid.*, p. 5). Именно поэтому Рувруа и Бернс определяют данные как отношения, а их анализ — как поиск связей между отношениями, как поиск «отношений отношений» (*Ibid.*, p. 20).

заинтересованность в его покупке (*Ibid.*, p. 13). Сопротивление алгоритмам невозможно, потому что они сами исключают такую возможность (*Ibid.*, p. 17). Появляется *асимметрия аффордансов*.

Поле возможных действий в цифровой среде — это множество ее аффордансов. Если автор термина, Джеймс Гибсон, определяет аффордансы среды как реальные возможности для действий, определяемые способностями агента, то Дональд Норман, сдавший термин популярным, понимает эти возможности как воспринимаемые, но не обязательно реальные (McGrenere, Но 2000). Таким образом, цифровой контроль может создавать две асимметрии аффордансов: *реальную и воспринимаемую*. Первая достигается путем непосредственного ограничения выбора, что ближе к работам Рувруа; вторая возможна благодаря гибкости настроек цифровых интерфейсов и ограниченности человеческой рациональности, что позволяет управлять поведением индивидов через *архитектуру выбора*¹ (Johnson et al. 2012; Sunstein, Thaler 2008).

Если попытаться сформулировать эволюцию моделей контроля и, соответственно, техник наблюдения в одном предложении, то это движение от *архитектуры поведения* к *экологии действия*. Под «архитектурой» здесь следует понимать как строения паноптических дисциплинарных пространств (тюрем, школ, заводов), так и внутреннее устройство субъектов — дисциплину, послушание, структуру поля их возможного действия. Более современные формы контроля менее «инвазивны», они заблаговременно рассчитывают вероятности и последствия конкретных действий и воздействуют на них через экологию, среду, условия, аффордансы.

В таблице 1 представлено обобщение рассмотренных теорий. Как можно заметить, каждой разновидности контроля соответствует своя характерная техника наблюдения. Как и в случае с моделями власти у Фуко, каждая новая техника наблюдения несет в себе черты предыдущей. Кроме того, каждой технике наблюдения соответствует порождаемая ей структурная асимметрия. Подробный анализ связи техник наблюдения и структурных асимметрий будет представлен в следующих разделах.

1 Не сокращая число возможностей, настройки интерфейсов могут подталкивать индивида к определенному действию — *nudges* (Sunstein, Thaler 2008), осложнять выбор альтернатив — *sludges* (Sunstein 2021), отвлекать от них, обманывать, выдавая одни аффордансы за другие, или подсовывать вместе с выбранным невыбранное — *UX dark patterns* (Gray et al. 2018). Кроме прочего, это приводит к большему непреднамеренному раскрытию пользователями своих данных.

Контроль	Техника наблюдения	Структура
паноптический	надзор	асимметрия видимости
дисциплинарный	сортировка	асимметрия рангов
секьюритизирующий	категоризация	асимметрия риска
дигитализированный	модуляция	асимметрия доступа
алгоритмический	профилирование	асимметрия аффордансов

Таблица 1. Соответствие моделей контроля, техник наблюдений и структурных асимметрий

Table 1. Correspondence between control models, surveillance techniques and structural asymmetries

Структурные асимметрии социальной сортировки

47

Йохан Галтунг определяет насилие как ситуацию, при которой «на людей оказано такое влияние, что их актуальные телесные или ментальные реализации не соответствуют их потенциальным реалиям»; насилием является все, что увеличивает этот разрыв или препятствует его сокращению (Galtung 1969, p. 168). Если в более классических определениях насилие сводится к применению силы (force), Галтунг пишет о насилии как влиянии (influence), значительно расширяя это понятие. Важная черта этой трактовки насилия — необязательность наличия конкретного агента. Так, если *личностное* насилие исходит от конкретного индивида, источником *структурного* насилия выступает социальный порядок: «насилие встроено в структуру и проявляется как неравное распределение власти и, следовательно, жизненных шансов» (Ibid., p. 171).

В качестве одного из механизмов структурного насилия Галтунг выделяет порядок, построенный на прямом ранжировании (Ibid., p. 176). Фуко пишет о сортировке и ранжировании в контексте дисциплины. Дисциплина организует аналитическое пространство, в рамках которого возможны надзор и наказание, оценка качеств и заслуг (Фуко 2015, с. 174). Единицей в нем выступает ранг, место в классификации, клетка в таблице (Там же, с. 178). На этом поле сравнения дисциплинарная власть выстраивает индивидов в иерархический порядок, сравнивает и ранжирует их качества, устанавливает степень их соответствия норме. Примером могут по-

служить диспансеры для больных туберкулезом, где возможности и свобода пациентов зависят от того, как их состояния классифицировали врачи на основе анализов, то есть наблюдения (Bowker, Star 2000, p. 26-27).

В дисциплинарных институтах индивид подвергается муштре, «промывке мозгов» и наказаниям, после чего остается лишь «послушное тело», продукт дисциплины¹ (Фуко 2015, с. 168, 237). Нормация обязательно подразумевает наказания на основе ранжирования: одиночная камера, смирительная рубашка, лишение очередной увольнительной в армии, вычеты из оклада или старинная школьная порка. Наказания определяются соответствием определенным рангам, а принадлежность к рангам устанавливается на основе наблюдения: надзора в тюрьме, осмотра в больнице, экзамена в школе.

Некоторые авторы отмечают, что описанный Фуко «переход от пыток к дисциплине представлял собой переход от прямого телесного насилия к структурному» (Dodds 2020, p. 391). Эта интуиция требует уточнения: старые модели власти не исчезают, а встраиваются в новые, так же как и структурное насилие с определенного момента начинает задавать институциональные формы персонального насилия (Galtung 1969, p. 178). Так, например, тюремное заключение как ограничение движений признается Галтунгом персональным телесным насилием (*Ibid.*, p. 174), но в случае с тюрьмой насилие исходит не столько от конкретного надзирателя, сколько от структуры, в которой заключенный занял соответствующий ранг.

Сортировка для Фуко есть техника власти, которая распределяет награды и наказания, а также продвигает или исключает на основе ранжирования индивидов. Так, она создает состояния господства, а именно структурную асимметрию рангов, в которой структурным насилием, по Галтунгу, может являться как нисходящее перемещение в иерархии, так и само неравное распределение жизненно важных благ по стратифицирующему принципу.

Если с помощью сортировки дисциплина максимизирует послушание, то с помощью категоризации биовласть минимизирует

1 Логика извлечения из субъектов полезности не ставит своей целью нанесение им вреда, но она и не направлена на их благополучие, а потому дисциплина цинично «отделяет силы от тела» (Фуко 2015, с. 168). Насаждаемая ей норма может быть несовместима со здоровьем и развитием человека, если, например, вспомнить ненормированный детский фабричный труд в начале XIX века (Rasmussen 2024, p. 567; Humphries 2013), — Галтунг определяет эксплуатацию, приводящую к страданиям и болезням, как одну из форм структурного насилия (Galtung 1990, p. 293).

риски. Различные категории в разной степени, во-первых, сами подвержены рискам, например, смертельному заболеванию или голоду (Фуко 2011, с. 68, 94), а во-вторых, в разной степени представляют потенциальную опасность для всего населения. Фуко подчеркивает, что биовласть волнует только второе. Она игнорирует отдельные множества до тех пор, пока «без должного управления определенной категорией людей» становится «невозможно добиться того, чего стремятся добиться применительно к населению в целом» (Там же, с. 68). Эта расчетливая слепота приводит к нормальному уровню смертности от болезней (Там же, с. 94), который не снижают, если нет угрозы для популяции, а также к необходимой для поддержания рыночных механизмов нехватке зерна, приводящей кциальному уровню голодных смертей (Там же, с. 68). Именно это неравное распределение жизненных шансов, при котором умирают те, кого можно было бы спасти при другом распределении власти и ресурсов, Галтунг называет структурным насилием (Galtung 1969, р. 178).

Эта линия рассуждений Фуко была развита классиком исследований наблюдения Дэвидом Лионом (Lyon 2005). Согласно его теории социальной сортировки¹ (*social sorting*), сбор данных системами наблюдения позволяет профилировать индивидов, относя их к иерархически упорядоченным категориям. На основе этой категоризации определяется, «на кого должны быть нацелены особое обращение, подозрение, выбор, инклюзия, доступ и так далее» (Ibid., р. 20), а на кого — нет. Посредством наблюдения индивиды сопоставляются с тем объемом прав, возможностей и ресурсов, которые отводятся этой категории в социальной структуре. Принципиально важно, что посредством социальной сортировки наблюдение не просто обнаруживает различия, но активно их конструирует, управляя населением на основе этих предписанных статусов (Monahan 2008, р. 219). Образование и принуждение групп всегда сопряжено с наблюдением (Graham, Wood 2003, р. 227).

Если персональное наблюдение направлено на получение информации о конкретном индивиде, то массовое наблюдение — на «выявление» в населении определенных категорий (Clarke 1988, р. 499), на основании соответствия которым одни получают льготы, скидки, пособия и услуги (Monahan 2010), а другие проходят дополнительные проверки в метро и аэропортах, получают

¹ У Лиона нет введенного выше различия между сортировкой и категоризацией, что может вызвать путаницу. Социальная сортировка Лиона — категоризация, а описываемый им контроль — секьюритизирующий (концепция появилась по следам теракта 11 сентября 2001 года).

отказ на въезд в страну (Lyon 2006). Социальная сортировка может выступать как подспорьем эффективной борьбы с эпидемиями, преступностью и терроризмом, так и инструментом репрессивного аппарата и дискриминационной политики в отношении расовых и религиозных (Lyon 2006; Fiske 1998), гендерных и сексуальных меньшинств (Koskela 2012), нищих и бездомных (Fopp 2002; Gilliom 2001). Наблюдение «обладает властью определять неуместное», а потому, навязывая нормы, оно сфокусировано на «тех, кто был отнесен к “ненормальным”» (Fiske 1998, р. 81). Гидденс отмечает, что «девиация — это не совокупность действий или отношений, отделенных от надзорных операций государства, она формируется в них и посредством их» (Giddens 1985: 309). Объявляя обделенные ресурсами категории (*underdogs*) девиантными и объясняя их положение их девиацией — то есть объясняя причину следствием, — власть имущие (*topdogs*) осуществляют *маргинализацию*, одну из форм структурного насилия (Galtung 1990, р. 294).

50

В сфере частного наблюдения интернет-магазины и маркетплейсы используют механизм, названный Оскаром Ганди *паноптическим разбором* (*panoptic sort*), который заключается в последовательной идентификации продавцами своих покупателей, оценке их «экономической ценности» и категоризации на основе собранных данных (Gandy 1996, р. 133-135). Паноптический разбор позволяет предугадывать выбор покупателей, опираясь на историю покупок людей из той же категории, а также предлагать более состоятельным покупателям более дорогие товары (*Ibid.*, р. 140-142). Это стало возможно благодаря появлению аккаунтов: новые данные о поведении авторизованного на сайте покупателя ассоциируются с уже накопленными данными о нем и данными о покупках других покупателей из той же категории. Здесь можно наблюдать промежуточную стадию между категоризацией и профилированием.

Если дисциплинарный контроль, основанный на бинарной норме, скрупулезно анализировал своих изолянтов, то для основанного на бинарном коде массового дигитализированного контроля не существует индивидов — лишь их дивидуальный цифровой след. Это делает социальную сортировку неизбежно дискриминационной и стигматизирующей, поскольку право объектов наблюдения на доступ к ресурсам определяется на основе нескольких, часто формальных, признаков: любое «профилирование исходит из предпосылки возможности узнать другого без знакомства» (Bellanova et al. 2021, р. 130). Этот избыточный фокус на категоризующем признаком, определяющем уровень доступа, и абсолютная слепота ко всем остальным (Lianos, Douglas 2000, р. 107), свойственные операциям

общества контроля, делают структурные асимметрии насилиственными в своей непредвзятости: для бездомного получение пособия, которое не выдают без соответствующих документов, может быть вопросом жизни и смерти, равно как и для мигранта, пытающегося покинуть охваченную политическим кризисом страну. Некоторые авторы объясняют несправедливой работой социальной сортировки неравный доступ к здравоохранению, с чем связаны более высокие доли умерших от COVID-19 среди бедных слоев населения и расовых меньшинств (Maras 2023). По Галтунгу, поскольку этих смертей можно было избежать, погибших можно считать жертвами структурного насилия — несправедливого распределения ресурсов и возможностей (Galtung 1969, р. 178).

Алгоритмизация социальной сортировки приводит к алгоритмизации структурного насилия. Так, Мими Онуха ввела понятие *алгоритмического насилия* — таковым она называет дискриминацию, которую «совершает алгоритм или автоматизированная система принятия решений, не позволяя людям удовлетворять свои базовые потребности» (Onuoha 2018). В качестве примеров она приводит предвзятую работу алгоритмов по отношению к определенным социальным категориям, которые используются полицией и судами, рекрутерами и банками. Подхватившие этот термин авторы описывают расовые предрассудки, заложенные в алгоритмические системы анализа стоимости недвижимости (Safransky 2020), использование алгоритмов в военных и полицейских целях (Bellanova et al. 2021); с концепцией Онуха часто сравнивают более ранние работы о предвзятой работе алгоритмов браузеров (Noble 2018) и государственных социальных программ (Eubanks 2017). Фактически эти авторы называют алгоритмическим насилием вообще любую категориальную дискриминацию с участием алгоритмов. Однако алгоритмизация наблюдения не сводится только к автоматизации социальной сортировки: она порождает новые техники наблюдения, которые, в свою очередь, порождают новые формы структурного насилия.

51

Тихое насилие алгоритмов: асимметрии аффордансов

Ньютон Гарвер в своей работе «Что такое насилие?» (1968) замечает, что идея насилия теснее связана с идеей нарушения (*violation*), нежели силы (*force*), а потому переопределяет насилие как нарушение неотъемлемых человеческих прав (Betz 1977, р. 340). Такими правами он считает *право на тело* и *право на автономию*, причем последнее понимается как «право на продукт своего труда» и «право распоряжаться или спрятываться с последствиями своих действий» (цит. по: Betz 1977, р. 340). Кроме того, он вводит различие на «персональ-

ное» и «институциональное насилие», а также на «открытое/физическое» и «скрытое/тихое»¹ (*Ibid.*). Джозеф Гарвер, не отрицая своих сомнений, трактует тихое насилие Гарвера как психологическое (*Ibid.*, p. 348), но кажется, что это слабо обоснованное и необязательное сужение авторского замысла.

В контексте организованного наблюдения примечательна институциональная форма тихого насилия, которая, согласно Гарверу, «действует, когда люди систематически лишаются выбора из-за самого способа, которым обычно совершаются операции (transactions)» (цит. по: Coady 1985, p. 2). Так, насильтвенной может быть архитектура выбора, сокращение набора доступных альтернатив, возможностей, аффордансов, что, по сути, есть структурирование возможного поля действия другого — фукиансское понимание власти (Фуко 2006а, с. 181). Под этим углом автономию у Гарвера можно понимать в том числе как ту свободу, которую Фуко делает отличительной чертой отношений власти: наличие реальной альтернативы насыжданому властным отношением действию, а также возможность сопротивления этому насаждению (Там же, с. 180-182). Более того, если соотнести этот концепт с теорией Галтунга, тихое институционализированное насилие предстает как одна из форм структурного насилия², поскольку оно порождает асимметрию возможностей выбора, структурную асимметрию. Далее будут рассмотрены проявления контроля, порождающие асимметрии аффордансов.

Изначально для максимизации прибыли и конкурентоспособности на рынке было достаточно экстенсивного изменения масштабов сбора данных, что сделало предоставление данных условием получения товаров и услуг (Gandy 1996, p. 145); Шошанна Зубоф называет это «императивом извлечения» (Зубоф 2022, с. 263). Но вскоре эффекта от увеличения масштаба наблюдения стало недостаточно и потребовалось улучшение прогностического качества поведенческих данных, появляется «императив прогнозирования» (Там же). Надзорные капиталисты осознали, что «самый верный способ предсказать поведение — вмешаться и сформировать его у истока» (Там же, с. 265), используя средства управления поведением: манипуляции через архитектуру выбора и своевременное появление стимулов Зубоф называет «подстройкой» (*tuning*), тогда как непосредственное ограничение возможностей — «понуждением» (*herding*)³

1 В этом разделе «тихое (silent) наблюдение» алгоритмов (Introna, Wood 2004) концептуализируется как «тихое (quiet) насилие» по Гарверу.

2 «Структурного» в трактовке Галтунга, «насилия» в трактовке Гарвера.

3 Зубоф также выделяет третий подход, «обуславливание» — систему дрессировки посредством поощрений определенного поведения из работ бихевиориста Берресса Скиннера (Зубоф 2022, с. 387-388). Галтунг также отмечал,

(Там же, с. 385). Первый из этих двух подходов к изменению поведения создает асимметрию аффордансов, которую мы ранее назвали воспринимаемой, в то время как второй — реальную асимметрию аффордансов.

Описывая уже упомянутый феномен паноптического разбора, Ганди одним из первых осознает, какую власть над спросом дает возможность таргетировать предложение. Профилирование и категоризация покупателей, анализ и систематизация их покупок сделали возможным предлагать им те товары, которые покупали другие представители их категории. Анализируя, кто какие товары чаще покупает вместе, продавцы стали манипулировать потребительским выбором, подталкивая покупателей к незапланированным покупкам (Gandy 1996, р. 144). Паноптический разбор является примером ранних попыток внедрения механизмов «подстройки», тогда как сегодня манипуляции через стимулы, основанные на сборе данных, стали куда изощреннее: Зубофф приводит в пример рекламу, таргетированную по геолокации смартфона индивида или даже по истории его типичных перемещений в это время суток (Зубофф 2022, с. 318). Реклама также может подбираться на основе прослушки разговоров подключенными к интернету девайсами, например, телевизором или умной колонкой (Там же, с. 346–347).

53

Рувруа и ее соавторы описали более продвинутые, чем у Ганди, механизмы манипуляций спросом с применением сложных алгоритмических систем. Они порождают уже не иерархию категорий (сортов покупателей), но более многомерное профилирование, где каждому соответствует сложная констелляция профилей (Rouvroy et al. 2013, р. 12, 27). Это позволяет делать предсказания тех же покупок не на категориальном, а на индивидуальном уровне. Кроме того, в работе Рувруа цифровое наблюдение вступает в альянс с цифровым интерфейсом: профилирование в режиме реального времени (сбор данных, их корреляционный анализ) позволяет предсказывать предрасположенности индивида, например, эластичность его спроса на товар, а интерфейс структурирует аффордансы так, чтобы добиться от индивида наиболее выгодного для платформы действия.

В качестве примера такой работы алгоритмического наблюдения с интерфейсом Рувруа приводит динамическое ценообразование (*Ibid.*, р. 13). Если покупатель заходит на сайт и видит билеты на рейс по одной цене, покидает его в поисках более дешевых альтернатив и,

что насилие может осуществляться посредством поощрений за выгодное властя имущим поведение, если это в конечном итоге ведет к разрыву между потенциальными и актуальными реализациями (Galtung 1969, р. 170).

не найдя их, возвращается на этот сайт, он увидит, что цена выросла. Закономерной реакцией на это будет купить билеты по текущим ценам, пока они еще не выросли. При этом если он зайдет на этот сайт с другого устройства, то увидит старую цену (*Ibid.*). Это объясняется тем, что алгоритмы сайта на основе собранных с помощью цифрового наблюдения данных профилировали его как того, кому необходимо срочно купить билеты.

Работа алгоритмов в статье Рувруа является яркой иллюстрацией таких манипуляций поведением, которые Зубофф обозначает как «понуждение» — потребителю не оставляют никакой иной возможности, кроме предписанной алгоритмом. Алгоритмический контроль, построенный на профилировании, позволяет предсказывать конкретные действия конкретных индивидов и, благодаря гибкости настроек цифровых интерфейсов, воздействовать на них. По Гарверу, систематические ограничения автономии исходят из самого способа, которым осуществляются действия. В работе Рувруа этим способом выступает неизбежное взаимодействие индивида с интерфейсом, через который же осуществляется ограничение выбора. На основе собранных в ходе цифрового наблюдения данных индивид алгоритмически профирируется в реальном времени; так, алгоритмы просчитывают, какой набор аффордансов ему предложить, чтобы принести сайту наибольшую выгоду.

Зубофф в своей работе описывает вектор дальнейшего развития механизмов «понуждения», а именно структурирование аффордансов в физическом, но totally дигитализированном мире. Внедрение технологий наблюдения в повседневность, появление интернета вещей и распространение умных домов и девайсов приводят к тому, что расширяется пространство поднадзорности, а следовательно, и пространство контроля. В качестве примера Зубофф описывает умный автомобиль, который может не включать зажигание у просрочившего выплаты должника и сам вызвать эвакуатор или же собирать данные о стиле вождения индивида и профилировать его, что позволит страховой компании поднять стоимость страховки небрежному водителю (Зубофф 2022, с. 279-282). Наблюдение постепенно обретает возможность создавать асимметрии аффордансов нецифровых интерфейсов.

Такая «идеология неизбежности исключает возможность выбора и добровольного участия», — подытоживает Зубофф, — «она не оставляет места для человеческой воли как творца будущего» (Там же, с. 298), используя «все доступные средства для замены автономных действий гетерономными» (Там же, с. 404). Таким образом, систематическая утрата выбора, о которой пишет Гарвер, становится единственной доступной индивидам реальностью.

Заключение

В современном обществе «тот факт, что человек одарен способностью к поступку» лишь означает, «что он ускользает от всякой обозримости и вычислимости» (Арендт 2000, с. 232), причем это становится уже практически невозможным, ведь поднадзорность, прозрачность и предсказуемость стали условиями участия в социальной жизни и удовлетворения базовых потребностей.

Эволюция моделей управления представляет собой переход от архитектуры поведения к экологии действия. Контроль от субъективирующих техник, направленных на дифференцируемое множество, переходит к проактивной манипуляции условиями конкретных действий конкретных индивидов. Такому контролю становится сложнее сопротивляться, поскольку он исключает саму вероятность сопротивления.

Каждой модели контроля соответствует своя характерная техника наблюдения: паноптический надзор, дисциплинарная сортировка, секьюритизирующая категоризация, дигитализированная модуляция и алгоритмическое профилирование. Эти техники наблюдения действуют в логике соответствующих им парадигм управления, описанных Фуко.

55

Определенные Галтунгом антиегалитарные паттерны в структуре распределения ресурсов, а также фукиансское понятие состояний господства как асимметричных отношений власти, ограничивающих свободу субъектов, стали основой концептуализации структурного насилия как структурных асимметрий, специфичных для каждой модели контроля, что позволило рассмотреть различия структурного насилия не по депривируемым потребностям, как это делает Галтунг (Galtung 1990, р. 292), но по стратифицирующим принципам в социальной структуре. Каждая техника наблюдения порождает специфичную для нее структурную асимметрию в распределении ресурсов и жизненных шансов. Эти асимметрии приводят к неравенству возможностей и ограничению свободы выбора.

Логичным завершением данного анализа генеалогии наблюдения из работ Фуко, Делёза и Рувруа будет обращение к будущему. Зубоф обозначила тенденцию к выходу контроля аффордансов за пределы цифрового пространства, к управлению через физические интерфейсы, как в случае с автомобилем. Сегодня тело становится объектом пристального (само)наблюдения, а потому человеческий организм в конечном итоге тоже может стать таким интерфейсом. Подобный гормональной регуляции голода, применяемой сейчас в лекарствах для похудения, может появиться механизм биохимической регуляции намерений и мотиваций; тогда предсказание и проактивное подавление одних желаний и формирование искус-

ственных, но выгодных системе других приведет к новым формам неравенства.

В любом случае дальнейшее развитие техник наблюдения будет происходить в логике развития моделей контроля и будет порождать новые структурные асимметрии, новые измерения структурного насилия, а потому его теоретикам необходимо уделять больше внимания этому феномену.

Финансирование / Funding

Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

This research is supported by the Faculty of Social Sciences, HSE University.

Список источников / References

56

Арендт Х. (2000) *Vita activa, или О деятельности жизни*. Алетейя.

— Arendt H. (2000) *Vita activa, or On the Active Life*. Aletheia. (in Russ.)

Вебер М. (2008). Основные социологические понятия. *Социологическое обозрение*, 7(2), pp. 86–127. EDN: JWUSJL

— Weber M. (2008) Basic concepts of sociology. Unabridged translation. *The Russian Sociological Review*, 7(2), pp. 86–127. (in Russ.)

Делёз Ж. (2004) *Переговоры. 1972–1990*. Наука. EDN: QWGJQZ

— Deleuze G. (2004) *Negotiations. 1972–1990*. Nauka. (in Russ.)

Дюrkгейм Э. (1992) Норма и патология. *Рубеж: Альманах социальных исследований*, (2), с. 82–88.

— Durkheim E. (1992) Norm and pathology. *Rubezh: Almanac of social research*, (2), pp. 82–88. (in Russ.)

Жижек С. (2010) *О насилии*. Издательство «Европа». EDN: QOMDEF

— Žižek S. (2010) *On Violence*. Publishing House «Europe». (in Russ.)

Зубоффи Ш. (2022) *Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти*. Издательство Института Гайдара.

— Zuboff S. (2022) *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Gaidar Institute Publishing House. (in Russ.)

Родионова М. М., & Смирнов Н. М. (2022) Корабль Тесея: трансформации понятия насилия в политической и социальной теории. *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*, (3), с. 6–27. EDN: LOWNBU. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-6-27>

— Rodionova M. M. & Smirnov N. M. (2022) The Ship of Theseus: Transformations of the Concept of Violence in Political and Social Theory. *Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast*, (3), pp. 6–27. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2022-106-3-6-27>. (in Russ.)

Фуко М. (2002а) Нужно защищать общество (с. 210–219). В сборнике: Визгин В. П. & Скуратов Б. М. (ред.) *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 1.* Праксис.

— Foucault M. (2002a) Society Must Be Defended (pp. 210–219). In Vizgin V. P. & Skuratov B. M. (Eds.) *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews. Part 1.* Praxis. (in Russ.)

Фуко М. (2002б) Око власти (с. 220–248). В сборнике: Визгин В. П. & Скуратов Б. М. (ред.) *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 1.* Праксис.

— Foucault M. (2002b) Eye of Power (pp. 220–248). In Vizgin V. P. & Skuratov B. M. (Eds.) *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews. Part 1.* Praxis. (in Russ.)

Фуко М. (2005) «Нужно защищать общество»: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. Наука. EDN: QWLMUN

— Foucault M. (2005) «*Society Must Be Defended*»: the course of lectures given at the Collège de France in the 1975–1976 academic year. Nauka. (in Russ.)

Фуко М. (2006а) Субъект и власть (с. 161–190). В сборнике: Большаков В. П. (ред.) *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 3.* Праксис.

— Foucault M. (2006a) Subject and Power (pp. 161–190). In Bolshakov V. P. (Ed.) *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews. Part 3.* Praxis. (in Russ.)

Фуко М. (2006б) Этика заботы о себе как практика свободы (с. 241–270). В сборнике: Большаков В. П. (ред.) *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 3.* Праксис.

— Foucault M. (2006b) The Ethics of Self-Care as a Practice of Freedom (pp. 241–270). In Bolshakov V. P. (Ed.) *Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews. Part 3.* Praxis. (in Russ.)

Фуко М. (2011) Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. Наука. EDN: QXBZNV

— Foucault M. (2011) *Security, territory, population. The course of lectures given at the Collège de France in the 1977–1978 academic year.* Nauka. (in Russ.)

Фуко М. (2015) Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Ad Marginem: Музей современного искусства «Гараж».

— Foucault M. (2015) *Discipline and Punish. The Birth of the Prison.* Ad Marginem: Garage Museum of Contemporary Art. (in Russ.)

Bellanova R., Irion K., Lindskov Jacobsen K., Ragazzi F., Saugmann R. & Suchman L. (2021) Toward a critique of algorithmic violence. *International Political Sociology*, 15(1), pp. 121–150. <https://doi.org/10.1093/ips/olab003>

Bentham J. (1995) *The Panopticon Writings* (M. Božović, Ed.). Verso.

Bentham J. (1834) *Deontology or, The science of morality* (J. Bowring, Ed.). Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman.

- Betz J. (1977) Violence: Garver's definition and a Deweyan correction. *Ethics*, 87(4), pp. 339–351. <https://doi.org/10.1086/292046>
- Bowker G. C. & Star S. L. (2000) *Sorting things out: Classification and its consequences*. MIT press.
- Clarke R. (1988) Information technology and dataveillance. *Communications of the ACM*, 31(5), pp. 498–512. <https://doi.org/10.1145/42411.42413>
- Coady C. A. J. (1985) The idea of violence. *Philosophical Papers*, 14(1), pp. 1–19. <https://doi.org/10.1080/05568648509506233>
- Dodds C. (2020) In Fear of Black Revolutionary Contagion and Insurrection: Foucault, Galtung, and the Genesis of Racialized Structural Violence in American Foreign Policy and Immigration Law. *Michigan Journal of Race & Law*, 26, pp. 371–441. <https://doi.org/10.36643/mjrl.26.2.fear>
- Eubanks V. (2017) *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.
- Feldstein S. (2019) The road to digital unfreedom: How artificial intelligence is reshaping repression. *Journal of Democracy*, 30(1), pp. 40–52. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0003>
- Fiske J. (1998) Surveilling the City: Whiteness, the Black Man and Democratic Totalitarianism. *Theory, Culture & Society*, 15(2), pp. 67–88. <https://doi.org/10.1177/026327698015002003>
- Fopp R. (2002) Increasing the Potential for Gaze, Surveillance and Normalisation: the transformation of an Australian policy for people who are homeless. *Surveillance & Society*, 1(1), pp. 48–65. <https://doi.org/10.24908/ss.v1i1.3393>
- Galović M., Timan T. & Koops B. J. (2017) Bentham, Deleuze and beyond: An overview of surveillance theories from the panopticon to participation. *Philosophy & Technology*, 30, pp. 9–37. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0219-1>
- Galtung J. (1969) Violence, peace, and peace research. *Journal of peace research*, 6(3), pp. 167–191.
- Galtung J. (1990) Cultural violence. *Journal of peace research*, 27(3), pp. 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Gandy O. H. (1996) Coming to Terms with the Panoptic Sort (pp. 132–155). In Lyon D. & Zureik E. (Eds.) *Computers, surveillance, and privacy*. University of Minnesota Press.
- Garver N. (1968) What Violence Is. *The Nation*, 209(24), pp. 819–822.
- Giddens A. (1985) *The Nation-State and Violence*. Polity Press.
- Gilliom J. (2001) *Overseers of the poor: Surveillance, resistance, and the limits of privacy*. University of Chicago Press.
- Graham S. & Wood D. (2003) Digitizing Surveillance: Categorization, Space, Inequality. *Critical Social Policy*, 23(2), pp. 227–248. <https://doi.org/10.1177/0261018303023002006>
- Gray C. M., Kou Y., Battles B., Hoggatt J. & Toombs A. L. (2018) The dark (patterns) side of UX design (pp. 1–14). In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174108>
- Haggerty K. & Ericson R. (2000) The Surveillant Assemblage. *The British journal of sociology*, 51(4), pp. 605–622. <https://doi.org/10.1080/00071310020015280>

- Humphries J. (2013) Childhood and child labour in the British industrial revolution. *The Economic History Review*, 66(2), pp. 395–418. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00651.x>
- Introna L. & Wood D. (2004) Picturing algorithmic surveillance: The politics of facial recognition systems. *Surveillance & Society*, 2(2/3), pp. 177–198. <https://doi.org/10.24908/ss.v2i2/3.3373>
- Johnson E. J., Shu S. B., Dellaert B. G., Fox C., Goldstein D. G., Häubl G., Larrick R. P., Payne J. W., Peters E., Schkade D., Wansink B. & Weber E. U. (2012) Beyond nudges: Tools of a choice architecture. *Marketing letters*, 23, pp. 487–504. <https://doi.org/10.1007/s11002-012-9186-1>
- Kitchin R. (2020) Civil liberties or public health, or civil liberties and public health? Using surveillance technologies to tackle the spread of COVID-19. *Space and Polity*, 24(3), pp. 362–381. <https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1770587>
- Koskela H. (2012) «You shouldn't wear that body»: the problematic of surveillance and gender (pp. 49–56). In Ball K., Haggerty K. & Lyon D. (Eds.) *Routledge handbook of surveillance studies*. Routledge.
- Lianos M. & Douglas M. (2000) Dangerization and the End of Deviance: The Institutional Environment (pp. 261–278). In Sparks R. & Garland D. (Eds.) *Criminology and Social Theory*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/bjc/40.2.261>
- Lyon D. (2006) Airport screening, surveillance, and social sorting: Canadian responses to 9/11 in context. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 48(3), pp. 397–411. <http://doi.org/10.1353/cj.2006.0030>
- Lyon D. (2005) Surveillance as social sorting: Computer codes and mobile bodies (pp. 27–44). In Lyon D. (Ed.) *Surveillance as social sorting*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203994887>
- Lyon D. (2022a) *Pandemic surveillance*. Polity Press.
- Lyon D. (2022b) Surveillance. *Internet Policy Review*, 11(4), pp. 1–18. <http://doi.org/10.14763/2022.4.1673>
- Maras M. H. & O'Brien W. (2023) Discrimination, stigmatization, and surveillance: COVID-19 and social sorting. *Information & Communications Technology Law*, 32(1), pp. 122–148. <https://doi.org/10.1080/13600834.2022.2101295>
- Marx G. T. (2015) Surveillance studies (2nd ed., pp. 733–741). In Wright J. D. (Ed.) *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier. <http://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64025-4>
- McGrenere J. & Ho W. (2000) Affordances: Clarifying and evolving a concept (pp. 179–186). In *Proceedings of the Graphics Interface 2000 Conference*. <https://doi.org/10.20380/GI2000.24>
- Monahan T. (2008) Surveillance and inequality. *Surveillance & Society*, 5(3), pp. 217–226. <https://doi.org/10.24908/ss.v5i3.3421>
- Monahan T. (2010) Surveillance as governance: social inequality and the pursuit of democratic surveillance (pp. 107–126). In Haggerty K. D. & Samatas M. (Eds.) *Surveillance and democracy*. Routledge-Cavendish.
- Nail T. (2016) Biopower and control (pp. 247–263). In Morar N., Nail T. & Smith D. W. (Eds.) *Between Deleuze and Foucault*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474415095-017>

- Noble S. U. (2018) *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. NYU Press.
- Onuoha M. (2018, February 7). Notes on algorithmic violence. *GitHub*. <https://github.com/MimiOnuoha/On-Algorithmic-Violence>
- Rasmussen M. B. (2024) The great standardisation: Working hours around the world. *Labor History*, 65(4), pp. 563–591. <https://doi.org/10.1080/0023656X.2023.2291512>
- Rouvroy A., Berns T. & Carey-Libbrecht L. (2013) Algorithmic governmentality and prospects of emancipation. *Réseaux*, 177(1), pp. 163–196. <https://shs.cairn.info/journal-reseaux-2013-1-page-163?lang=en>
- Safransky S. (2020) Geographies of algorithmic violence: Redlining the smart city. *International Journal of Urban and Regional Research*, 44(2), pp. 200–218. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12833>
- Sunstein C. R. (2021) *Sludge: What stops us from getting things done and what to do about it*. MIT Press.

Об авторе / About the author

60

Сизов Антон Антонович — стажер-исследователь Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, студент бакалаврской программы «Социология» НИУ ВШЭ в Москве. Научные интересы: социологическая теория, surveillance studies, governmentality studies, сетевой анализ.

<https://orcid.org/0009-0002-4483-6160>. E-mail: aasizov@hse.ru

Anton A. Sizov — research assistant at the International Laboratory for Applied Network Research and an undergraduate student of Sociology at HSE University, Moscow. Research interests: sociological theory, surveillance studies, governmentality studies, social network analysis.

<https://orcid.org/0009-0002-4483-6160>. E-mail: aasizov@hse.ru

Лошадь бьют: от насилия к сексуальности и обратно

ОКСАНА В. ТИМОФЕЕВА

Берлинский университет искусств, Берлин, Германия

<https://orcid.org/0000-0002-2344-972X>

Рекомендация для цитирования:

Тимофеева О. В. (2025) Лошадь бьют: от насилия к сексуальности и обратно. *Социология власти*, 37 (3): 61–79
EDN: IKFZHM

For citation:

Timofeeva O. V. (2025) The Horse is Beaten: From Violence to Sexuality and Back Again. *Sociology of Power*, 37 (3): 61–79

Поступила в редакцию: 10.05.2025;
прошла рецензирование: 12.07.2025;
принята в печать: 19.07.2025
Received: 10.05.2025; Revised:
12.07.2025; Accepted: 19.07.2025



© Author, 2025

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: В статье рассматривается и критически переосмысливается связь насилия и сексуальности на материале одного из самых известных клинических случаев в психоанализе Фрейда — случая маленького Ганса. В рамках этого случая Фрейд объясняет механизм действия такого распространенного психического расстройства, как боязнь определенного вида животных, через детскую сексуальность, становление которой происходит в контексте нуклеарной семьи. Обращаясь к истории мальчика, который боялся лошадей, Фрейд анализирует зоофобию как элемент эдипальной структуры — психической конфигурации, в которой ребенок проходит гендерную социализацию в сложном треугольнике любви, подражания, ревности и страха по отношению к отцу и матери. По версии Фрейда, истоком психического расстройства является вытесненная энергия влечения. В статье этот тезис подвергается пересмотру, в ходе которого на первый план выходит не сексуальность, а животные, насилие над ними и роль, которую принятие такого насилия как нормы играет в становлении человеческой личности. Гипотеза заключается в том, что по ту сторону сексуальности (основы нашей душевной жизни, согласно Фрейду) существует механизм насилия, производящий то, что мы считаем социальной нормой. Этот механизм описывается как «машина маскулинности». Исследование работы этой машины дополнено анализом сновидения Раскольникова об избиении лошади и сравнением двух персонажей, реального и вымышленного, которые в детстве стали свидетелями насилия над лошадьми, — фрейдовского маленького Ганса и Раскольникова.

61

Ключевые слова: психоанализ, насилие, сексуальность, фобия, лошади, Фрейд, Достоевский

The Horse is Beaten: From Violence to Sexuality and Back Again

Oxana V. Timofeeva

Berlin University of the Arts, Berlin, Germany

<https://orcid.org/0000-0002-2344-972X>

Abstract: This article explores and critically examines the relationship between violence and sexuality through one of the most famous clinical cases in Freud's psychoanalysis: the case of Little Hans. In this case, Freud explains the mechanism of a common disorder — such as fear of a certain kind of animal — through a child's sexuality, which is being formed in the context of the nuclear family. Turning to the story of the boy who is afraid of horses, Freud analyzes zoophobia as an element of the Oedipal structure, a psychic configuration in which the child undergoes gender socialization in a complex triangle of love, imitation, jealousy, and fear in relation to their parents. According to Freud, the origin of mental disorder is the displaced energy of attraction. The article revises this thesis, bringing to the fore not sexuality, but animals, violence over them, and the role of the acceptance of such violence as a norm in the formation of the human personality. The author's hypothesis is that, on the other side of sexuality (the basis of our mental life, according to Freud), lies a violent mechanism that produces what we consider to be the social norm. This mechanism is described as the "masculinity machine". The study of how the machine works is complemented by an analysis of Rodion Raskolnikov's dream about beating a horse and a comparison of two characters, real and fictional, who witnessed violence over horses in childhood — Freud's Little Hans and Raskolnikov.

62

Keywords: psychoanalysis, violence, sexuality, phobia, horses, Freud, Dostoevsky

Маленький Ганс: фобия

В 1909 году Фрейд опубликовал «Анализ фобии одного пятилетнего мальчика», известный как «случай маленького Ганса». Ганс (Герберт Граф) не был пациентом Фрейда. Отец Ганса, австрийский критик и музеолог Макс Граф, друг Фрейда и верный последователь его метода, сам выступил в роли аналитика. Родители Ганса были очень либеральны в своем подходе к воспитанию, и мальчик рос в гуманистической атмосфере взаимного доверия и уважения. Отец внимательно отслеживал все нюансы психического развития сына, особенно в том, что касалось сексуальности. Так, он делится своими ранними наблюдениями о повышенном интересе Ганса к гениталиям: трехлетний ребенок постоянно расспрашивает родителей о том, что он называет *Wiwimacher*¹, рассуждает о больших

1 «Пипка» в русском переводе С. Панкова.

и маленьких «вивимахерах» у разных животных, включая людей, и приводит аргументы в пользу своей гипотезы о том, что «вивимахеры» имеются у всех живых существ (см.: Фрейд 2012).

Уже здесь, в самом начале длительного диалога между отцом и сыном, возникает момент недопонимания. Ганс, по сути, прав: у большинства живых существ действительно есть «вивимахеры», если под этим словом в соответствии с его этимологией понимать органы мочеиспускания. Гипотезу Ганса подтверждает его мать, положительно отвечая на его вопрос о том, есть ли у нее «вивимахер». По мысли Ганса, у больших животных — например, лошадей или жирафов — большие «вивимахеры», а у маленьких — маленькие. Мальчик еще не делит людей по половому признаку и ведет себя одинаково нежно и дружелюбно и с мальчиками, и с девочками. Он полагает, что у матери должен быть большой «вивимахер», как у лошади, однако не может утверждать этого с полной уверенностью, поскольку никогда не видел ее обнаженной. Увидев, как купают новорожденную сестру, Ганс отмечает, что ее «вивимахер» совсем крохотный, но думает, что он еще вырастет (Там же: 32).

Отец Ганса, однако, придерживается другого мнения. Он думает, что «вивимахеры» есть только у мужчин, и чем больше мужчина, тем больше у него «вивимахер» (в связи с этим он не упускает шанса подчеркнуть, что у него больше¹). Не то чтобы отец не знал, что женщины тоже мочатся и, конечно, обладают соответствующими органами. Разумеется, он знает, однако по какой-то причине пре-небрегает этим знанием, поскольку вся его аргументация основана на ложной предпосылке: он считает, что «вивимахер» — это пенис, и пытается убедить в этом своего сына (см.: Wakefield 2017). Пенису же он приписывает не мочеиспускательную, а половую функцию, о которой ребенок еще не осведомлен.

63

Отметим, что Фрейд, консультирующий отца Ганса и дающий ему психоаналитические советы, разделяет его концептуальную слепоту и тоже придерживается «теории пениса». Придавая слишком большое значение символизму отсутствия пениса у женщины, он полагает, что и для детей это должно быть решающим фактором самоидентификации. Так или иначе, отец и сын постоянно беседуют о «вивимахере» и связанных с ним предметах, причем интерес мальчика не только теоретический, но и практический — если под практикой понимать его ранние опыты мастурбации и усилия родителей, направленные на то, чтобы их пресечь.

¹ См., к примеру, его интерпретацию сна мальчика о жирафах: «Большой жираф — это я, то есть большой пенис (ведь у жирафа длинная шея)» (Там же, с. 47).

В определенный момент Ганс вдруг начинает бояться лошадей. Страх проявляется в различных формах, но фигура лошади всегда играет ключевую роль. Он боится, что лошадь войдет в комнату, что лошадь его укусит, что лошадь упадет и умрет. В конце концов, мальчик отказывается выходить на улицу. Он хотел бы остаться дома, с матерью, которая возьмет его к себе в постель. Отец, конечно же, связывает это с предыдущими наблюдениями мальчика по поводу «вивимахера» лошади, и, в соответствии с предзаданной эдипальной схемой, утверждает, что фигура лошади замещает его (отца) самого. Одна из его интерпретаций состоит в следующем: мальчик боится, что отец-лошадь войдет в комнату, где он занимается с матерью чем-то секретным, для чего он пока не знает слова. Есть и другие сценарии, в которых легко разглядеть сексуальный подтекст. Мысль о том, что лошадь укусит, отсылает к страху кастрации. Страх, что лошадь упадет и умрет, маскирует бессознательное эдипальное желание ребенка, чтобы упал и умер отец. Его мать тоже лошадь: она падает, потому что слишком тяжелая; упряжка, которую она везет, — это ее беременность. Падающая лошадь это и младенец, сестра Ганса, которая выпадает из материнского тела. А еще есть служанка, которая «разрешает ему садиться на нее верхом, когда она моет пол», и которую он зовет «моя лошадка» (Фрейд 2012, с. 40). Наконец, его друг Фрицль как-то раз упал у него на глазах во время игры в лошадку¹.

Одним словом, перед нами калейдоскоп ассоциаций, в которых все представители ближнего круга мальчика по очереди представляют в обличье лошадей. Страх словно приоткрыл иное измерение реальности — театр, в котором людей играют лошади. Обращает на себя внимание то, как снова и снова терпят неудачу постоянные попытки отца (и Фрейда) организовать материал вокруг единого� нарратива и выяснить, кто именно из членов семьи притворяется лошадью, пока на сцене появляются все новые и новые персонажи с лошадиными лицами.

Описывая фобии вроде той, которой страдает маленький Ганс, Фрейд предлагает термин «тревожная истерия» (нем. *Angsthysterie*)² и отмечает, что такие психоневротические заболевания встречаются чаще в самые первые годы жизни: это, «по существу, типичный детский невроз» (Там же). Истоком его, по мысли Фрейда, является энергия вытесненного влечения, которая конвертируется в страх.

1 «Я: Вы часто играли в лошадку? — Ганс: Очень часто. Один раз конем был Фрицль... а Франц был кучером, и Фрицль так быстро бежал, что споткнулся о камень, и у него кровь пошла» (Там же, с. 65).

2 Перевод А. Боковикова; в цитируемом переводе С. Панкова используется термин «фобическая истерия».

Поначалу тревога, в которую превратилось детское либидо, — это пустая форма, которая может быть заполнена каким угодно содержанием: объект страха вторичен по отношению к самому страху. Так объясняет он и случай Ганса: в начале было влечение к матери, а потом оно подверглось вытеснению и превратилось в тревогу: «Этот страх, подменяющий собой вытесненное вожделение, поначалу остается беспредметным, как всякий детский страх; это еще просто страх, а не фобия» (Там же, с. 35). Мальчик даже не знает, чего именно он боится, пока его тревога не фиксируется на каком-либо определенном объекте.

Не стоит забывать, что действие происходит в 1900-е годы, до наступления эпохи автомобиля и появления других современных средств передвижения. В то время лошади были неотъемлемой частью городской и сельской жизни; именно они перевозили людей и товары всех сортов. Где были люди, там были и лошади. Сегодня, когда лошади на улицах появляются крайне редко или не появляются вообще, такой страх вполне мог бы остаться незамеченным, но маленький Ганс видит множество лошадей каждый день. Вот почему его фобия вызывает такое беспокойство: она реально мешает жить.

65

Возможно, повсеместное присутствие лошадей могло бы объяснить, почему маленький Ганс выбирает бояться именно этого конкретного животного. Однако остается вопрос: что именно могло спровоцировать начало фобии? Отец начинает с предположения, что боязнь укуса лошади могла иметь отношение к тому, что Ганс увидел лошадь с большим пенисом (Там же, с. 33). Но у мальчика были и более правдоподобные причины бояться: например, однажды ему сказали, что если он тронет лошадку, она откусит ему палец (отец, конечно, объясняет это страхом кастрации). В ходе дальнейшего диалога всплывают новые детали, которые вносят корректизы в первоначальный сценарий.

Одна из таких деталей особенно важна. Как сообщает отец, их дом расположен таким образом, что его окна открываются прямо на склад, возле которого постоянно ездят телеги: «Напротив нашего подъезда, на другой стороне улицы находится товарный склад акцизного ведомства, с погрузочным помостом; туда целый день подъезжают подводы, на которые грусят ящики и разные тюки. Двор склада отгорожен от улицы решеткой. Окна нашей квартиры выходят прямо на ворота, ведущие во двор склада» (Там же, с. 53–54).

После этого описания отец упоминает важный эпизод из истории болезни ребенка: «На днях я заметил, что Ганс сильнее всего пугается, когда видит, как подводы поворачивают, чтобы въехать в ворота или выехать со двора. Я как-то раз спросил его, чего он боится, и он ответил: “Я боюсь, как бы лошади не упали, когда воз поворачивает”» (Там

же, с. 54). В случившемся позже разговоре Ганс дает полноценную версию, откуда возникла фобия, которую он называет «дурью», — и это совсем не фантазия. Оказывается, страх был спровоцирован случаем из жизни: мальчик вспоминает, что однажды, когда они гуляли с матерью, он увидел, как упала большая ломовая лошадь, везшая мебельный фургон.

Как отмечает Фрейд, эпизод с падением лошади вызвал переживание, «которое произошло накануне первого приступа страха и, по всей видимости, спровоцировало заболевание» (Там же, с. 123). На этом этапе можно было бы предположить, что источник «тревожной истерии» Ганса — не либидо, а психологическая травма, причем совсем не сексуального характера. Однако Фрейд называет это конкретное переживание «малопримечательным» и в сцене падения лошади не видит никакого «травматического потенциала» (Там же, с. 123, 133). Для образования болезненного симптома необходима цепочка ассоциаций и фантазий, вовлекающих членов семьи мальчика. Отец Ганса настаивает, что «при виде упавшей лошади Ганс вспомнил о нем и подумал: вот бы папа тоже упал и умер» (Там же, с. 123). Так «малопримечательный» эпизод с упавшей на улице лошадью оборачивается в сюжет греческого мифа, а маленький Ганс становится маленьким Эдипом. Мальчик легко соглашается с ролью, которую ему предлагают в этом сценарии, и позволяет отцу развивать начатую сюжетную линию¹.

66

Быть лошадью или бить лошадь: от эмпатии к жестокости

По сообщению отца, как-то раз, указывая на погружочный помост во дворе напротив, мальчик сказал: «Когда там стоит воз, я боюсь, что стану дразнить лошадей, а они упадут и начнут тарабанить ногами» (Там же, с. 83). Что он имеет в виду под «дразнить лошадей»? Кричать «Но!», а еще стегать их. Лошадь падает, когда ее бьют кнутом, или скорее — лошадь бьют кнутом, пока она не упадет. Отец спрашивает Ганса, нравится ли ему дразнить лошадей и хотел бы он сам постегать их плеткой? — и получает положительный ответ: «Лошадям же не больно, когда их бьют» (Там же, с. 84). Последнее утверждение сопровождается кратким пояснением в скобках от отца: «Я сам однажды так ему сказал, чтобы он поменьше пугался, когда при нем стегают кнутом лошадей» (Там же).

¹ «Ганс не оспаривал такое толкование, а немного погодя повадился кусать отца, играя в лошадку, и таким образом дал понять, что, действительно, отождествлял отца с напугавшей его лошадью» (Там же, с. 123).

Я бы хотела сосредоточиться на этом моменте, который, кажется, не был осмыслен ни Фрейдом, ни самим отцом: Ганс видит не только, как лошадь падает, но и как ее бьют. Почему мальчик пугается, когда лошадь бьют? Потому что знает, что ей больно, — пока отец не убеждает его в обратном. Но отец лжет: лошади действительно больно. Что, если вытеснению подвергается вовсе не бессознательное желание убить своего отца и вступить в связь со своей матерью, а непосредственный детский импульс к состраданию, эмпатия, чувствительность к чужой боли?

Важно понимать, что в то время лошади не только присутствовали повсеместно, но также повсюду подвергались эксплуатации и жестокому обращению, и насилие по отношению к ним было обычным делом. Как и со многими другими животными, с ними обходились не как со сложными чувствующими живыми существами, а как с обычным товаром и средством передвижения. Это насилие никуда не делось, оно существует и сейчас, просто жители современных городов, в которых лошади редки, не наблюдают его день ото дня. В стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» (1918) Владимир Маяковский описывает сцену падения лошади на одной из московских улиц. Собирается толпа прохожих, которые начинают смеяться над животным, но поэт не присоединяется к общему глумлению. Приближаясь к лошади, он видит слезы в ее глазах:

67

Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в щерсти...
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь» (Маяковский 1956, с. 10-11).

Маленький Ганс мог бы разделить с советским поэтом эту доброту и чувствительность, которые большинство взрослых уже утратили. Вероятно, он еще даже не вполне отличает людей от животных; играя в лошадку, он заявляет: «Я ведь жеребенок» (Фрейд 2012, с. 64). Именно это непосредственное и глубоко личное чувство сродства со всеми живыми существами отражено в его эпопее с «вивимахером», который есть у всех живых существ, подобно душе в анимистических онтологиях. Вот почему ребенок так полон эмпатии: в его

мире лошадь — это не бездушная вещь; она может быть другом, родственником, близким.

Отец Ганса не способен принять это сострадание всерьез. Ему неинтересны лошади. Он обращает внимание лишь на взрослый, сексуальный контент, сосредоточенный вокруг фаллических означающих. Проявляя заботу о чувствах любимого сына и пытаясь унять его тревогу, он в то же время учит мальчика воспринимать сцены насилия над животными как нечто обыденное и нормальное. Но что, если болезнь и страх возникают как раз как реакция на ужасающую норму? К ней нужно приспособиться, чтобы стать полноправным членом человеческого общества? Утверждение, что лошадям не больно, звучит как урок картезианства — ведь именно Декарт известен тем, что утверждал, будто у животных нет души, а тела их — это просто машины, которые не чувствуют боли. Безумие Ницше — предельный опыт отверждения этой формулы. Милан Кундера описывает трагическую сцену в Турине, когда Ницше стал свидетелем избиения купцом своей лошади:

68

Ницше выходит из своего отеля в Турине и видит перед собой лошадь и кучера, который бьет ее кнутом. Ницше приближается к лошади, на глазах у кучера обнимает ее за шею и плачет.

Это произошло в 1889 году, когда Ницше тоже был уже далек от мира людей. Иными словами: как раз тогда проявился его душевный недуг. Но именно поэтому, мне думается, его жест носит далеко идущий смысл. Ницше пришел попросить у лошади прощения за Декарта. Его помешательство (то есть разлад с человечеством) началось в ту самую минуту, когда он заплакал над лошадью (Кундера 2000, с. 322).

Ницше теряет сознание. Затем следует стремительное ухудшение его психического заболевания, от которого он так и не оправится. Оплакивая лошадь, философ отказывается от человеческого мира и языка. Все попытки вернуть его в норму терпят крах, потому что он разучился следовать правилам игры. В отличие от Ницше, маленький Ганс хочет излечиться от своей «дури» и весьма успешно осваивает уроки картезианства — даже успешнее, чем его отец мог предположить. Повторив мантру о том, что кнут не причиняет лошадям боли, мальчик вдруг заявляет: «Один раз я даже сам лошадь бил. Я взял плетку и стал лошадь стегать, а она упала и затараабанила ногами» (Фрейд 2012, с. 84). Звучит неправдоподобно, и вскоре в ходе разговора выясняется, что мальчик просто выдумал эту историю.

Сцена, в которой Ганс сам стегает лошадь, является фантазией, и эта фантазия немедленно приобретает либидинальную окраску, когда вместо лошади он уже бьет свою мать: «Просто хотелось бы [побить ее] и все» (Там же). Так при активном содействии отца ребенок переходит от эмпатии к жестокости, от сострадания к садисти-

ческим фантазиям, от «быть лошадью» — к «быть лошадью». Между этими двумя состояниями есть момент, когда он кусается, как лошадь, что отец интерпретирует как отождествление сына с ним самим: «С некоторых пор Ганс повадился играть в лошадку: скачет по комнате, валится на пол, брыкается и ржет; тут как-то раз даже привязал к шее кошелку, как торбу с овсом. То и дело он подбегает ко мне и кусается» ... В игре он изображает коня и кусает отца, в общем, отождествляет себя с отцом» (Там же, с. 59). С точки зрения отца, такое отождествление объясняется страхом кастрации, который появился у мальчика после попыток мастурбации и напомнил ему о другой угрозе: что лошадь откусит ему пальцы. Все эти элементы собираются в пугающей фантазии о том, что отец-лошадь войдет в комнату и укусит. Но что, если, падая, лягаясь ногами и кусая отца, Ганс-лошадь не столько отождествляется с ним, сколько бунтует против него как лошадь?

Отец направляет сына к переходу из детского мира причудливых, странных множественостей к взрослой нормативности с ее бинарными различиями: люди и животные, мужчины и женщины. К норме, которой управляет отцовский закон, предполагающий иерархическую семейную структуру и санкционирующий насилие в адрес лошадей, женщин и детей. Переход из одного мира в другой отмечен сексуальностью — она смягчает ужас от зрелища избиваемого или падающего животного и прячет его за вуалью эротики и фаллического символизма. Ребенок пытается рассказать о том, что лошадь упала, но отец на лету подменяет его неудержимо рвущуюся изнутри жалость на слишком человеческую эротическую историю о желании и ревности внутри семейного треугольника (Там же, с. 92).

69

Отец буквально навязывает сыну роль Эдипа и пытается обнаружить следы собственного присутствия во всех фантазиях Ганса. Он продолжает намекать ребенку, что тот хочет занять его (отца) место, хочет сам стать отцом, — даже в те моменты, когда мальчик делился с ним своим совершенно удивительным желанием стать матерью, родить много детей и заботиться о них (Там же, с. 97). Не следует забывать, что это прогрессивная, интеллигентная семья, в которой, в отличие от большинства буржуазных семей, детскую сексуальность не пытаются вытеснить или подавить. Напротив, ее обсуждают открыто, в очень демократичном и свободном духе. Ни одна тема здесь не является запретной, для свободного полета мысли распахнуты все двери, и в конце концов такой подход действительно помогает Гансу преодолеть свою детскую фобию.

И, однако, что-то очень важное теряется на этом пути к нормальности. Что-то, что предшествует сексуальности — или находится за ее пределами: некая лошадность, не столько дополняющая

эдипальную семейную историю, сколько конкурирующая с ней. И именно эта лошадность подвергается насилию: не физическому насилию, от которого ежедневно страдают реальные лошади, но — заимствуя определение Славоя Жижека — символическому насилию, то есть насилию языка как такового, подчиняющему субъекта предшествующим идеологическим структурам (Жижек 2010, с. 49–60). Символическое насилие невидимо. Но видимое физическое насилие — например, насилие над животными, которые якобы не чувствуют боли, — можно рассматривать как эффект символического, в той мере, в какой структуры символического определяют, что в обществе допустимо, легитимно и нормально. Таким образом, посредством сексуального нарратива отец подвергает сына определенной идеологической обработке, подготавливая его жить и быть успешным в мире, где бьют лошадей.

Маленький Ганс очень усердно подыгрывает отцу — вплоть до того, что, когда анализ заканчивается и мальчик принимает отцовскую теорию эдипова треугольника, он находит из него очень элегантный выход: «Наш маленький Эдип придумал, как перехитрить судьбу и устроить счастливый финал. Вместо того чтобы расправиться с отцом, он дарует ему такое же счастье, о каком мечтает он сам; он сделает отца дедушкой и поженит на его собственной матери» (Фрейд 2012, с. 99). Такое решение звучит мудро и великолепно, переигрывая мотив «судьбы», под которой Фрейд буквально понимает мифический акт отцеубийства.

70

Достоевский: «бытие-через-насилие»

Убийство отца — одна из главных тем психоаналитической антропологии Фрейда. В работе о Фёдоре Достоевском, сославшись на «известную точку зрения», согласно которой «отцеубийство — основное и древнейшее преступление как человечества, так и отдельного человека», Фрейд разъясняет его роль в происхождении эдипова комплекса следующим образом:

Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы устраниТЬ отца в качестве соперника, обычно имеется и некоторая доля привязанности к нему. Обе установки сливаются в отождествлении с отцом: хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение; хотелось бы быть таким, как он, и поэтому желательно его устраниТЬ (Фрейд 1995, с. 288).

Разумеется, эта конфигурация желаний не выражается напрямую, и сам пациент ее не признает; она реконструируется в ходе аналитического лечения по косвенным признакам и симптомам. В той же работе Фрейд подвергает сомнению диагноз, который обычно

ставили писателю (эпилепсия), и выдвигает гипотезу, что причина его припадков могла быть не соматической, а психической — то есть это был истерический симптом: «Достоевский сам называл себя — и другие считали так же — эпилептиком из-за своих периодических тяжелых припадков, с потерей сознания, судорогами и с последующим дурным настроением. При таких обстоятельствах наиболее вероятно, что эта так называемая эпилепсия — лишь симптом его невроза, который в этом случае нужно было бы классифицировать как истероэпилепсию, то есть как тяжелую истерию» (Там же, с. 286). Наставая на различии между органической эпилепсией, поражающей мозг, и «аффективной», представляющей собой форму невроза, Фрейд объясняет, что «в первом случае душевная жизнь подвержена чуждым ей нарушениям извне, во втором — нарушение выражает саму душевную жизнь» (Там же, с. 287). Иными словами, одно относится к телу, другое — к душе.

В поисках того, что могло бы послужить причиной невроза, Фрейд совершает экскурс в детство и семейную историю писателя. Достоевскому было 18 лет в 1839 году, когда его отец, дворянин, умер при невыясненных обстоятельствах. Считается, что эпилептические припадки у Достоевского начались после того, как он узнал о смерти отца. Фрейд принимает эту версию, находя в ней подсказку для своего исследования: «Наиболее правдоподобно предположение, что припадки имеют свои истоки в раннем детстве Достоевского, что поначалу они характеризовались более слабыми симптомами и лишь после потрясшего его в восемнадцатилетнем возрасте переживания — убийства отца — приняли форму эпилепсии» (Там же).

71

Более слабые симптомы, упомянутые Фрейдом, возникли намного раньше, когда Достоевский был еще ребенком: «У этих припадков было сходство со смертью, они были вызваны страхом смерти и сопровождались впадением в летаргический сон» (Там же, с. 288). Фрейд интерпретирует эти состояния как идентификацию с «покойником — с человеком, действительно умершим или еще живущим, но которому желают смерти» (Там же). Во втором случае припадок случается как своего рода наказание: «Пожелавший другому смерти теперь становится этим другим и сам умирает» (Там же). В логике эдипова комплекса человек, чья смерть является желанной, — это, конечно, отец, к которому сын испытывает амбивалентную смесь любви и ненависти. После известия о смерти отца истерическое самонаказание Достоевского развивается до эпилептических припадков: исполнение вытесненного бессознательного желания приносит ему удовлетворение и эйфорическое чувство свободы, за которое он немедленно себя наказывает, и наказание тем суровее, что он как бы сам в этот момент становится своим отцом. В этой динамике Фрейд видит и ответ на вопрос, почему припадки перестали мучать

писателя во время ссылки в Сибирь: «Осуждение Достоевского как политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но принял незаслуженное наказание от батюшки-царя как замену наказания, заслуженного за грех по отношению к настоящему отцу» (Там же, с. 290).

Надо понимать, что, конечно, все эти фантазии о смерти и наказании не достигают сознания. Достоевский не думает о них, оплакивая отца — довольно деспотичного, но все же любимого. Вина Достоевского — не реальная, а фантазматическая, бессознательная. Он не совершал и не желал совершить преступление, за которое себя таким образом наказывал. Драма отцеубийства разыгрывается в театре одного зрителя — Фрейда, который при помощи своего аналитического аппарата собирает в единый эдипальный сценарий калейдоскоп сцен, обрисованных в творчестве Достоевского. Фантазия об отцеубийстве — это трансцендентальная матрица Фрейда. Ее можно применить ко вся кому, кто прошел мужскую гендерную социализацию: от маленького Ганса до маленького Достоевского.

72

Как отец вычитывал сексуальную историю из зоофобии маленького Ганса, так и Фрейд распутывает через болезнь и писательство Достоевского узел его эдипова комплекса. Он никогда не сравнивал этих двух персонажей, но ставит им похожий диагноз — истерия: тревожная в одном случае, эпилептоидная в другом. Это дает нам повод провести некоторые параллели. В отличие от Ганса, который успешно преодолел болезнь, Достоевский, по мысли Фрейда, так никогда и не смог выбраться из ловушки своей эдипальности. Вот почему, сделавшись одновременно и грешником, и моралистом, он в конечном итоге пришел «к подчинению мирским и духовным авторитетам, к поклонению царю и христианскому Богу, к черствому русскому национализму» и «упустил возможность стать учителем и освободителем человечества», так что «будущая культура человечества окажется ему немногим обязана» (Там же, с. 285).

Однако я глубоко убеждена, что будущая культура человечества (если она состоится) все-таки будет ему кое-чем обязана. Начнем с того, что сам Достоевский является не только объектом психологического исследования, но и хорошим психологом. Фрейд отмечает, что его психологическая проницательность «ограничивается областью отклонений в душевной жизни», — и действительно, писателя, очевидно, не слишком интересует норма (Freud 1961, с. 196). Каждый его персонаж — это «случай»: либо уже безумец, либо балансирующий на грани безумия. Таков и Родион Раскольников, даже фамилия которого отсылает к какой-то дезинтеграции личности. Прибитый отчаянием и бедностью, он шатается по улицам Петер-

бурга, пьет водку и, внезапно обессилен, засыпает прямо в кустах, так и не добравшись до дома. И ему снится сон.

Мальчику около семи лет, он вновь оказался в городе своего детства и гуляет за руку с отцом. Проходя мимо кабака, он видит толпу пьяных крестьян и странную телегу, стоящую рядом. В телегу впряжен старая лошадь, слишком старая и слабая для такой повозки: «Крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка» (Достоевский 2016, с. 50). Миколка, хозяин кобылы, зазывает приятелей на телегу, и чем тяжелее становится лошади, тем больше прибывает пассажиров. Чтобы заставить лошадь двинуться с места, Миколка и его товарищи бьют ее кнутами:

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: эта лядающая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помочь Миколке. Раздается: «ну!», клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенин ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удвоивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет (Там же, с. 51).

73

В ужасе от этой сцены мальчик кричит отцу: «Папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!» — а отец пытается его успокоить: «Пойдем, пойдем! Пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри!» Сцена становится все более и более жестокой. Крестьяне хохочут и бьют кобылку по спине, по бокам, по лицу и по глазам. Мальчик, плача, бежит к ней, а она «задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает» и пытается лягаться. Миколка все более распаляется по мере того, как животное из последних сил пытается сдвинуть телегу и снова терпит неудачу. Он отбрасывает кнут и пытается забить ее до смерти оглоблей, но она все еще сопротивляется. В конце концов он берет железный лом и обрушивает несколько тяжелых ударов, а остальные продолжают стегать кнутами, палками и чем под руку подвернется. Наконец животное тяжело вздыхает и умирает. Крича, мальчик пробивается через толпу, обнимает окровавленную голову мертвый лошади, целует ее морду,

глаза и губы, а потом бросается на Миколку с кулаками. Отец оттаскивает его от толпы: «Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем!» (Там же, с. 53). Раскольников в ужасе просыпается, благодарит бога за то, что это был лишь сон, и возвращается домой. А потом совершаet преступление, которое запланировал уже давно: придя домой к ста-рухе-процентщице Алёне Ивановне, убивает топором ее, а также ее сестру Лизавету, случайно ставшую свидетельницей сцены.

Описание сна с избиением лошади занимает несколько страниц и поражает своей подробностью. Как отмечает Николай Михайловский, «жестокость и мучительство всегда занимали Достоевского, и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося в мучительстве сладострастия» (Михайловский 1957, с. 185). Душераздирающие сцены насилия в его прозе не лишены двойственности. Его персонажи, очевидно, представляют борьбу между мазохистской и садистской сторонами личности сновидца: мальчик воплощает детскую, заботливую и любящую сторону, а жестокий убийца Миколка играет роль взрослой личности Раскольникова. В схватке безусловно и необратимо побеждает зло — не в момент, когда Раскольников-ребенок становится ее свидетелем и ничего не может изменить, но в момент, когда просыпается Раскольников-убийца.

Однако на сцене присутствуют и другие персонажи. Так, не стоит недооценивать роль отца, который вроде бы находится рядом с ребенком и выглядит очень заботливым, однако в конечном счете демонстрирует одно только обывательское безразличие и бессмысличество здравого смысла. Отец служит проводником или посредником в переходе Раскольникова от сновидной мазохистской чувствительности детства к садистской реальности взрослого мужчины. Это агент нормальности. Он мог бы, как отец Ганса, сказать сыну, что лошадь не чувствует боли, однако вместо этого просто говорит: «Не наше дело» — и это как-то честнее. Кроме того, на сцене присутствует толпа: подобно хору из древнегреческой трагедии, она комментирует происходящее, но также участвует в нем — ее гротескная тупость превращает индивидуальную вспышку насилия в социальную практику, наделяет ее силой судьбы.

Наконец, на сцене лошадь: беспомощное животное, не способное говорить. Чем более хрупко и невинно существо, тем больше его мучают, не давая возможности ответить или сбежать. Кобылка — это абсолютная жертва. Заметим, что насилие, которому она подвергается, особого типа. Это коллективный акт, объединяющий участников и создающий аффективную общность между людьми вокруг убиваемого и в конечном итоге мертвого тела животного. Аффектация насилием заразительна: действие сперва происходит в центре сцены, но постепенно захватывает и тех, кто стоит наperi-

ферии. Даже старик, сперва пытавшийся возвратить к моральным чувствам Миколки, в конце концов тоже посмеивается над попытками лошади лягаться (Там же, с. 52). Один за одним люди вовлекаются во всеобщий разгул, не осознавая, в чем его смысл. С точки зрения антропологии перед нами трансгрессивный ритуал, более всего напоминающий жертвоприношение. Однако приносится в жертву здесь не только животное. Достоевский как православный христианин, несомненно, видел в фигуре лошади, бьющейся в агонии на глазах улюлюкающей толпы, Христа — распятого Сына Божьего. Именно с Его страданиями отождествляет себя Раскольников-ребенок, подбегая к лошади и целуя ее морду.

Любопытно, что крайне реалистичная сцена сновидения выглядит как инфантильное воспоминание: вне зависимости от того, была ли это реальная травма из детства или садомазохистская фантазия, ее содержание дает ключ к последующему патологическому развитию характера. При этом и сам Достоевский в детстве видел нечто похожее. В 1837 году отец взял его с братом в поездку в Петербург, и там они стали свидетелем следующей сцены: государственный курьер забрался в повозку и стукнул ямщика по затылку; тот схватил кнут и начал стегать лошадей; лошади поскакали, однако курьер продолжал бить ямщика, а тот — стегать лошадей, так что они бежали все быстрее. Каждому удару по человеку соответствовал удар по лошади. Майкл Джон ди Санто подчеркивает, что Достоевский так и не смог забыть об этой «отвратительной» сцене и продолжал возвращаться к ней спустя много лет — в своих записных книжках для «Преступления и наказания», а также в личном дневнике (Di Santo 2010, p. 48). Она демонстрирует саму структуру общественного неравенства и угнетения, в которой насилие представляет собой движущий механизм классовой стратификации.

75

Как пишет Валерий Подорога, дегуманизирующие телесные практики принудительного труда, крепостничества и телесных наказаний являются реальным общественно-историческим фоном произведений Достоевского: «Насилие казалось ему могущественным, сколь и отвратительным посредником между произволом имперской власти и послушанием в пореформенной имперской России» (Подорога 2010, с. 449). Однако эта необходимая отсылка к контексту не исчерпывает возможных интерпретаций. В более общем смысле насилие в творчестве Достоевского, по мнению Подороги, является вечной изнанкой жизни: «Литературная имманентность насилия очевидна, ее нельзя устраниТЬ, это стихия, если угодно, само вещество отраженного литературой исторического бытия. Насилие становится художественным приемом, самой литературой. Жить насилием, и через него обращаться к бытию: быть-через-насилие» (Там же, с. 449–450).

Предметом глубинного исследования для Достоевского является не столько пресловутая «русская душа», сколько то, что в философской антропологии раньше называлось сущностью или природой человека, и что мы сейчас скорее понимаем как телесность, воплощенность. Бытие-через-насилие — это экзистенциальный режим, который характеризует опыт тела, пойманного в ловушку того, что я называю «машиной маскулинности» или «патриархальной машиной». Машина маскулинности приводится в действие неким учредительным актом насилия, к которому мы имеем отношение как зрители или как участники: это наша плата за вхождение во взрослый мир, которым заправляют серьезные мужчины с оружием и деньгами.

Машина маскулинности

В прозе Достоевского суть машины маскулинности раскрывается совсем иначе, чем в психоанализе Фрейда. У Фрейда в центре располагается эдипов комплекс, который, как я показываю на примере маленького Ганса, переводит насилие на язык сексуальности и таким образом смягчает его, помогает с ним примириться. Достоевский же не предлагает никакого исцеления, никакого внешнего по отношению к насилию нарратива. Его литература — это не терапия; она не врачует раны, а наносит новые.

Если бы Фрейд проанализировал сон Раскольникова, он мог бы заметить сродство между двумя нашими героями: маленького Родиона и маленького Ганса объединяет прежде всего та самая «лошадность», которая предшествует машине маскулинности и должна быть этой машиной уничтожена. Мальчики проделывают похожий путь от доброты к жестокости, однако приходят к разным результатам. Если Раскольников совершает свой ужасающий *passage à l'acte*, то маленький Ганс излечивается благодаря фантазии. Полагаю, не последней причиной такого расхождения является их принадлежность к разным классам. Раскольников очень беден. Бедность буквально сводит его с ума. Напротив, психическое становление маленького Ганса происходит в довольно благополучной буржуазной семье. Хотя, конечно, нельзя все сводить к социальному происхождению, тем более что о детстве Раскольникова мы знаем совсем немного. Важно и то, что Ганс начинает проходить психоаналитическое лечение сразу же, как только проявляются симптомы его заболевания. Да, сексуальная история, которая опосредует его воспитание, — это чистая фантазия (и даже не его, а фантазия его отца), но она работает, в том смысле, что достигает поставленной цели: Ганс в конечном итоге избавляется от фобии и успешно адаптируется к жизни в обществе. Такова, между прочим, главная

цель не только психоанализа, но образования в целом, о чем пишет Фрейд в конце своей работы:

До сих пор единственной целью воспитания было обуздание, а то и прямое подавление влечений... Если бы педагогическая задача заключалась в том, чтобы воспитать культурного человека и полноценного члена общества, но при этом как можно меньше подавлять инициативу ребенка, то воспитатели, несомненно, должны были бы оценить по достоинству и учитывать при обращении с детьми психоаналитические знания о происхождении патогенных комплексов и первопричине любого невроза (Фрейд 2012, с.141).

В некотором смысле анализ маленького Ганса совпадает с его воспитанием (или, по крайней мере, с его посвящением в идеологию полового различия) и является образцовым в той мере, в какой естественные и непосредственные влечения ребенка становятся предметом не подавления, а обсуждения и рефлексии. Беседы с отцом, в ходе которых Ганс проговаривает свои желания, помогают ему принять предписанную гендерную роль и стать «нормальным» человеком. Видя, как бьют беззащитное животное, он испытывает сострадание, как если бы лошадь была его матерью, другом, сестрой — или же сам он был этой лошадью. Но сострадание пройдет, вскоре он вырастет и сам станет бить свою лошадку (женщину, другого мальчика, кого-нибудь беззащитного): таков ритуал. Если Раскольников, очевидно, куда менее успешный в социализации, доходит до края, то маленький Ганс встраивается в машину маскулинности легко и без значительных потерь.

77

Фрейд пишет, что к развитию болезненных симптомов — которые он объединяет под рубрикой истерии — приводят вытеснение либido. Может показаться, что представленный здесь критический анализ направлен на опровержение этого тезиса. Однако на самом деле я считаю, что его можно принять, если наше понимание либido вывести за пределы сексуальности и расширить в направлении горизонта любви. Я имею в виду не только любовь мальчика к лошадям, но также к маме, папе, сестре, друзьям, и вообще доброту, нежность и эмпатию, которую дети обычно демонстрируют наряду с агрессивностью (хотя, по Фрейду, агрессивность стоит на первом месте). Сцены падения и избиения лошади, свидетелем которых становится ребенок, превращают его любовь в страх, преграждающий путь к нормальности. Психическое расстройство — это несостоявшаяся любовь.

Рассудочная заботливость отца буквально помогает Гансу «развиться» увиденное, заменить сцены насилия сексуальными фантазиями. В таком случае сексуальность, сохраняющая кое-что от любви в переживании боли, оказывается, возможно, не причиной болез-

ни, но лекарством от нее — или, скорее, фармаконом — не то лекарством, не то ядом, психоактивным веществом, чем-то вроде душевой анестезии, которая заглушает крик животного и позволяет нам переступить символический порог, за которым какой-то вид насилия уже будет нормой. В то время как чрезмерная жестокость к животным, на которую мы ежедневно закрываем глаза, встроена в порочный круг нормализации патриархальных практик насилия, сексуальность выступает в качестве добавочного элемента, который превращает боль в наслаждение¹.

Список источников / References

Достоевский Ф. М. (2016) *Полное собрание сочинений в 35 т.* Т. 6: Преступление и наказание. СПб.: Наука.

— Dostoevsky F. (2016) *Complete Works in 35 vols.* Vol 5: Crime and Punishment. Saint-Petersburg: Nauka. (in Russ.)

Кундера М. (2000) *Невыносимая легкость бытия*. СПб.: Амфора.

— Kundera M. (2000) *The Unbearable Lightness of Being*. Saint-Petersburg: Amfora. (in Russ.)

78

Маяковский В. (1956) *Полное собрание сочинений*. Т. 2. М.: Государственное издательство художественной литературы.

— Mayakovsky V. (1956) *Complete Works*. T. 2. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury. (in Russ.)

Михайловский Н. К. (1957) *Литературно-критические статьи*. М.: ГИХЛ.

— Mikhailovsky N. (1957) *Literary and Critical Articles*. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury. (in Russ.)

Подорога В. А. (2006) *Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах*. Т. И. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М.: Логос. EDN: QSNHCD

— Podoroga V. (2006) *Mimesis: The Analytic Anthropology of Literature*. Vol. 1. N. Gogol, F. Dostoevsky. Moscow: Logos. (in Russ.)

Тимофеева О. (2024) *Мальчики, вы звери*. М.: Individuum.

— Timofeeva O. (2024) *Freud's Beastly Boys: Sex, Violence and Masculinity*. Moscow: Individuum. (in Russ.)

Фрейд З. (2012) *Собрание сочинений в 26 т.* Т. 5. Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб.: Издательство Восточно-Европейского Института психоанализа.

— Freud S. (2012) *Collected Works in 26 vols.* T. 5. Phobic disorders. Little Hans. Dora. Moscow: Izdatel'stvo Vostochno-Evropejskogo Instituta Psihoanaliza. (in Russ.)

Фрейд З. (1995) *Художник и фантазирование*. М.: Республика.

1 Более подробно это исследование представлено в книге: (Тимофеева 2024).

- Freud S. (1995) *Creative Writers and Day-Dreaming*. Moscow: Respublika. (in Russ.)
Di Santo M. J. (2010) “Dramas of Fallen Horses”: Conrad, Dostoevsky, and Nietzsche. *Conradiana*, 42(3), pp. 45–68. <https://doi.org/10.1353/cnd.2010.0019>
Freud S. (1961) *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Vol. XXI. The Hogarth Press.
Wakefield J. C. (2017) Concept Representation in the Child: What Did Little Hans Mean by “Widdler”? *Psychoanalytic Psychology*, 34, pp. 352–360. <https://doi.org/10.1037/pap0000098>

Об авторе / About the author

Тимофеева Оксана Викторовна — доктор философских наук, приглашенный исследователь Берлинского университета искусств, автор книг «Мальчики, вы звери», «Это не то», «Солнечная политика», «Родина», «История животных», «Введение в эротическую философию Ж. Батая».

<https://orcid.org/0000-0002-2344-972X>. E-mail: oxana_san@yahoo.com

Oxana V. Timofeeva — ScD, researcher at the Universität der Künste Berlin, the author of books Freud's Beastly Boys: On Sex, Violence, and Masculinity; This is Not That; Solar Politics; How to Love a Homeland; The History of Animals; Introduction to the Erotic Philosophy of Georges Bataille.

<https://orcid.org/0000-0002-2344-972X>. E-mail: oxana_san@yahoo.com

Функциональный комплементаризм насилия и социального контроля в исследованиях эволюции морали

ГРИГОРИЙ А. ЧАСОВСКИХ

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0001-5405-2875>

Рекомендация для цитирования:
Часовских Г. А. (2025) Functional Complementarity of Violence and Social Control in Studies of Moral Evolution. *Sociology of Power*, 37 (3): 80–96
Социология власти, 37 (3): 80–96
EDN: LHFP1P

For citation:
Chasovskikh G.A. (2025) Functional Complementarity of Violence and Social Control in Studies of Moral Evolution. *Sociology of Power*, 37 (3): 80–96

Поступила в редакцию: 22.04.2025;
протяла рецензирование: 13.07.2025;
принята в печать: 21.07.2025
Received: 22.04.2025; Revised:
13.07.2025; Accepted: 21.07.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: Статья посвящена критическому анализу концепции функционального комплементаризма насилия и социального контроля в исследованиях эволюции морали. В тексте ставится под сомнение тезис о неразрывности связи между насилием и моральным контролем, доминирующий в работах таких ученых, как К. Бозем, Р. Рэнгем и С. Боулз и Г. Гинтиес. В рамках данной парадигмы насилие трактуется как эволюционно обусловленный инструмент поддержания внутригрупповой кооперации (сильная взаимность) и межгрупповой конкуренции (парохиальный альтруизм). Методология исследования включает внутридисциплинарную критику, опирающуюся на данные культурной антропологии, эволюционной теории игр и приматологии. Цель работы — не отрицание функциональной взаимосвязи как таковой, но демонстрация ее переоцененной однозначности и кажущейся эволюционной неизбежности. Критический разбор выявляет методологические ограничения и возможную предвзятость в интерпретации эмпирических данных, поддерживающих гипотезу комплементарности. В тексте приводятся аргументы в пользу того, что роль и формы насилия как инструмента морального контроля в значительной степени обусловлены социально и культурно, что ослабляет тезис о его имманентности человеческому обществу. В качестве контраргументов привлекаются данные о культурной вариатив-

ности практик насилия, способности к межгрупповой кооперации, пластичности социального контроля, а также концепции «моральных пузырей» (Л. Магнани) и «морального эффекта Даннинга-Крюгера», иллюстрирующие дисфункциональность и иррациональность проактивного насилия. Центральный вывод статьи заключается в том, что связь насилия и социального контроля, несмотря на эволюционные корни, не является жестко детерминированной, а опосредована культурными механизмами и контекстуальными факторами. Это открывает возможности для социального преодоления логики насилия через институты и рефлексивные практики.

Ключевые слова: насилие, социальный контроль, эволюционная антропология, эволюция морали, парохиальный альтруизм, сильная взаимность, проактивное насилие, межгрупповая агрессия

Functional Complementarity of Violence and Social Control in Studies of Moral Evolution

Grigoriy A. Chasovskikh

The Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow,
Russian Federation

<https://orcid.org/0000-0001-5405-2875>

81

Abstract: The paper presents a critical analysis of the concept of functional complementarity between violence and social control in studies on the evolution of morality. The author challenges the thesis of an inherent and inextricable link between violence and moral control, dominant in the works of scholars such as Boehm, Wrangham, Bowles and Gintis. In their works, violence is interpreted as an evolutionarily determined tool for maintaining intragroup cooperation (strong reciprocity) and intergroup competition (parochial altruism). The research methodology involves an interdisciplinary critique based on data from cultural anthropology, evolutionary game theory, and primatology. The aim is not to deny the functional relationship per se, but to demonstrate its overstated clarity and apparent evolutionary inevitability. A critical examination reveals methodological limitations and potential biases in the interpretation of empirical data supporting the complementarity hypothesis. The author argues that the role and forms of violence as tools of moral control are significantly socially and culturally conditioned, thereby weakening the thesis of their absolute immanence. Counterarguments draw on data concerning the cultural variability of violence practices, the capacity for intergroup cooperation, the plasticity of social control, as well as the concepts of “moral bubbles” (Magnani) and the “moral Dunning-Kruger effect,” which illustrate the dysfunctionality and irrationality of proactive violence. The central conclusion of the paper is that the connection between violence and social control, despite its evolutionary roots, is not rigidly deterministic but is mediated by cultural mechanisms and contextual factors. This opens up possibilities for socially overcoming the logic of violence through institutions and reflective practices. A prospective path

for future research lies in analyzing the conditions under which violence loses its functionality and in seeking cultural alternatives that promote the development of inclusive forms of cooperation.

Keywords: violence, social control, evolutionary anthropology, evolution of morality, parochial altruism, strong reciprocity, proactive violence, outgroup aggression

Введение

Исследования механизмов морального контроля занимают центральное место в современной культурной эволюционной антропологии — причем насилие, выступая как наиболее радикальная форма такого контроля, но также и самостоятельный феномен, представляет собой не менее значимый объект анализа. Среди ключевых исследователей этой темы, описывающих функциональную взаимосвязь между коэволюцией моральных норм и практиками коллективного насилия в человеческих обществах, можно выделить К. Боэма, Р. Рэнгема и С. Боулза с его коллегами. При этом историческая перспектива и охват таких исследований крайне широки — от групп высших приматов они переходят к охотникам-собирателям и затем к современности. Одним из главных факторов эволюции человека Рэнгем предлагает считать переход от аффективного и реактивного насилия к рациональному и проактивному — с попыткой институциализации последнего (Wrangham 2019). Боэм исследует феномен эгалитарного этоса в контексте сложной совокупности инструментов социального контроля, направленных на противодействие устойчивому доминированию отдельных индивидов через коллективные санкции (Boehm 2009, 2012). Антрополог показывает, что моральные санкции против эгоизма, агрессии и попыток узурпации власти внутри группы сами часто требуют санкционированного и скоординированного группой насилия. Боулз с коллегами, собирая данные из разных сфер знания и используя эволюционную теорию игр, описывает эмерджентность морали как результат практик жесткого социального контроля и склонности к межгрупповой агрессии (Bowles 2011). Готовность к альтруизму «внутри» собственной группы, равно как и к жестоким наказаниям «своих» вкупе с готовностью к жестоким формам межгруппового насилия могла создать селективное давление, которое благоприятствовало как развитию просоциальных норм и кооперативности, так и конкурентоспособности «вовне».

Объединяет этих ученых идея функционального комплиментаризма, согласно которой насилие не просто «обусловлено» эволюционно, но является имманентной составляющей человеческих

форм социального контроля. В этой перспективе такие феномены, как склонность к жестоким наказаниям нарушителей норм внутри группы или предвзятость, дегуманизация и готовность к насилию по отношению к представителям других групп, интерпретируются как антропологические константы, укорененные в человеческой природе. Цель данной статьи — поставить под сомнение кажущуюся простоту каузальной связи между насилием и моральным контролем. В отличие от работ, основанных на преимущественно внешней философской критике дескриптивных исследований эволюции морали, статья предлагает внутридисциплинарную критику, опирающуюся на данные культурной антропологии, эволюционной теории игр и приматологии. Цель работы — не отвергнуть идею функциональной взаимосвязи как таковой, а продемонстрировать переоцененную наглядность и однозначность этой связи в перспективе эмпирических данных. Мой ключевой тезис заключается в том, что выбор насилия в качестве инструмента морального контроля остается в значительной степени социально обусловленным, а его роль и формы подвержены культурной вариативности. Это ослабляет тезис о его абсолютной имманентности и эволюционной неизбежности, что особенно ценно в условиях тяжелых межгрупповых конфликтов, включая войны и геноциды.

83

Функциональная связка насилия и морального контроля в эволюции человека

Первым исследователем, связавшим темы насилия и эволюции морального контроля, можно считать Р. Триверса. В 1971 году в статье «Эволюция взаимного альтруизма» ученый предложил понятие «взаимного альтруизма» для объяснения такого поведения у животных и людей, при котором один индивид совершает действие, направленное на благо другого, с ожиданием последующей взаимной выгоды (Trivers 1971). Согласно этой теории, затраты и риски, сопряженные с альтруистическим поведением, окупаются через получение аналогичной взаимной помощи в будущем. Таким образом, речь идет о базовом моральном поведении, которое Триверс предложил обозначить понятием «моралистической агрессии». В свою очередь, такая агрессия требует наличия когнитивных возможностей, необходимых для распознавания и оценки морального поведения индивидов.

Функция моралистической агрессии — поддерживать выгодный группе высокий уровень кооперативности и отношений доверия. Моралистическая агрессия может включать и положительные санкции, поощряющие просоциальное поведение, но основная ее зада-

ча — профилактика и наказание эгоистичного или других форм не-кооперативного поведения. Необходимость подобного инструмента очевидна: высокий уровень доверительных отношений и обилие альтруистов делает выгодным паразитизм скрытых эгоистов как стратегию успеха в такой группе. Именно посредством моралистической агрессии взаимные альтруисты защищают себя от потенциальных «мошенников» повышенным вниманием к эгоистичному поведению, предупреждая и наказывая любые отклонения в эту сторону. Экстремальные же формы моралистической агрессии находят выражение в насилии, остракизме или убийстве (Trivers 1971, р. 50).

Моралистическая агрессия, мотивированная чувством несправедливости или отсутствием взаимности, играет в социальной динамике значительную роль, даже если оказывается непропорционально жестокой в отношении к действиям «некооперативного» индивида. Собственно, целью является высокая кооперативность сама по себе, но никак не устранение насилия как такового. Наоборот: насилие в этом контексте является полноценным инструментом социального контроля. И хотя Триверс не пишет об этом прямо, насилие в форме моралистической агрессии перестает быть только лишь результатом импульсивной агрессии — оно обретает четкую функцию.

Суть взаимного альтруизма, таким образом, оказывается не очень «альtruистичной» в смысле бескорыстной заботы о других, но очень «взаимной», походящей скорее на воздаятельную справедливость. Удачной аналогией для механизма действия взаимного альтруизма представляется образ «хорошего талиона», при котором индивид изначально настроен на сотрудничество, а затем отвечает своему партнеру на его поведение, награждая за просоциальность своей просоциальностью и карая за эгоизм. В такой форме взаимный альтруизм концептуально ближе справедливости, нежели классическому «чистому» альтруизму: и действительно, позднее Триверс признавал, что ошибся, не введя в свою статью 1971 года понятие справедливости (Trivers 2006). Ученый не уделил достаточного внимания функциональной составляющей насилия в моральном контроле, но обозначил потенциал насилия как инструмента, проводящего кооперативные интересы группы.

В числе неучтенных Триверсом факторов были репутация и протяженность отношений поощрения/наказания во времени. Талион в описании Триверса выглядит «моментальным» (за действием мгновенно следует реакция) и диадическим (условным ответчиком потенциального эгоиста-мошенника является взаимодействующий с ним индивид). Даже если индивидов-ответчиков несколько, их агентность эссенциализируется: они воспринимаются как еди-

ный субъект-ответчик. Конечно, взаимодействие подразумевает «отыгрыш» в дальнейшем, то есть имеет форму многоповторного последовательного взаимодействия. Однако же подобное «поведенческое» описание имеет серьезный недостаток: в рамках теоретического подхода Триверса затруднительно описать институциализацию насилия.

Дальнейшее развитие понятия было связано с исправлением этих недостатков, а также с учетом внушительного объема накопившихся данных в сферах эволюционной и культурной антропологии, приматологии, а также эволюционной теории игр. Так, Г. Гинтис предложил термин «сильная взаимность», наилучшим образом раскрытом в их совместной с Боулзом книге «Кооперативный вид: Человеческая реципрокность и ее эволюция» (Bowles, Gintis 2011). Критикуя ограниченность последовательной модели социального контроля Триверса, ученые отмечают, что люди, наказывая антисоциальное поведение, нередко действуют в ущерб себе, в том числе своему репродуктивному успеху. Их цель — именно поддерживать справедливость и социальные нормы, а на получение личной выгоды в дальнейшем они не надеются. Поддержание «атмосферы справедливости» создает потенциал институционализации и выходит за рамки диадических последовательных отношений, создавая паноптикум социального контроля, передающийся от поколения к поколению и выходящий за рамки одного поколения. Это также критически необходимо для выживания сообществ в экстременных случаях, когда взаимный альтруизм может стоить исключительно дорого и привлекательность эгоистичного поведения значительно увеличивается.

85

При этом в подобных случаях увеличивается не только цена альтруизма, но и его ценность, определяющая достаточно устойчивую атмосферу взаимовыручки, от которой может зависеть выживание всей группы. Подобными экстремальными случаями в сообществах древних людей (то есть охотников и собирателей), да и во многих современных сообществах обыкновенно являются экологические катастрофы и военные конфликты. Кроме того, логично предположить, что экстремальные ситуации, в которых группа испытывает опасность, теснее связаны с экстремальными санкциями за отклоняющееся поведение.

Именно поэтому для нас интересен частный и наиболее радикальный сценарий, когда наказания принимают наиболее суровые формы, в том числе остракизма, ограничений при распределении еды, физического насилия и, наконец, абсолютной санкции — смерти (Boehm 2009). Несмотря на то что эти санкции первоначально определялись Бозом как выражение контрдоминантного поведения, поддерживающего эгалитарный порядок в группе,

представление, что те же санкции поддерживают моральный конформизм, разделяется и другими профильными исследователями (Bowles 2011; Wrangham 2019).

Рэнгем объединяет формы насилия, работающие на социальный контроль в группе, общим понятием «проактивного насилия». Антрополог определяет его как насилие холодное и спланированное, противопоставляя «реактивному» как импульсивной и эмоциональной реакции на угрозу. Селективное давление против реактивной агрессии возникло благодаря систематическому применению проактивной агрессии в форме казней доминантных или агрессивных особей коалициями из других индивидов (согласно ученому, преимущественно мужчин¹). Рэнгем полагает, что такие казни устранили индивидов с высокой импульсивной агрессивностью, способствуя генетической селекции в пользу толерантности друг к другу и кооперации. Ритуализированные дуэли и санкционированное насилие демонстрируют, как проактивная агрессия институционализируется для минимизации спонтанного насилия, одновременно обеспечивая стабильность социальной структуры. Интересно также и то, что в традиционных сообществах охотников-собирателей функцию палачей иногда перекладывают на родственников агрессора. Если в современных обществах конечным уровнем институционализации проактивного насилия становится государство, то в эгалитарных сообществах охотников-собирателей происходит то, что Е. Геллер метко назвал «тиранией кузенов» (Gellner 1994, р. 7). В такой ситуации присутствует прежде всего коллективная вовлеченность, преодолевающая индивидуальную субъективность при оценке контекста проступка, однако в случае «тирании кузенов» можно предположить также и давление на родственный отбор, которое подчиняет его культурной норме.

Однако сильная взаимность связана не только с насилием внутри группы. Основываясь на моделировании с помощью теории игр и некоторых антропологических данных, Дж. К. Чои и С. Боулз выдвинули гипотезу, что сильная взаимность кэволюционировала со склонностью к межгрупповой агрессии и назвали этот феномен парохиальным альтруизмом (Choi, Bowles 2007). Но, возможно, не менее важно и то, что подобная смешанная стратегия оказыва-

1 Рэнгема имеет смысл обоснованно критиковать за предположение, что источником селективного культурного отбора в проактивном насилии являются именно мужчины. Антропологических данных достаточно, чтобы утверждать, что если военные конфликты действительно являются делом преимущественно мужчин, то внутри группы женщины вполне участвуют в социальном контроле, связанном с экстремальными санкциями, в том числе и казнях (Boehm 2009, р. 8; Lee 2003, р. 130; Shackelford et al. 2014).

ется исключительно конкурентной. Ненависть к чужакам и одновременно готовность к альтруистическому отношению к «своим» создает ситуацию, в которой такая модель поведения группы вытесняет любые альтернативные. Безобидные добраяки ли ваши соседи или эгоистичные злодеи — их поведение абсолютно неважно, парохиальные альтруисты побеждают и завоевывают всех независимо от выбранной ими стратегии.

Сильная взаимность наиболее эффективна и эволюционно устойчива, когда действует внутри четко определенной группы «своих», а парохиальный альтруизм, в свою очередь, эти границы создает. Подавляя реактивную агрессию и насаждая моральный конформизм, жесткие санкции формируют высокую внутригрупповую сплоченность (с предвзятостью к «Другому») и высокую лояльность к нормам, а это ключевые условия для парохиального альтруизма. Синергия проактивного насилия и сильной взаимности трансформирует группу в единый «субъект действия», меняя или уничтожая внутренних девиантов через институционализированное насилие или предупреждая их появление угрозой такого насилия. Благодаря этому общество мобилизуется для межгрупповой конкуренции, в рамках которой парохиальные альтруисты готовы не только уничтожать чужаков, но и умирать за «своих». Связанные с этим культурные практики с привязкой к психоэмоциональным процессам формируют устойчивые дилеммы «мы-они», что влечет за собой колоссальный дегуманизирующий потенциал по отношению к «чужакам». Именно сопутствующая парохиальному альтруизму дегуманизация является, к сожалению, одним из наиболее убедительных объяснений групповых геноцидов в рамках племенных войн и других подобных трагедий в современном мире.

87

Конечно, для философов страх перед «Другим» и дегуманизующая враждебность к нему не являются новостью, однако, согласно логике статьи, следует выделить «нефилософские» работы, поддерживающие гипотезу об изначальной парохиальности человека и его ближайших родственников. Некоторые исследования выдвигают предположение об общих у человека и шимпанзе корнях парохиальности в ее насильственной форме. Ученые отмечают, что у шимпанзе повсеместно встречаются эпизоды охоты и последующего истребления самцов другой группы (Lemoine 2022). С учетом того, что в одной группе родственниками друг другу приходятся именно самцы, уничтожение соседней группы оказывается выгодной инвестицией с позиций родственного отбора. Данные по охотникам-собирателям на первый взгляд оказываются схожи: в нападениях на соседей уничтожению подлежат скорее мужчины, а женщины иногда оказываются женами победителей. Кроме того, у людей исключительно сильно выражено неравенство выживаемости напа-

дающих к обороняющимся (лишь 2% смертей принадлежат атакующей группе), что делает нападение исключительно опасным для защищающихся и вполне безопасным для нападающих (LeBlanc 2013, р. 88). Интерес представляет также исследование склонности к дегуманизации «чужаков» детьми, проведенное В. Чжоу и Б. Хейром (Zhou, Hare 2022), согласно которому дегуманизация чужаков детьми не только оказалась выраженной ярче, чем у взрослых, но и обеспечила повышенную готовность к наказанию этих чужаков, что подчеркивает глубокие корни реакции и связанного с ней поведения, а также несколько снижает значимость культурных норм в реализации склонности к парохиальному насилию.

Множество исследований, подкрепляющих эволюционную устойчивость парохиального альтруизма, подталкивает к выводу, что человечество обречено на групповые конфликты. От истинности этого предположения и глубины нашей парохиальности зависит значимая часть нашего будущего, потому что конфликт групповых идентичностей так или иначе заложен в само основание значительной части самых кровавых и жестоких конфликтов в истории. Высокий уровень жестоких и регулярных эпизодов насилия к чужакам может быть связан с нормализацией насилия внутри группы в качестве «принуждения к нормам» или просто с экстремальными формами морального контроля.

Таким образом, целый ряд исследований свидетельствует в пользу истинности гипотезы об эволюционном функциональном комплиментаризме насилия и социального контроля. Взаимный альтруизм и насилие могут сосуществовать как комплиментарные механизмы в эволюции морали, где сильная взаимность (или взаимный альтруизм) способствует укреплению внутригрупповых связей, а насилие служит инструментом адаптации против внешних угроз и экстремальным инструментом сохранения норм. Предполагается даже серьезная «предустановленность» парохиального альтруизма и, как следствие, склонность к внешнегрупповому насилию. Получается, что даже при предположении, что насилие не является значимой формой социального контроля внутри группы, эволюционное давление, склоняющее к нормализации межгруппового насилия, нормализует его и для группы.

Критика функциональной комплиментарности насилия и морального контроля

Такую стройную картину склонности к внешнегрупповой агрессии можно подвергнуть критике с внутренних позиций культурно-антропологических исследований, а также построений эволюционной теории игр. Начнем с того, что когда сложное поведение моделиру-

ется при помощи теории игр, то приложение ее к людям сразу оказывается сопряжено с проблемами. Сложность социального взаимодействия такова, что представить его со всеми его переменными невозможно, а вероятность упустить среди них значимые никогда не равна нулю. Кроме того, приоритизация переменных может быть транслятором тех или иных предвзятых позиций самих исследователей.

Картина с «привлекательностью выгодных и безопасных атак на чужаков» тоже не так однозначна. Указанная выше вероятность смерти в 2% как результата нападения на соседнюю группу может казаться незначительной по отношению к возможным выгодам от победы. Но часто в жизни человека таких нападений бывают десятки, так что они могут стать одной из главных причин смерти мужчин фертильного возраста в традиционных обществах, не считая возможности пасть жертвой мщения.

Гомология парохиализма у шимпанзе и человека тоже не так очевидна. Да, у шимпанзе факт полного и целенаправленного уничтожения всех самцов в другой группе никем не оспаривается, но для предположения гомологичности этого поведения у человека и животных все же не хватает некоторых условий. Прежде всего, в отличие от человека, у шимпанзе не наблюдается альтернативного поведения: они не строят межгрупповых коалиций, а также не мирятся. Но, пожалуй, главным отличием будет отсутствие языка, который значительно ускоряет социальную динамику и позволяет лучше кооперироваться, избегая рискованной для индивидов конфронтации. В пользу важности языка как радикального катализатора социальной динамики говорят исследования эгалитарного этоса охотников-собирателей у Бээма. Независимо от континента и экологических условий, где проводились наблюдения, в них не встречается случаев передачи власти по наследству, а одна из главных целей морального контроля связана с противодействием устойчивому доминантному поведению. Такое социальное равновесие не встречается ни у кого из приматов и частично или полностью теряется при переходе к другим формациям. У человека нейробиологический след этой социальной склонности, по-видимому, остается.

Так, С. Т. Доуз с коллегами описали реакции мозга на предпочтение просоциального эгалитарного распределения и отвращение к его отсутствию (Dawes 2012). В эксперименте субъекты решают, платить ли некоторую сумму, чтобы изменить случайно распределенные доходы членов группы в пользу эгалитарности, в то время как аппарат МРТ визуализирует активность определенных частей мозга. Исследование выявило корреляцию активации в островковой коре с возникновением дисбаланса в равном распределении, когда в конце раунда участникам показывались полученные до-

ходы. Передняя островковая кора демонстрировала повышенную активацию в момент просоциальных выборов участников эксперимента, то есть выборов в пользу эгалитарного распределения. Подобным экспериментом авторы подкрепляют гипотезу селективного давления культурных норм на формирование альтруистического и эгалитарного поведения. Это подводит нас к мысли, что язык, культурная эволюция и социальная пластичность настолько ускоряют социальную динамику, что делают любые вопросы о гомологии форм социального контроля и насилия у человека и примата бессмысленными.

Другой конкретный пример предвзятости моделирования, постулирующего превосходство парохиального альтруизма как эволюционно-стабильной стратегии группы над другими, — недооценка выгод межгрупповой кооперации в той же самой оптике. Так, межгрупповое сотрудничество способствует ускорению колонизации открытых пространств. Если же пространства не хватает, то в случаях межгрупповых конфликтов оно скрадывается необходимостью дополнительной дистанции для безопасных границ. Это приводит к тому, что враждебные племена большую часть времени проводят в центре своих владений, что мешает эффективному использованию доступной территории (Kelly 2005). В такой перспективе межгрупповое сотрудничество также предлагает очевидную выгоду. Подобные антропологические данные наносят серьезный удар по утверждению функциональной комплиментарности насилия как фактора эволюции человека.

В современности парохиальность как предположение склонности к насилию сталкивается и с другими трудностями. Сейчас классической формой проявления межгруппового насилия являются военные конфликты. Если гипотеза о связи парохиального альтруизма и сильной взаимности верна, то разумно предположить, что опыт пережитого насилия лишь усиливает исходную склонность к дегуманизации «Другого». Однако, например, лонгитюдное исследование парохиальности и фаворитизма в контексте этнического конфликта в Боснии, проведенное В. Мироновой, демонстрирует другую картину (Mironova 2016). В исследовании различных этнических групп в Боснии и Герцеговине опрос совместили с экспериментальным подходом с условными выплатами для представителей своих и других этнических групп. Затем эксперимент повторили через десять лет. Спустя десять лет результаты продемонстрировали, что условные денежные «выплаты» представителям другой этнической группы выросли. При этом, что характерно, выросла и просоциальность в форме выплат к представителям своей этнической группы. Получается, что вопреки прогнозу о связи парохиального альтруизма и сильной взаимности просоциальность выросла как внутри,

так и вовне группы (хотя разрыв все же увеличился: выплаты своим выросли сильнее). Кроме того, проживание в смешанных общинах повышает просоциальные выплаты в адрес носителей другой этнической идентичности, с которыми был конфликт в прошлом. Это оставляет проживание в смешанных общинах одной из возможных и наиболее простых институциональных рекомендаций, а также подчеркивает приоритет социальной обусловленности над эволюционной. К ограничениям подобных экспериментов, конечно, относится проблема того, насколько экономические эксперименты на разрыв в выплатах своим и чужим отражают реальное положение вещей в вопросе склонности к насилию над представителями других этнических групп. В любом случае при истинности гипотезы склонности к насилию по групповому признаку сама «тяжесть» боснийских войн с их ярко выраженной групповой принадлежностью должна играть роль мощнейшего катализатора, организовать противодействие которому особенно сложно. В реальности же для нормализации и снижения враждебности оказывается достаточно времени и совместного проживания.

Вернемся к насилию внутри группы. Как мы помним, Рэнгем противопоставляет реактивному насилию проактивное, связанное с расчетом. Однако значимая часть насилия сопряжена с внутренней уверенностью его автора в его моральной обоснованности — и, соответственно, с убежденностью в справедливости экстремального наказания, агентом которого представляет себя человек. Очевидно, что «в моменте» эффект — не в юридическом смысле, а как психоэмоциональное состояние — влиял на подобные реакции (так же, как голод или опыт травмирующего насилия в прошлом), но это не отменяет значимости морального суждения. И если функциональный тандем насилия и морального контроля прошел свой эволюционный путь для улучшения координации, предохранения общества от «безбилетников» и сплоченности группы, то с этой задачей он справляется плохо. Подобную переоценку собственной компетенции в вынесении моральных суждений с насилием в качестве санкций можно назвать своего рода «моральным эффектом Даннинга-Крюгера¹». Получается, что коллективная атмосфера «сильной взаимности» как предохранителя от ненормативного насилия внутри группы, которую должен поддерживать своим активным участием каждый индивид, на этом же индивидуальном уровне

¹ Эффект Даннинга-Крюгера — когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем знаний или навыков в определенной области переоценивают свои способности, в то время как квалифицированные специалисты, наоборот, склонны недооценивать свои знания и навыки (Dunning, Kruger 1999).

может приводить к обратному результату. В таком сценарии «проактивность» насилия является дефектной, а связка социального контроля и насилия — дисфункциональной, а не наоборот.

Коллективный эффект этого «морального Даннинга-Крюгера» описывает философ Л. Магнани, вводя понятие «моральных пузырей» (Magnani 2022). Возможно, ему следовало оставить оба понятия как самостоятельные. Коллективность «морального Даннинга-Крюгера» работает по-другому для малых групп, потому что в них сила личностных связей с высоким требованием лояльности может смягчать попытки объективизировать моральные оценки. Тем не менее кажется убедительным, что эффекту «моральных пузырей» подвержены общества самых разных размеров — в этом и заключается ценность отдельных аргументов Магнани. Философ пишет, что «моральный пузырь» не только легитимирует насилие как инструмент социального контроля, но и нормализует его, скрывая ненормальность действия для актора. Как в случае «морального Даннинга-Крюгера», так и в случае «пузыря», «рациональность» проактивного насилия, предполагаемая Рэнгемом, невозможна, потому что она связана с моральной слепотой и недостатком рефлексии.

92

Насколько это явление ново в контексте общей истории человечества? Общества охотников-собирателей организованы так, что в социальный контроль — а значит, и в вынесение моральных оценок — вовлечены практически все, а сплетни постоянно координируют индивидуальные позиции, смягчая точки экстремума в их расхождениях. Реактивное насилие, конечно, случается, но экстремальные санкции (например, убийство) являются скорее результатом рефлексии группы. С переходом к другим формам организации общества проактивность контроля централизовалась, а само количество людей росло. Институциализация «проактивности» в государстве достигла невероятных высот, но вытеснила коллективную рефлексию с высокой степенью индивидуальной вовлеченности, позволив множеству людей спокойно жить без необходимости активно вовлекаться в вынесение коллективных моральных оценок. Интересным, хотя и не самым репрезентативным аргументом в пользу этой идеи является исследование 2020 года, которое показало, что люди, бывшие авторами насилия в прошлом, более склонны применять его как инструмент морального контроля (Litman et al. 2020). Этот аргумент встраивается в наши рассуждения о том, что использование морального оправдания насилия является не столько комплиментарным механизмом социального контроля, сколько маскирующей его «вувалью» — как для общества в целом, так и для отдельных индивидов.

То, что внешнегрупповая агрессия чаще объясняется представлениями о выгоде или опасности, нежели парохиальностью, под-

тврждается и тем фактом, что традиционные общества и племена способны мириться и заключать мирные брачные договоры так же внезапно, как начинали вооруженные походы друг против друга. В статье 2015 года масштаб вреда, который в экспериментах символически наносили чужакам «одногруппники», определялся *представлениями* о поведении чужаков, а не самим фактом их существования (Сотт 2015). Более того: доброжелательность, как и просоциальность внутри своей группы оказалась прямо пропорциональна оной для чужаков: чем сплоченнее группа и доброжелательнее друг к другу ее представители, тем доброжелательней они и к чужакам.

Таким образом, представленный анализ демонстрирует сложные отношения эволюционной взаимосвязи насилия и морального контроля. В работах Бозма, Рэнгема, Боулза и других исследователей приводятся убедительные аргументы в пользу функциональной комплиментарности феноменов насилия и морального контроля. Насилие выступает как инструмент подавления внутригруппового доминирования и сокращения импульсного реактивного насилия, обеспеченный базовой институционализацией и поддерживающий групповую сплоченность через вовлечение в «вершение справедливости». Все это создает условия для описанной Боулзом и коллегами сильной взаимности. Она же вместе с тем служит ключевым фактором межгрупповой конкуренции, реализуемой в форме парохиального альтруизма. Это создает подобие замкнутого — а возможно, и порочного — круга: функциональность воспроизводит склонности к предвзятости и даже дегуманизации.

93

Однако критический разбор этой парадигмы с позиций тех же исследовательских направлений обнаруживает ее методологические ограничения. Эмпирические данные относительно культурной вариативности практик насилия, способности групп к созданию мирных коалиций, а также пластичность социального контроля подрывают тезис об абсолютной имманентности и эволюционной неизбежности насилия как ядра морали. Более того, дисфункциональность «моральных пузырей» и «морального эффекта Даннинга-Крюгера» меняют порядок отношений феноменов: иногда именно моральное оправдание становится инструментом насилия.

Заключение

Центральный вывод статьи заключается в том, что связь насилия и социального контроля, несмотря на глубокие эволюционные корни, является не жестко детерминированной, а опосредованной культурными механизмами, когнитивными искажениями и контекстуальными факторами.

Признание культурной опосредованности этой связи имеет фундаментальное значение для понимания динамики человеческих конфликтов и потенциала их смягчения. Если эволюционная рамка объясняет происхождение склонности к насилию как инструмента контроля, то ее критика выясняет возможность социального преодоления этой логики через институты и рефлексивные культурные практики. Это ставит под сомнение фаталистические прогнозы насчет «обреченности» человечества на групповое насилие и открывает пространство (или оставляет надежду) для этически ориентированного проектирования социальных систем — особенно в постконфликтных полиэтнических обществах.

Будущие исследования должны фокусироваться не столько на констатации комплиментарности, сколько на анализе условий, при которых насилие теряет функциональность (как в случае «морального эффекта Даннинга-Крюгера» или мирных коалиций между группами), а также на выявлении культурных альтернатив, трансформирующих эволюционное наследие в направлении кооперации, не опосредованной дегуманизацией «Другого». Такой подход позволяет рассматривать моральный контроль не как вечный спутник насилия, а как поле для эволюции новых, более инклюзивных форм социальной регуляции.

94

Финансирование / Funding

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 22-18-00383 «Междисциплинарные методологические основания расширенного эволюционного синтеза в науках о жизни и обществе». The research was supported by RSF (project No. 22-18-00383 Interdisciplinary Methodological Foundations of the Extended Evolutionary Synthesis for the Life and Social Sciences).

Библиография / References

- Boehm C. & Boehm C. (2009) *Hierarchy in the forest: The evolution of egalitarian behavior*. Harvard University Press.
- Boehm C. (2012) *Moral origins: The evolution of virtue, altruism, and shame*. Soft Skull Press.
- Bowles S. & Gintis H. (2011) A cooperative species. In *A cooperative species: Human reciprocity and its evolution* (pp. 1-7). Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7s72v.4>
- Calmettes G. & Weiss J. N. (2017) The emergence of egalitarianism in a model of early human societies. *Helicon*, 3(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00451>

- Chiao J. Y., Mathur V. A., Harada T. & Lipke T. (2009) Neural basis of preference for human social hierarchy versus egalitarianism. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1167(1), pp. 174–181. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04508.x>
- Choi J. K. & Bowles S. (2007) The coevolution of parochial altruism and war. *Science*, 318(5850), pp. 636–640. <https://doi.org/10.1126/science.1144237>
- Corr P. J., Hargreaves Heap S. P., Seger C. R. & Tsutsui K. (2015) An experiment on individual “parochial altruism” revealing no connection between individual “altruism” and individual “parochialism”. *Frontiers in psychology*, 6, p. 1261. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01261>
- Dawes C. T., Loewen P. J., Schreiber D., Simmons A. N., Flagan T., McElreath, R. ... & Paulus M. P. (2012) Neural basis of egalitarian behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(17), pp. 6479–6483. <https://doi.org/10.1073/pnas.1118653109>
- Dunbar R. I. (2004) Gossip in evolutionary perspective. *Review of general psychology*, 8(2), pp. 100–110. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.8.2.100>
- Gellner E. (1994) Conditions of liberty: Civil society and its rivals. (*No Title*).
- Kelly R. C. (2005) The evolution of lethal intergroup violence. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(43), pp. 15294–15298. <https://doi.org/10.1073/pnas.0505955102>
- Kruger J. & Dunning D. (1999) Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of personality and social psychology*, 77(6), p. 1121. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121>
- Littman R., Estrada S., Stagnaro M. N., Dunham Y., Rand D. & Baskin-Sommers A. (2020) Community violence and prosociality: Experiencing and committing violence predicts norm-enforcing punishment but not cooperation. *Social Psychological and Personality Science*, 11(2), pp. 276–283. <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/135516.2>
- Lee R. B. (2003) *The Dobe Ju/'Hoansi*. South Melbourne, Vic.: Wadsworth Thomson Learning.
- Lemoine S. R., Samuni L., Crockford C. & Wittig R. M. (2022) Parochial cooperation in wild chimpanzees: a model to explain the evolution of parochial altruism. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 377(1851), p. 20210149. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0149>
- Magnani L. (2022) Naturalizing morality to unveil the status of violence: coalition enforcement, cognitive moral niches, and moral bubbles in an evolutionary perspective. *Philosophies*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.3390/philosophies7020039>
- Mironova V. & Whitt S. (2016) The evolution of prosociality and parochialism after violence. *Journal of Peace Research*, 53(5), pp. 648–664. <https://doi.org/10.1177/0022343316648204>
- Trivers R. (2006) Reciprocal altruism: 30 years later. *Cooperation in primates and humans: Mechanisms and evolution*, pp. 67–83. https://doi.org/10.1007/3-540-28277-7_4
- Trivers R. L. (1971) The evolution of reciprocal altruism. *The Quarterly review of biology*, 46(1), pp. 35–57. <https://doi.org/10.1086/406755>
- LeBlanc S. A. (2013) Warfare and human nature. In *The evolution of violence* (pp. 73–97). New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9314-3_5

Wrangham R. (2019) *The goodness paradox: The strange relationship between virtue and violence in human evolution*. Vintage.

Zhou W. & Hare B. (2022) The early expression of blatant dehumanization in children and its association with outgroup negativity. *Human nature*, 33(2), pp. 196–214. <https://doi.org/10.1007/s12110-022-09427-x>

Об авторе

Часовских Григорий Александрович — старший преподаватель кафедры медицинского права, этики и антропологии РНИМУ им. Пирогова. Научные интересы: исследования эволюции морали, биоэтика, социология и философия медицины, когнитивные искажения.

<https://orcid.org/0000-0001-5405-2875>. E-mail: 19sub@mail.ru

Grigory A. Chasovskikh — lecturer in the chair of Medical Law, Ethics, and Anthropology at the Pirogov Russian National Research Medical University. Research interests: evolution of morality, bioethics, sociology and philosophy of medicine, and cognitive biases.

<https://orcid.org/0000-0001-5405-2875>. E-mail: 119sub@mail.ru

Как катастрофа становится коллективной травмой: насилие и социальный порядок в дюркгеймианской перспективе

Дмитрий А. Бочков

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Российская Федерация
<https://orcid.org/0000-0003-3228-0708>

Рекомендация для цитирования:
Бочков Д. А. (2025) Как катастрофа становится коллективной травмой: насилие и социальный порядок в дюркгеймианской перспективе. *Социология власти*, 37 (3): 97-125
EDN: MECJXC

For citation:
Bochkov D. A. (2025) How Disaster Becomes Collective Trauma: Violence and Social Order from a Durkheimian Perspective. *Sociology of Power*, 37 (3): 97-125

Поступила в редакцию: 26.04.2025;
прошла рецензирование: 04.06.2025;
принята в печать: 29.06.2025
Received: 26.04.2025; Revised:
04.06.2025; Accepted: 29.06.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: В статье прослеживается генезис одной из первых социологических концепций травмы — модели «коллективной травмы» Кая Эриксона, разработанной в рамках послевоенной американской социологии катастрофы (sociology of disaster). Социологическое понимание травмы, которое наследует психологической концептуализации, сформировавшейся в исследованиях боевой психической травмы и ПТСР, анализируется через различие социального и (квази)естественного порядка. Парадокс социологии катастрофы заключается в том, что ее представители часто наблюдали в катастрофах не распад, а всплеск социальной солидарности и альтруизма, который описывался в дюркгеймианских терминах. Эриксон, напротив, зафиксировал в случае с катастрофой в Буффало-Крик (1972) масштабные разрушения социальных связей, для объяснения которых и разработал концепт «коллективной травмы». Теоретическое различие Эриксоном «катастрофы» и «травмы» стало возможным благодаря двум взаимосвязанным ходам. Во-первых, это импорт субъекта насилия из психологической концептуализации травмы, которая, как показано в статье, всегда находилась под влиянием социально-экономических факторов, связанных с выплатами пострадавшим. В случае с прорывом дамбы в Буффало-Крик роль субъекта насилия играла угледобывающая компания, ответственная за обслуживание дамбы. Во-вторых, это реанимация изначального дюркгеймовского понимания насилия как аномии, патологического распада норм

и морали, который разворачивается во время нарушения социального порядка. В то время как другие представители социологии катастрофы ушли от такого понимания насилия, которое отсылает к гоббсийскому естественному порядку, Эриксон использовал его для концептуального описания катастрофы с нехарактерно высоким для своего времени числом жертв, которая привела к тотальному распаду сообщества.

Ключевые слова: коллективная травма, ПТСР, катастрофа, насилие, Дюркгейм

How Disaster Becomes Collective Trauma: Violence and Social Order from a Durkheimian Perspective

Dmitrii A. Bochkov

Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
<https://orcid.org/0000-0003-3228-0708>

Abstract: This article examines the genesis of a foundational concept in the sociology of trauma — Kai Erikson's theory of *collective trauma* — which emerged in the context of the post-war American sociology of disaster. This field presented a curious paradox: rather than observing social collapse, scholars frequently documented a surge of community solidarity and altruism in the wake of disaster, phenomena they interpreted through a Durkheimian lens. Erikson's seminal study of the 1972 Buffalo Creek flood revealed a profound unraveling of the social fabric — a condition he theorized as *collective trauma*. This distinction between *disaster* and *trauma* was achieved through two maneuvers. The first was the importation of a subject of violence from the psychological conceptualization of trauma — a framework that, as the article demonstrates, was itself deeply influenced by socio-economic factors concerning victim compensation. In the case of the Buffalo Creek dam collapse, this agent of violence was the coal mining company responsible for the dam's maintenance. The second maneuver was the resuscitation of Durkheim's original notion of violence as anomie — a pathological dissolution of norms and morality that unfolds during a collapse of the social order. While other disaster sociologists had moved away from this understanding of violence — which evokes a Hobbesian state of nature — Erikson used this Durkheimian lens to conceptually articulate the aftermath of a disaster marked by an unusually high number of casualties for its time, which resulted not in solidarity but in the total disintegration of the community.

Keywords: collective trauma, PTSD, disaster, violence, Durkheim

Введение

Между понятиями «насилие» и «травма» есть внутренняя взаимосвязь: травма часто представляется как прямое следствие наси-

лия. При этом, как демонстрируют многочисленные исследования по боевой психической травме и ПТСР, насилие тоже может быть следствием травмы. Роднит эти понятия и то, что они существуют на стыке различных дисциплин, оставаясь при этом глубоко укорененными в пространстве повседневной речи с ее многочисленными контекстами, из-за чего всегда кажутся бесконечно размытыми¹. Решение эпистемологических тупиков, которые могут учитываться (или не учитываться) при работе с понятиями «насилия» и «травмы», зачастую сулит прогресс в области не только знания, но и этики и политики. В этом нет ничего удивительного, поскольку «насилие» традиционно является этической категорией и в дискуссиях о насилии всегда находилось место обсуждению этических импликаций, которые сопутствуют точному определению понятия. Здесь уместно будет вспомнить известный идеалистический тезис Симоны Вейль из эссе «Сила слов», которое она написала, вернувшись с Гражданской войны в Испании: прояснение мысли, определение слов с помощью точного анализа не только лучше схватывает реальность, но и спасает человеческие жизни (Weil 2005, с. 242). У многих теоретиков насилия и травмы спасение человеческих жизней, кажется, выходит на первый план. Этот гуманистический порыв сложно осуждать, но если при этом точному определению слов уделяется не так много внимания, то используемые понятия начинают размываться.

Классическое понимание насилия предполагает интенцию, намеренный акт, который трактуется как зло. Например, конвенциональным примером насилия в социологии является преступность — грабежи, убийства, нападения в общественных местах. Социологические исследования домашнего, бытового насилия, по сути, основаны на классическом понимании насилия — за актами насилия стоят конкретные преступники или субъекты насилия, обладающие злостным намерением. Интенциональность, как правило, и связывает понятие «насилия» с понятием «травмы» в повседневном понимании: если есть субъект насилия (преступник),

¹ На это сетовала еще Ханна Арендт: из-за того, что насилие воспринимается как очевидная данность, не требующая особого определения, «в последнем издании энциклопедии социальных наук “насилие” даже не заслужило отдельной статьи» (Арендт 2014, с. 13). Терминологическая неопределенность приводит к тому, что понятию сложно взаимодействовать с другими понятиями, а исследователю — проводить границы между ними. В качестве примеров концептов, которые могут сливаться друг с другом, Арендт приводит следующие термины, которые, что примечательно, являются неотъемлемой частью языка повседневности: « власть », « мощь », « сила », « авторитет » и « насилие » (Там же, с. 50–51).

то есть и субъект травмы (жертва). Эта логика работает и в обратную сторону: если есть жертва, то где-то должен быть преступник. Этую связь с насилием, в котором возможно определить субъекта, и сопутствующую ей проблематику идентичности сохраняют социологи, которые разработали концепт «культурной травмы» в конце 1990-х годов (Дж. Александер, Р. Айерман, Н. Смелзер, П. Штомпка): это образ, который существует в нарративе того или иного сообщества и маркируется им как «травма». Как пишет Джейфри Александер: «Для создания убедительного нарратива травмы чрезвычайно важно установить личность преступника — “злодея”. Кто, собственно, нанес рану жертве? Кто вызвал травму? Это всегда вопрос конструирования символов и социального конструирования» (Александер 2012, с. 23).

Несмотря на стремление культурсоциологов четко провести границы «культурной травмы», концепт подвергается апpropriации со стороны самых разных дискурсов, и параллельно с этим стирается грань между травматическим и не-травматическим, за что понятие «культурная травма» справедливо подвергалось критике как в момент своего появления (Kansteiner 2004), так и по сей день (Britt, Hammett 2024). Сам же Александер подчеркивает, что «культурная травма» — это эмпирическое научное понятие, которое вместе с этим «вносит ясность в становящуюся область социальной ответственности политического действия» (Александер 2012, с. 7). Поэтому неудивительно, что социально ответственные или безответственные политические акторы, в свою очередь, начинают эксплуатировать понятие в своих целях, а конструктивистская природа «культурной травмы», безусловно, этому способствует. Впрочем, некоторые критики (Haslam, McGrath 2020) утверждают, что размытие понятия «травмы» не является проблемой конкретно психологии, социологии или, например, культурологии, поскольку «травма» до конца не принадлежит этим научным языкам. По сути, это повтор тезиса, который озвучивал историк Доминик ЛаКапра: «ни один жанр или дисциплина не “владеет” травмой как проблемой и не может установить для нее окончательные границы» (LaCapra 2001, р. 69). Речь идет скорее о проблеме (или особенности) самого понятия, которое за XX век прошло через ряд структурных трансформаций: от соматической травмы — к психической, от экстраординарного статуса травмы — к обыденному или рутинному, от прямого воздействия травмы — к опосредованному, от индивидуальной травмы — к коллективной.

Вместе с этим существуют социологические концептуализации насилия, которые не предполагают наличие субъекта насилия, обладающего намерением, — либо, по крайней мере, определение этого субъекта насилия проблематично. Как правило, первой на ум

приходит широко известная концепция «структурного насилия» социолога Йохана Галтунга, согласно которой насилие заложено в самой природе социальных структур или институтов, производящих неравенство. Подобное насилие, субъектность и интенциональность которого под вопросом, является безличным по своей концептуальной природе. Менее очевидным выражением безличного насилия является природная или техногенная катастрофа, во время которой происходят масштабные разрушения личного и городского имущества, человеческие жертвы, а также, как предполагается (Rezaeian 2013), растет межличностное и домашнее насилие, мародерства, изнасилования и грабежи и прочее. Почему произошла катастрофа, бросающая серьезный вызов общественной жизни, — по воле Божьей, из-за сил природы, действий корпораций, управляющих компаний, городских властей или же по случайному стечению обстоятельств — один из важнейших вопросов (Blocker, Sherkat 1992), которым занималась американская послевоенная социология катастрофы (*sociology of disaster*). Поскольку основная концептуальная рамка социологии катастрофы опиралась на теоретическое наследие Эмиля Дюркгейма, то и феномен насилия социологи этого направления трактовали в специфическом дюркгеймianском ключе.

101

Задаваясь вопросом о долгосрочных последствиях катастрофы для сообщества, социолог Кай Эрикссон в 1970-е годы разработал концепт «коллективной травмы» (Eriksson 1976) и ввел тем самым понятие «травмы» в социологический обиход. По Эрикссону, «коллективная травма» — это феномен абсолютного разрушения социальных связей, наблюдаемый в сообществах, затронутых катастрофой. Использование этого понятия представляет для Эрикссона определенный эпистемологический вызов — поскольку термин «травмы» используется в разных значениях и в разных научных лексиконах, то не всегда очевидно, как превратить «травму» в полезное социологическое понятие (Eriksson 1991). Сам Эрикссон различает первоначальное медицинское понимание травмы (удар снаружи по организму), психологическое понимание (удар снаружи по психике, к которому добавляется новый смысл — состояние, вызванное этим ударом) и социологическое понимание (соответственно, удар снаружи по социальному организму, а также состояние, вызванное этим ударом) в духе Дюркгейма. Рассуждая о двойственной природе травмы — и источник травмы (событие), и состояние после травмы (опыт) — Эрикссон напрямую возводит концептуальную генеалогию социологической «коллективной травмы» к травме психической, которая зачастую связана с боевой психической травмой, ПТСР. Соответственно, концепт «коллективной травмы» вбирает в себя характерную для психологической концептуализации проблемати-

тику, связанную с классическим пониманием «насилия». По сути, эта проблематика передается по наследству и концепции «культурной травмы» — несмотря на то что культурсоциологи критиковали своего предшественника за избыточную натуралистичность (Александер 2012, с. 11),

Таким образом, ключевая проблема заключается не просто в терминологической размытости понятий «насилия» и «травмы» по отдельности, а в самой природе их концептуальной взаимосвязи. Статья состоит из двух тематических разделов: в первой, «милитаристской» части речь пойдет про психологическую концептуализацию боевой психической травмы; во второй, «пацифистской» — про социологическую концептуализацию коллективной травмы в рамках социологии катастрофы. Это поможет проследить, как обнаружение субъекта насилия в психологической концептуализации транслируется в социологический контекст катастрофы. Собственно, мой основной аргумент заключается в том, что катастрофа концептуализируется как коллективная травма благодаря тому, что осмысляется через призму насилия. Во многом это является следствием того, что социологическая концептуализация «травмы» является наследницей психологической концептуализации.

102

Психологическая концептуализация травмы

Психический феномен, который в разные исторические периоды назывался «боевой психической травмой», «посттравматическим стрессовым расстройством», «поствietнамским синдромом», «снарядным шоком» или «солдатским сердцем», представляет собой классический медико-антропологический кейс (Young 1995). Об этом свидетельствуют не только многочисленные работы по истории и концептуализации этого феномена (см.: Trauma Concepts in Research and Practice 2023), но и сопровождающие его нозологические, диагностические и терминологические затруднения, некоторые из них — например, является ли боевая психическая травма экзогенной или эндогенной по своему происхождению — остаются актуальными и по сей день, что подчеркивают некоторые психиатры (Суакисян, Солдаткин, Снедков и др. 2020, с. 176).

В парадигме медицинской антропологии часто можно встретить объяснение «текучести» этого определения в следующей логике: термины, которые предлагали специалисты в разные исторические периоды, в действительности схватывали разные феномены, которые разворачивались в разных культурных контекстах. На этой гипотезе основан сформулированный антропологом Алланом Янгом тезис, который сам по себе обладает внушительным критическим зарядом: «универсальность» такой нозологической единицы

на самом деле была изобретена, а не открыта (Young 1995; см. также: Moghimi 2012).

Традиционно основной удар берет на себя концепция посттравматического стрессового расстройства, которая пришла на смену «травматическому неврозу» в третьем издании DSM в 1980 году. Так, некоторые критики, в том числе психологи, стремятся уличить ПТСР в том, что на самом деле оно является не только клиническим диагнозом, но и инструментом для масштабной политической трансформации, благодаря которой американские военные вернулись из Вьетнама не преступниками, а жертвами (см., напр.: Summerfield 2001). Несложно заметить, что в этой релятивистской парадигме травмы на первый план выходит вопрос идентичности: кем является субъект — травмированным, нанесшим травму или и тем, и другим одновременно?

Безусловно, распутывание идеологических контекстов феномена боевой психической травмы — захватывающая задача для историка идей (см., напр., обзоры: Alford 2016; Good, Hinton 2016). В качестве иллюстративного примера, показывающего идеологическую нагруженность дискуссий о травме даже в медицинском дискурсе, можно взять советский психиатрический сборник «Психозы и психоневрозы войны» (1934), который переосмыслияет опыт Первой мировой войны через психологическую концептуализацию травмы. В сборнике аккумулированы теоретико-практические достижения в области военной психиатрии тех лет, в некотором смысле предвосхищающие дискуссии о социальном измерении травмы, однако с совершенно иным идеологическим посыпом. Так, наблюдение редактора сборника психиатра В. П. Осипова о том, что психическое переживание во многом зависит от социально-культурного контекста, приобретает определенный идеологический окрас:

103

Чем выше политico-моральный уровень бойца Красной армии, чем выше и прочнее его политическое, классовое сознание, тем легче он подавляет естественную в эмоциональном состоянии биологическую сторону, не давая ей приобретать господствующего влияния над своей личностью, которая тем самым становится менее доступной для овладения психотической реакцией (Осипов 1934, с. 10).

Очевидно, что социально-культурный контекст Советской России в момент написания сборника был бесконечно далек от того контекста, в котором находились страны — участницы Первой мировой войны, что неоднократно подчеркивается авторами. Один из авторов предостерегает: «Механическое перенесение опыта мировой войны на условия РККА не может иметь места, так как Красная армия отличается в корне от буржуазных армий... по своему классово-политическому содержанию» (Гольман 1934, с. 34). Если отстранить-

ся от очевидной идеологической подоплеки, то сама практическая рекомендация — учитывать культурный контекст при заимствовании чужого опыта — разумеется, не лишена смысла. Однако декларируемый новаторский подход в изучении психических травм, полученных солдатами, участвовавшими в боевых действиях, становится возможным тоже благодаря идеологическим причинам. Еще на III съезде отечественных психиатров в 1910 году участники военной секции (П. М. Автократов¹, Х. Ш. Боришпольский, Л. М. Станиловский, Г. Е. Шумков²) представили материалы, собранные в полевых психиатрических стационарах в период Русско-японской войны, и выдвинули предложения по масштабированию мер оказания психологической помощи военным. Во время Первой мировой войны этот опыт не был реализован в силу политических причин — так что не стоит забывать, что критически осмыслить клинические данные, собранные во время Первой мировой, авторам сборника помогла не в последнюю очередь историческая дистанция.

Очевидно, что начиная с государств раннего Нового времени, которые, по мнению социолога Чарльза Тилли, развивались благодаря мобилизации капитала и направления налоговых сборов на содержание армии и поддержки системы военных пенсий (Tilly 1990), реабилитация и реинтеграция комбатантов имеет политическое значение. Также немаловажную роль в этом процессе сыграло возникновение всеобщей воинской повинности во время Французской революции и появление общественного представления о том, что любой гражданин может быть солдатом. Таким образом, в XX веке теоретико-клинические дискуссии о феномене боевой психической травмы, или ПТСР — идет ли речь о Первой мировой или Вьетнамской войнах — закономерно приобретают политическое содержание. Тем не менее психологические, психоаналитические

- 1 В частности, к клиническому опыту работы Автократорова в условиях Русско-японской войны апеллирует антрополог и психоаналитик Абрам Кардинер в своей книге «Травматические неврозы войны» (1941), представляющей собой важный этап в концептуальной эволюции посттравматического стрессового расстройства.
- 2 Судя по статистике Харбинского госпиталя, врачи диагностировали у комбатантов психозы разных видов, не сводя их в единую диагностическую категорию. Шумков в статье «Душевное состояние воинов после боев» (1914) предлагает концепцию «душевных ран», которые отличаются от телесных ран тем, что «физические видимы миру и, как полученные при исполнении долга, почитаемы; душевые же ранения, хотя и получены при исполнении того же долга, но не видимы миру, а потому и отрицаются. Физическими ранениями, полученными в боях <...> гордятся; психических же, полученных там же и причиняющих глубокие страдания, обычно стыдятся» (Шумков 1914, с. 118–119).

и медицинские концептуализации психической травмы, появление которых предшествовало Первой мировой войне, подвергались влиянию общественных факторов, которые были тесно связаны с вопросами финансирования.

Феномен катастрофы породил психологическое понятие «травмы», которое потом видоизменило социологическое понятие «катастрофы». Считается, что история понятия «травмы» начинается со свидетельств английского хирурга Джона Эриксена в 1860-е годы о характерных симптомах (в то время их определяли как «истерию»), обнаруженных у пострадавших в железнодорожных катастрофах (Leys 2000): потеря памяти, спутанность сознания, раздражительность, нарушение сна, сенсорные расстройства, изменения в поведении, онемение и прочее. Эриксен считал, что у этих симптомов есть соматическое происхождение (повреждение позвоночника), хотя он не мог это продемонстрировать и предлагал их диагностировать как «железнодорожный позвоночник». Уже тогда железнодорожные компании опасались, что диагнозы такого рода приведут их к страховым обязательствам (Lerner 2003, p. 25). Впоследствии такие невропатологи и психиатры, как К. Вестфаль, М. Бернхардт, Ж. Шарко, П. Жане, Ж. Бабинский, Г. Оппенгейм и другие, описали как неврологическую, так и психологическую природу этих травматических последствий (Holdorff 2011) — как раз потому, что анатомических доказательств повреждений позвоночника не было.

В 1888 году ведущий немецкий невропатолог Герман Оппенгейм на основе свидетельств Эриксена и аналогичных случаев в Германии разработал диагностическую категорию «травматического невроза» — то есть собственного невроза, вызванного ненаблюдаемым органическим повреждением мозга психолого-неврологического расстройства, вокруг которого разворачивались сопутствующие психологические процессы. По сути, Оппенгейм был сторонником как соматического, так и психологического объяснения «травматического невроза». С началом Первой мировой войны Оппенгейм, работавший тогда в военном госпитале, предложил вторую концепцию травмы — «военный невроз», который, по сути, являлся тем же «травматическим неврозом» (Kloocke et al. 2005), только в контексте войны, а не катастрофы в мирное время. В симптоматику, описанную Оппенгеймом, выходили судороги, трепет, паралич, потеря памяти и так далее. Оппенгейм последовательно добивался того, чтобы и «травматический невроз», и «военный невроз» стали диагностическими категориями, общепринятыми нозологическими единицами, но обнаружилось, что у его концепции довольно много противников.

Концепция Оппенгейма подвергалась критике начиная с Международного медицинского конгресса в Берлине (1890), и я хочу

обратить внимание на эти аргументы, которые несут в себе определенные экономические импликации. Так, например, невролог Фридрих фон Йолли считал, что то, о чем писал Оппенгейм, имело не неврологическую или психологическую, а социально-экономическую природу: законодательство о страховании от несчастных случаев поощряло пострадавших к симуляции или закреплению симптомов ради денежной выгода (Holdorff 2011). Стоит подчеркнуть, что именно статус «травматического невроза» как нозологической единицы давал пострадавшему право претендовать на компенсацию. С таким пониманием происхождения симптомов связано понятие «невроза материальной компенсации» (нем. *Rentenneurose*), распространенное в то время. Тогда же в медицинском дискурсе существовал «военный» аналог *Rentenneurose*, который в условиях Первой мировой войны, как правило, интерпретировался как нежелание отдавать воинский долг, но помимо этической подоплеки, имел экономические основания. Так, один из противников «военного невроза», психиатр Карл Бонхёффер, выступал за систему единоразовых выплат комбатантам, которая и была реализована после окончания войны. В конечном счете на встрече психиатров в Мюнхене в 1916 году «военный невроз» был отвергнут как отдельное заболевание, поскольку в противном случае это означало бы серьезную нагрузку на немецкий военный бюджет из-за пожизненных пенсий пострадавшим.

Также стоит иметь в виду этическую сторону вопроса — в Британской империи «снарядный шок» (англ. *shell shock*) намеренно перестали диагностировать в 1917 году по инициативе *War Office*, поскольку он ассоциировался с «трусостью» солдат и нежеланием отдавать воинский долг. В Германии «военный невроз», несмотря на неприятие многих психиатров, существовал как диагностическая категория вплоть до окончания войны ввиду личного авторитета Оппенгейма. Но уже в 1926 году «травматический невроз» как нозологическая единица был окончательно упразднен в новом страховом законодательстве. Эти исторические кейсы, обрисованные широкими мазками, призваны проиллюстрировать очевидный тезис: истоки психологической концептуализации «травмы», на которую впоследствии будет ориентироваться социологическая концептуализация, сильно связаны с социально-экономическими и политико-этическими аргументами. Эти аргументы затрагивают такие вопросы, как ответственность государства, свободную волю человека симулировать или не симулировать симптоматику в личных целях, а также проблематику, связанную с личными качествами комбатанта.

После 1945 года, когда феномен войны начнет восприниматься как проявление насилия, но не в духе Клаузевица, а в духе Льва

Толстого, окажется, что понятия «травмы» и «насилия» тесно переплетены между собой. Важно, что для этой связки требуется пацифистское понимание насилия и, как следствие, — войны, сама идея которой предстает в этой парадигме как абсолютное зло. Исторически это понимание начинает распространяться и доминировать в академических кругах после Второй мировой войны — из-за чего, например, послевоенные американские социологи будут больше озабочены вопросами социальной стратификации или индустриализации, чем коллективного насилия или войны (Malesevic 2010), и социологическая концепция «травмы» будет отсылать к психологической концептуализации, близкой к тому, что потом станет ПТСР.

Австралийский философ Тони Коади начинает свою статью «Идея насилия» (1986) с констатации факта, который, как кажется, отражает положение дел и по сей день: не существует консенсуса в том, как следует понимать насилие, которое тем не менее является одной из ключевых идей политической теории. Источник проблемы Коади справедливо видит в том, что само понятие «насилие» не только существует в изменчивых контекстах повседневного языка, но и служит социально-политическим инструментом для воплощения тех или иных взглядов и представлений в реальности (Coady 1986). Так, например, концепция «структурного насилия» может конкурировать с концепцией «легитимного насилия», поскольку обе традиционно служат интересам разных политических программ — соответственно, левого и правого толка. Поскольку же в концепциях «структурного» и «легитимного насилия» отражены существенно разные представления о природе насилия, эпистемологический консенсус не может быть достигнут.

107

Спустя более чем 30 лет, в 2019 году, Тони Коади дал интервью, посвященное проблеме насилия. Интервьюер спросил Коади, видит ли он прогресс в том, как понимается насилие, с момента публикации его статьи 1986 года, где Коади зафиксировал отсутствие эпистемологического консенсуса в этой теме. Любопытно, что в качестве первого примера позитивных изменений, произошедших в понимании насилия за прошедшие десятилетия, Коади указывает на «возросшее внимание к малозаметным последствиям участия в актах насилия, особенно в контексте боевых действий», которое выражено в появлении диагноза ПТСР в третьем издании DSM (Sardoč, Coady 2019, р. 1). Именно появившаяся после Вьетнамской войны концепция ПТСР — психической травмы — по мнению Коади, и оказала решающее влияние на изменение общественного и политического отношения к проблеме насилия в 1990-е годы. Более того, по его мысли, у этого диагноза есть и этические последствия, выражющиеся в том, что комбатант с ПТСР по возвраще-

нии с войны зачастую начинает воспринимать себя как «пешку в несправедливой войне» (*Ibid.*, p. 2), что, безусловно, снимает с него часть ответственности.

Здесь травма (и сегодня это консенсусное мнение) воспринимается как следствие насилия, которое традиционно является этической категорией. В многочисленных дискуссиях на тему природы насилия регулярно фигурирует тезис, что если нечто маркируется как насилие, то это нечто воспринимается как зло — даже если призвано служить благим целям. В прагматическом смысле травму тоже можно представить как зло, которое лучше бы не происходило вовсе, но этической категорией она сама по себе не является. Именно внутренняя связь между насилием и травмой позволяет обнаружить в последней этическое измерение. Именно оно наделяет субъекта идентичностью «жертвы» — субъекта травмы, — которая не может существовать без «злодея», субъекта насилия.

В классическом понимании «насилия» есть составной элемент прямой интенциональности: насилие — это намеренное действие, за которым стоит действующее лицо (субъект насилия — тот, кого в теории культурной травмы называют «преступником»). Интенциональность отличает классическое «насилие» от «силы», сколь разрушительна ни была бы последняя. По-английски можно сказать *violent storm*, но само прилагательное не имеет отношения к *violence*, феномену насилия (Degenaar 1980). Так, по-русски нельзя сказать «насильственный штурм», только «сильный штурм», поскольку у природного явления (если оно не является проявлением «воли Божьей») нет интенции. В связи с этим интересно, что Коади в интервью 2019 года в качестве примера негативных тенденций в понимании насилия упоминает о том, что концепт «силы» (*force*, чьим воплощением является *violent storm*) все чаще и чаще заменяет концепт «насилия» в контексте вооруженных конфликтов, так что граница между концептами проходит по границе групповой идентичности, хотя, по существу, речь идет о явлениях одного порядка: «мы» применяем силу, «они» применяют насилие (Sardoč, Coady 2019, p. 2). Как известно, «террористы» — это всегда «они».

Соответственно, интенциональность насилия дает субъекту травмы способность идентифицировать как «жертву», так и «преступника» — даже если преступником оказывается не конкретная персона, а абстрактное понятие вроде «системы» или «режима». Поэтому нет ничего удивительного, что в известной книге с гово-рящим подзаголовком «Ветераны Вьетнама — ни жертвы, ни палачи» (1973) психиатр Роберт Джей Лифтон обозначает две ключевые проблемы для психологической концептуализации «травмы» — это вина и насилие. Психологическая концептуализация «травмы» изначально была открыта как социальному-экономическому, так

и этико-политическому измерению, что обусловило взаимосвязь с понятием «насилия» и проблематикой субъектности насилия. Отсюда идут наблюдения, что носители ПТСР могут ощущать себя субъектами насилия, о чем и говорит Коади в интервью 2019 года. В итоге, когда в социологическую концептуализацию «катастрофы» проникает из психологической концептуализации «травмы» классическое понимание «насилия», сама «катастрофа» превращается в «коллективную травму». Это происходит, потому что к моменту работы Кая Эриксона с пострадавшими в ходе наводнения Буффало-Крик психологическая концептуализация травмы уже была связана с проблематикой субъекта насилия, вины и идентичности, а также с этическим измерением.

Социологическая концептуализация травмы

В 1972 году в штате Западная Вирджиния произошел прорыв дамбы на реке Буффало-Крик, в результате чего было практически полностью разрушено несколько близлежащих поселений и погибло 125 человек. В известной книге «Все на своем пути», которая была опубликована спустя четыре года после ужасного события, социолог Кай Эриксон предлагает неконвенциональный для своего времени вариант социологии катастрофы, которая фокусируется не на мгновенном разрушении социального порядка, а на долгосрочных последствиях для сообществ, которые были затронуты катастрофой. Через анализ нарративов пострадавших Эриксон приходит к объясняющей модели «коллективной травмы» — считается, что это первое появление «травмы» в языке социологии (Abrutyn 2024), хотя сегодня это понятие в гораздо большей степени ассоциируется с культурсоциологией конца 1990-х — начала 2000-х годов. Тем не менее в момент публикации книга Эриксона получила премию Американской социологической ассоциации, что обеспечило ей широкую известность и многочисленные рецензии.

Стоит кратко заметить, что для культурсоциологов «коллективная травма», в версии Кая Эрикссона, — один из важнейших референтов для концептуализации «культурной травмы». Так, Джеффри Александр пишет: «Хотя это разрывающее сердце описание последствий разрушительного наводнения для небольшого сообщества в Аппалачах тоже ограничено натуралистической точкой зрения, оно создало основу для того специфически социологического подхода, которому я следую» (Александр 2012, с. 11).

Натуралистическая точка зрения, по мысли Александера, заключается в убеждении, что именно ужасные события сами по себе оказались травмирующими для сообщества. Именно здесь проходит основной водораздел между «коллективной травмой» и «культурной

травмой». В парадигме культурсоциологии травма — это не само событие, а культурный статус, модальность, которым наделяется это событие, и данный статус позволяет сообществу выстраивать вокруг него свою идентичность: «травма есть свойство, приписываемое событию при посредстве общества» (Там же, с. 16). Такая травма манифестирует сама себя, все члены сообщества о ней знают, и, более того, такой травме нет нужды существовать в реальности в силу своей сконструированной природы. В свою очередь, в теоретической модели Эрикссона «коллективная травма» — это эмпирический факт, зафиксированный в реальности, и эту точку зрения Эрикссон будущий отстаивать и в других работах.

На социологическую концептуализацию «коллективной травмы» напрямую влияет психологическая концептуализация, которую Эрикссон называет «индивидуальной травмой», — удар по психике, который не выдерживает защитные механизмы человека (Erikson 1976, р. 132). Так, «индивидуальную травму» можно проследить в практиках (например, спать в одежде на случай, если катастрофа произойдет опять) и нарративах выживших. Индивидуальная травма является для Эрикссона главной аналогией и референтом для травмы коллективной, которая выражается в потере коммунальности, то есть «чувства сообщества». Речь идет о том, что сообщество распалось в ходе катастрофы, но заново не собралось. По сути, это продолжение дюркгеймовского концепта *homo duplex*, двойственности человека как биологического и социального существа, — но если Дюркгейм видел в этой двойственной природе почву для антагонизма (Дюркгейм 2013, с. 136), то у Эрикссона индивидуальная и коллективная травмы «гармонично» сосуществуют в одном индивиде. По мысли Эрикссона, индивидуальная травма воздействует на психологическое «Я», а коллективная — на социальное «Я».

Стоит также отметить, что отец социолога Кая Эрикссона, известный психолог и психоаналитик Эрик Эрикссон, начиная с 1950-х годов занимался «психоисторическими исследованиями». Этот подход являл одно из экспериментальных пространств для взаимодействия психоаналитической и социологической теорий в исторической перспективе и тем самым предшествовал психосоциальным исследованиям (Jacobsen 2021). Одним из последователей и ближайших учеников Эрика Эрикссона в то время был как раз психиатр Роберт Джей Лифтон, разрабатывавший психологическую теорию травмы и проводивший сессии групповой терапии с ветеранами Вьетнамской войны — его работа упоминалась в конце раздела про психологическую концептуализацию «травмы». Стоит отметить, что Лифтон, как считается, был одним из тех психиатров, которые пролоббировали включение диагноза ПТСР в DSM в 1980 году (Grant 2020). В контексте нашего случая стоит обратить особое внимание

на то, что Роберт Джей Лифтон работал как психиатр с пострадавшими от наводнения Буффало-Крик — более того, он работал на ту же защищавшую права пострадавших юридическую фирму *Arnold & Porter* (Lifton, Olsen 1976; Erikson 1976), которая наняла и социолога Кая Эрикссона. Впоследствии Эрикссон-сын и Лифтон писали в соавторстве тексты о других травмах — например, о жертвах Хиросимы и Нагасаки (Lifton, Erikson 1982). Выходит, что социологическая коллективная травма является наследником психологической концептуализации ПТСР не только в теоретическом плане, но и в контексте личных связей — как, например, и в случае с Дюркгеймом и Мессом.

С точки зрения риторики концепт «травмы» у Эрикссона напоминает скорее метафору, которая работает на противопоставлении пространства и времени. В пространственном качестве эта метафора, что интересно, относится к природе: гигантский поток воды размыл почву и оставил после себя на земле след, который Эрикссон называет «шрамом»; спустя несколько лет этот след зарос травой, завалы разрушенных домов разобраны и посторонний человек не распознает эту территорию как место катастрофы. Временная метафора относится к поведению и чувствам выживших: в их психике тоже остался «шрам», который не исчезает, несмотря на то что прошло уже несколько лет. Темпоральная природа этой метафоры также роднит «индивидуальную» и «коллективную» травму. Последняя относится к утраченному чувству коммунальности и соседства (в смысле тёnnисовского *Gemeinschaft* или дюркгеймовской механической солидарности, характерной для традиционалистских сообществ), и Эрикссон предлагает такую красивую формулировку:

«Я» продолжает существовать, хотя и поврежденное и даже, наверное, навсегда изменившееся. «Ты» продолжает существовать, хотя и как что-то далекое, с чем сложно установить контакт. Но «мы» больше не существует как взаимосвязанная пара или как связанные клетки большого общественного (*communal*) тела (Erikson 1976, p. 133).

Эрикссон относится к обществу как к организму, общественному телу — и если можно травмировать физическое тело, то, соответственно, можно травмировать и общество. Органическая метафора общества как тела в биологическом смысле, которое является не суммой индивидов, а качественно иной сущностью, безусловно, восходит к Эмилю Дюркгейму и его известному постулату: «Исходными причинами коллективных представлений, эмоций, стремлений являются не состояния сознания индивидов, а условия, в которых находится социальное тело в целом» (Дюркгейм 1991, с. 495).

В этом заключается ключевое отличие от психической травмы. Спустя полтора года после катастрофы, в ходе юридического расследования, в котором принимал участие сам Эриксон, психиатры обследовали 615 выживших после наводнения. У 570 из них (это 93%, замечает Эриксон) были диагностированы различные эмоциональные расстройства, симптомы которых — депрессия, тревожность, фобия, эмоциональная лабильность, ипохондрия, апатия, бессонница — относятся к «посттравматическому неврозу», как подчеркивает социолог (Erikson 1976, p. 134). Однако, что принципиально, «коллективная травма» относится не к сумме поставленных диагнозов у пострадавших, а именно к чувству коммунальности, происхождение которого ведет не к психическому, а к социальному. Можно сказать, что речь идет о чувстве, которое «общество... имеет в себе самом» и которое воспроизводится «посредством собрания своих членов» (Дюргейм 2018, с. 578).

Социология катастрофы (*sociology of disaster*) — направление, которое сформировалось в послевоенной американской социологии, — имела дело с дюргеймианскими по своему содержанию теоретическими проблемами — как и майнстримный американский структурный функционализм тех лет. Так, будучи направленным на практические решения таких прикладных вопросов¹, «как предотвратить катастрофу» или «как должен быть устроен кризисный менеджмент во время природной или техногенной катастрофы», это направление также работало с дюргеймовскими концептами «социального порядка», «сообщества», «нормы» и «солидарности». Как справедливо замечает социолог Гэри Крепс, «изучать катастрофы — значит изучать социальную структуру» (Kreps 1985, p. 50). Для социологов катастрофа виделась концептуальной моделью, в которой обнажаются социальные процессы, обычно скрывающиеся в рутине повседневности. Поскольку работа Эриксона находится в русле социологии катастрофы, то неудивительно, что его концептуализация «коллективной травмы» является дюргеймианской по своей сути. Если учесть, что «катастрофа» часто социологически понималась как аналог «войны» (Gilbert 1995), то решение включить психологическую концептуализацию «травмы» в варианте боевой психической травмы в социологию катастрофы не выглядит континтуитивным.

Вообще, социологически концептуализировать объект изучения — саму «катастрофу» — было особенно важной теоретической

¹ Интересно, что Кай Эриксон считает, что подлинный интерес американских властей к социологии катастрофы заключается в желании смоделировать реакцию населения на ядерную атаку (Erikson 1976, p. 209).

задачей для социологии катастрофы. Многие понимали под катастрофой то, что маркировалось таким образом властями или общественным мнением; но, например, если было предупреждение о надвигающемся урагане и поселение было полностью эвакуировано, а сам ураган прошел мимо, не нанеся материального ущерба, но нарушив рутинный порядок сообщества — можно ли считать, что катастрофа произошла с точки зрения социологической перспективы? Эталонное структурно-функционалистское определение дает социолог Чарльз Фриц, один из основоположников этого направления. Катастрофа для него — это:

...событие, сосредоточенное во времени и пространстве, в котором общество или относительно самостоятельная часть общества подвергается серьезной опасности и несет такие потери своим членам и материальному имуществу, что социальная структура нарушается и выполнение всех или некоторых основных функций общества становится невозможным (Fritz 1961, p. 655).

В тексте, написанном в том же 1961 году, но опубликованном в силу исторических обстоятельств только в конце 1990-х, Фриц уточняет, что это определение отражает идеальный тип «социетальной катастрофы» — «социетальной» в парсоновском смысле, то есть катастрофы, которая нарушает единство восприятия общественных отношений. Сам Фриц объясняет эту характеристику так, что катастрофа «нарушает функционирующие системы выживания, смысла, порядка и мотивации» (Fritz 1996, p. 21), например социальную стратификацию, так как можно предположить, что масштабная катастрофа одинаково затрагивает все социальные страты. Таким образом, катастрофа становится «референциальной структурой человеческого поведения» (*Ibid.*) и, по сути, представляет собой порядок иного рода, нежели всем привычный социальный порядок. Отсюда Фриц делает важнейший вывод: «Выжившие после катастрофы имеют возможность естественной, беспрепятственной социальной адаптации к ее последствиям, а также свободно взаимодействовать друг с другом» (*Ibid.*) — в условиях, когда социальный порядок еще не восстановлен, а точнее, пока не восстановлено единство восприятия общественных отношений. Собственно, именно с этим парадоксальным выводом, общим для классической социологии катастрофы, входят в противоречие наблюдения Эриксона о распаде сообщества после разрушительного наводнения.

Так, по сути, Чарльз Фриц возвращается к базовой гоббсианской предпосылке о естественном состоянии человека, которое традиционно ассоциируется с бесконечным насилием и отсутствием безопасности. В контексте социологии катастрофы я бы обозначил это состояние как «квазиестественное», поскольку в роли референ-

циальной структуры выступает сама катастрофа. По мысли Фрица, в этом состоянии, как ни парадоксально, наблюдается не война всех против всех, а, наоборот, солидарность, взаимовыручка и альтруизм. Это важный тезис, который социологи стремились подкрепить эмпирическими данными и наблюдениями: кажется, что катастрофа разобщает людей, но наблюдаемой реакцией сообщества на катастрофу часто являются взаимовыручка и эмоциональная солидарность. С позиции дюргеймансской парадигмы это довольно-таки контринтуитивное наблюдение, поскольку солидарность — это естественное социальное проявление, своего рода норма здорового общества-организма, которую сложно вообразить в случае, если общество начинает функционировать неадекватно или перестает функционировать вовсе.

Чтобы прояснить это, стоит обратиться к дифференциации между «катастрофой» и «нормальной жизнью», которую проводит Фриц, — она так же отсылает к различию социального и квазистатического порядков. По мысли Фрица, из этого противопоставления не следует, что «нормальная жизнь» в социальном порядке ненасильственна. «Нормальная жизнь» в несколько эсхатологическом описании Фрица полнится смертями, несчастными случаями, болезнями, межличностными и межгрупповыми конфликтами, насилием, а также общественными патологиями, которые обозначаются как «отчуждение», «бессмысленность» и «безнормность» (normlessness). Разрушения, в отличие от ситуации катастрофы, не сосредоточены во времени и пространстве, в то время как

...ни одна катастрофа мирного или военного времени в истории Америки не приносila такого совокупного количества смертей, разрушений, боли и лишений, которые переживаются за один «нормальный» день в США, но этот факт редко осознается, за исключением специалистов по страховой статистике и других хранителей демографических данных (Ibid., p. 23).

Именно так Фриц предлагает видеть «нормальную жизнь» — «естественные» социальные потребности не удовлетворяются, сужается пространство для солидарности и коммуникации, первичные группы размываются, а социальный порядок оказывается не таким уж и упорядочивающим. С помощью критики модерна Фриц и выводит теоретическое объяснение альтруистического поведения во время катастрофы: «социальная жизнь после катастрофы удовлетворяет многие базовые человеческие потребности, отсутствующие в повседневности современных обществ» (Ibid., p. 27-28). Отсюда и парадоксальный вывод социологии катастрофы, который прямо противоположен главной морали «коллективной травмы» Кая Эриксона: чтобы в полной мере проявить альтруизм и солидар-

ность — естественные социальные потребности, поддерживающие социальный порядок, — необходимо, чтобы социальный порядок прекратил на какое-то время существовать.

Различие социального и квазиестественного порядка в контексте солидарности — классический ход для социологии катастрофы. Например, социолог Аллен Бартон утверждает, что, с одной стороны, в модернистском обществе активное альтруистическое поведение — редкое явление, а с другой стороны, «большинство исследований внезапных природных катастроф отмечают высокую степень эмоциональной солидарности и взаимопомощи среди пострадавшего населения» (Barton 1969, p. 206). Чарльз Фриц предлагает концепт «терапевтического сообщества», чтобы ухватить этот феномен самоорганизации сообщества в острой кризисной ситуации. Безусловно, такая общественная реакция не является универсальной — и тот же Бартон приводит исторические примеры катастроф, в которых не возникло терапевтического сообщества, среди которых, например, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Также Роберт Мертон во введении к книге Бартона (*Ibid.*, p. xxv) отмечает, что такие ужасные примеры, как Великая депрессия и рабство в США — надо заметить, что сегодня они вполне себе претендуют на статус «культурной травмы», — концептуально и типологически являются не катастрофами (острыми кризисными ситуациями), а хроническими формами коллективного страдания. Разница заключается в том, что хроническое страдание растянуто во времени и часто остается невидимым (как и проявления структурного насилия), а катастрофа как острое переживание разворачивается *здесь и сейчас*, привлекая тем самым к себе общественное внимание.

115

Социолог Рассел Дайнес подчеркивает парадоксальность катастрофы в том, что она оказывает на сообщество как дезинтегрирующее, так и интегрирующее воздействие. Последнее связано с появлением «чрезвычайного консенсуса», основанного на альтруистических нормах (Dynes 1970, p. 204). Дайнес решает этот парадокс, сформировав предпосылку о том, что сама структура сообщества не позволяет ему быть готовым к катастрофе, даже если у этого сообщества уже был подобный опыт в прошлом. Поэтому, чтобы адекватно отреагировать на неестественную для него катастрофу, сообществу надо естественным образом дезинтегрироваться, чтобы затем интегрироваться в качественно новую структуру, в которой и формируется тот самый «чрезвычайный консенсус»; это понятие находится в одном русле с пониманием «катастрофы» как «референциальной структуры человеческого поведения» у Фрица.

Обратным примером являются размышления социолога Патрика Гарни о концепте «терапевтического сообщества» на примере прорыва дамбы на реке Титон в 1976 году, в результате которого были

разрушены близлежащие поселения, нанесен ущерб более чем на 1 млрд долларов, но погибло всего 11 человек. Для катастрофы такого масштаба это чрезвычайно малое число человеческих жертв, обусловленное оперативной самоорганизацией эвакуационных, а затем и спасательных мероприятий. По мнению Гарни, это стало возможно из-за особой социальной структуры, свойственной разрушенным поселениям, где большинство членов сообщества были мормонами (Gurney 1977). «Терапевтическое сообщество» сформировалось на основе уже существовавшей социально-религиозной структуры, которая смогла аккумулировать социальные усилия по эвакуации и оказанию медицинской и психологической помощи. При этом с пришедшими на помощь федеральными агентствами и Красным Крестом отношения у местных сообществ не складывались — вполне себе наблюдение в духе дюргеймовского тезиса, что чем сильнее социальная структура, тем сложнее в нее инкорпорироваться чужому элементу (Дюргейм 1991, с. 145). В качестве примера катастрофического события, во время которого не наблюдалось самоорганизации сообщества и слаженно спланированных эвакуационных и спасательных мероприятий, Гарни приводит как раз прорыв дамбы на Буффало-Крик, в результате которого погибло 125 человек, — несмотря на то что в обоих случаях были экстренные предупреждения о катастрофе.

Нельзя не заметить, что социологические наблюдения Кая Эриксона, для развития которых он разработал концепт «коллективной травмы», входят в противоречие с эмпирическими данными, которые были собраны другими социологами в рамках изучения катастрофы. Рецензенты, как правило, переворачивают тезис Гарни: «терапевтическое сообщество» в случае прорыва дамбы на Буффало-Крик не сложилось именно потому, что было слишком много человеческих жертв, в чем заключается и уникальность самой катастрофы (Dynes 1978, Heading 1978). Так что в случае, описанном Эриксоном, коллективная травма работает как антитерапевтическое сообщество. Сам Эриксон считает, что во время «обычной» катастрофы прежнее сообщество полностью не разрушается, поэтому «терапевтическое сообщество» как раз образуется на основе прежнего. Этого не произошло после наводнения в Буффало-Крик, поскольку было слишком много пострадавших, и спасательные работы после катастрофы проводили люди «извне», а не члены самого сообщества, столкнувшегося с разрушительными последствиями прорыва дамбы.

В социологии катастрофы есть предпосылка, сформулированная еще в определении Чарльза Фрица: катастрофу можно четко локализовать во времени и пространстве, то есть определить ее временные рамки, и в некоторых случаях даже зафиксировать момент

возвращения сообщества к «нормальной жизни». Поэтому многие социологи даже предлагали хронологические карты, состоящие из характеристики различных фаз переживания сообществом катастрофы (Quarantelli, Dynes 1985; Smith, Belgrave 1995). Так, Эриксон, безусловно, не был первым, кто обратил внимание на долгосрочные последствия катастрофы для сообщества, которое с ней столкнулось. Еще Фриц подчеркивал особую темпоральность как социальный факт, который порождается катастрофой: «Повторное исследование речного города на Среднем Западе, проведенное более чем через 15 лет после сильного наводнения 1937 года, показало, что катастрофа по-прежнему оставалась заметным фактом в жизни сообщества» (Fritz 1996, р. 69).

Тем не менее концепты «катастрофы» и «коллективной травмы» не взаимозаменяемы. Концептуальная картина Эриксона является незавершенной без предпосылки об интенциональном насилии. При этом о насилии Эриксон пишет мало, но именно эта идея — которая является также ключевой для психологической концептуализации травмы у Роберта Джая Лифтона — отличает «катастрофу» от «коллективной травмы». В рассуждениях Эриксона есть важнейшее условие — катастрофа в Буффало-Крик произошла не просто так. Ответственность за трагедию несет угледобывающая компания, чья деятельность, по мысли Эриксона, была глубоко переплетена с жизнью сообщества:

Pittston нарушил моральные обязательства, во-первых, построив ненадежную дамбу, и, во-вторых, отреагировав на катастрофу как отстраданная бюрократическая структура, озабоченная сохранением своих активов, а не как заботливый покровитель, обязанный защищать своих подопечных (Erikson 1976, р. 153).

Институциональный контекст играет ключевую роль для понимания «коллективной травмы»: безусловно, не стоит упускать из вида тот факт, что Эриксон работал на юридическую фирму, которая подготовила коллективный иск от лица пострадавших компаний, по вине которой произошел прорыв дамбы. Рассел Дайнс в своей рецензии напрямую указывает, что основными источниками Эриксона были стенограммы разговоров пострадавших с юристами: «вопросы, сформулированные для эффективного судебного процесса (дело было урегулировано за 13,5 млн долларов), могут отличаться от тех, что задали бы социологи» (Dynes 1978, р. 722). По мысли другого рецензента, отсутствие ценностно-нейтрального подхода у Эриксона приводит к тому, что как «катастрофу» можно обозначить любые травматические события, будь то принудительное переселение коренных народов США или программы городской реновации, в ходе

которой целые районы подвергаются разрушениям (Heading 1978).

Так «катастрофа» из наблюдаемого феномена становится метафорой — примерно то же впоследствии произошло и с «травмой». Таким образом, институциональные условия, в которых было разработано понятие «коллективной травмы», предопределяют наличие в этой «травме» субъекта насилия — в данном случае это угольно-добывающая компания, которая не обеспечила должное техническое обслуживание дамбы. Изначальное присутствие субъекта насилия, в свою очередь, отсылает к классическому пониманию насилия. Недаром Эриксон цитирует нарративы пострадавших, в которых действия компании характеризуются как «убийство», и объясняет их с помощью своеобразной мифологической метафоры: «отец» (компания Pittston) опустошает мать-землю и совершает «детоубийство» по отношению к местным сообществам (Erikson 1976, p. 155).

Наряду с этим, с теоретической точки зрения идея насилия существует в самой концептуализации «коллективной травмы», но с позиции специфической дюркгеймианской парадигмы. Считается, что Дюркгейм не занимался темой насилия в традиционном смысле (см.: Gane 2010). Например, преступность, которая традиционно обозначается в социологии как проявление насилия, Дюркгейм не считал насилием с точки зрения социальной нормы:

Исходя из того факта, что преступление гнусно и вызывает отвращение, здравый смысл ошибочно заключает, что оно должно совершенено исчезнуть. Склонный к упрощению, он не понимает, что явление, вызывающее отвращение, вместе с тем может иметь некоторое полезное основание. <...> Разве в организме нет весьма непривлекательных функций, правильное направление которых необходимо, однако, для здоровья индивида? (Дюркгейм 1995, с. 24).

Насилие для Дюркгейма заключается как раз в разрушении самой социальной нормы, и эта интерпретация очень близка модели «коллективной катастрофы». Так, Эриксон характеризует «коллективную травму» как состояние «деморализации» (Erikson 1976, p. 171) — потери личной морали и чувства общественной морали. По сути, Эриксон фиксирует состояние, которое Дюркгейм бы назвал аномией — социальной патологией, выражаящейся в отсутствии солидарности, вследствие чего новые нормы нерабатываются. Если самоубийство может быть следствием аномии — «если разрываются узы, соединяющие человека с жизнью, то это происходит потому, что ослабла связь его с обществом» (Дюркгейм 1994, с. 193) — то почему диагностированные у пострадавших эмоциональные расстройства не могут быть подспудно вызваны аномией? Таким образом, если классическая социология катастрофы — еще начиная с Чарльза Фрица — заметно трансформировала изначальный аргумент Дюрк-

гейма, то «коллективная травма» Эриксона оказывается реставрацией дюркгеймианского видения насилия.

Аномия, как фиксирует Эриксон, также сопровождалось ощущением того, что окружающие люди после катастрофы утратили мораль. Это прослеживается в нарративе одной из выживших, которая жила в трейлерном лагере после катастрофы:

Там творилось всякое дурное <...>. Мужчины ходят к чужим женам. И пьяники. Они в подковы прямо у моего трейлера играли, и при фоне до четырех-пяти утра. Я утром встану — и пивных банок насобираю, пока аж тошно не станет. Потоп что-то с людьми сделал, вот в чем дело. Он людей изменил. Хорошие люди плохими стали. Им больше ничего не важно (Erikson 1976, p. 174).

Привычная и рутинная жизнь сообщества — особенно традиционалистского, которое описывает Эриксон, — вписывает практики, которые могут предаваться осуждению, в более широкую общественную ткань. Поэтому аномия в классическом дюркгеймианском понимании относится не к количественному росту поведения, которое считывается как аморальное, а именно в нарушении социального порядка, который вбирает в себя поведение такого рода. Собственно, картина жизни после катастрофы, которую рисует Эриксон, напрямую отсылает к гоббсианскому естественному порядку: «Каждый, кажется, вглядывается в море незнакомых лиц и чувствует, что там притаилось изрядное количество зла» (*Ibid.*, p. 176).

Итак, для Эриксона, как и для Фрица, концепты «коллективной травмы» или «катастрофы» имеют дело в первую очередь с идеями о социальном и естественном порядке. Но если для Фрица ситуация катастрофы — это квазистроительный порядок, который создает референциальную структуру для альтруистического поведения, то Эриксон воспроизводит эту идею в том же традиционном варианте, что и в модели Дюркгейма: «Пусть исчезнет социальная жизнь, и тотчас же, не имея точки опоры, исчезнет жизнь моральная. Естественное состояние... если не безнравственно, то, по меньшей мере, не нравственно» (Дюркгейм 1991, с. 370).

Следствием этого стало то, что, по мысли Эриксона, пострадавшие в ходе наводнения живут в мире насилия — если, вслед за Дюркгеймом и Гоббсом, видеть в насилии противоположность социального, которое характеризуется нормами и солидарностью. По сути, носитель коллективной травмы — это антипод Робинзона Крузо, так как он живет в социальном порядке, но без идеи об обществе. Таким образом, «насилие» у Эриксона понимается как в классическом смысле, когда есть субъект насилия (в лице угледобывающей компании), так и в дюркгеймианском смысле аномии и обществен-

ной деморализации. Собственно, этой приверженностью дюркгеймианской традиции и объясняется несколько утопический — не в смысле вымыселности — характер картины, которую рисует Эриксон в своей книге. Благодаря своему утопизму кейс катастрофы в Буффало-Крик теперь прочно ассоциируется с концептом «коллективной травмы».

Заключение

Железнодорожные катастрофы в 1860-х гг. дали начало психологической концептуализации травмы, которая исходила из предпосылки, что если можно травмировать тело с помощью внешнего удара, то так же можно травмировать и психику. С началом Первой мировой войны фокус сместился, и клинические материалы, связанные с травмой, осмыслились в контексте военного опыта — такие исследователи, как Герман Оппенгейм, стремились ухватить то, что впоследствии стало именоваться «боевой психической травмой» или «посттравматическим стрессовым расстройством». Психологическая концептуализация травмы с самого зарождения формировалась под влиянием социально-экономических факторов и дебатов о страховых выплатах пострадавшим и пенсиях для комбатантов. Благодаря этим дискуссиям психологическая концептуализация травмы приобрела этическое измерение, связанное с проблематикой вины, личной ответственности, симуляции и воинского долга. После Вьетнамской войны этическое измерение травмы было связано с проблематикой субъекта насилия и вины, на что обращал внимание психиатр Роберт Джей Лифтон, работавший с американскими комбатантами. Эта проблематика субъекта насилия и субъекта травмы и была унаследована социологической концептуализацией «коллективной травмы», которую разработал социолог Кай Эриксон, ориентируясь на опыт Лифтона, с которым он был знаком и даже вместе работал.

Модель «коллективной травмы» была предложена Эриксоном в рамках дюркгеймианской социологии катастрофы на примере разрушительного наводнения в Буффало-Крик, которое привело к многочисленным жертвам и полному уничтожению нескольких поселений. На этом примере Эриксон наблюдал то, что он обозначил как «коллективную травму»: полный распад сообщества, тотальное разрушение социальных связей. Так, социологическая концептуализация продолжала логику психологической: если можно травмировать психику (индивидуальная травма), то можно травмировать и социальное «Я» (коллективная травма). Впрочем, эти наблюдения шли вразрез с парадоксальным на первый взгляд тезисом, который отстаивали другие представители социологии катастрофы: рас-

пространенной наблюдаемой реакцией сообщества на катастрофу, в ходе которой нарушился устоявшийся социальный порядок, был рост солидарности, взаимопомощи и альтруизма.

Этот тезис, в свою очередь, противоречил классическому представлению Дюркгейма о том, что альтруизм и солидарность являются определяющими характеристиками социальности, социального порядка, «совокупност[и] уз <...>, создающих из массы индивидов единый связный агрегат» (Дюркгейм 1996, с. 406). Ситуация распада, пусть и временного, связного агрегата — а именно так конвенциально описывается ситуация катастрофы — в логике Дюркгейма не может приводить к нравственности и солидарности, а, наоборот, к состоянию, в котором социальные нормы перестают функционировать. Как утверждал сам Дюркгейм:

Нравственность во всех своих степенях встречается только в общественном состоянии и изменяется только как функция социальных условий. Спрашивать себя, чем бы она могла быть, если бы общество не существовало, значило бы выйти из области фактов и вступить в область неосновательных гипотез и фантазий, которые невозможно проверить (Там же, с. 407–408).

121

Однако эмпирические данные, собранные такими представителями социологии катастрофы, как Чарльз Фриц, Аллен Бартон, Энрико Карапелли, Рассел Дайнс и др., наоборот, демонстрировали рост солидарности, который концептуально обозначался как «терапевтическое сообщество» или «чрезвычайный консенсус». Чарльз Фриц теоретически обосновал этот феномен тем, что в момент распада социального порядка и привычного сообщества сама катастрофа представляла собой референциальную структуру, на фоне которой разворачивались альтруистические действия. Это не было торжество естественного порядка и «война всех против всех», это было образование квазистабильного порядка, в условиях которого формировалось сообщество нового типа, для которого были характерны усилия, направленные на поддержание социальной устойчивости.

Чтобы объяснить тотальный распад социальных связей после наводнения в Буффало-Крик, Кай Эриксон представляет катастрофу не как временную референциальную структуру, а как «коллективную травму». Ему удается осуществить этот переход, связав «травму» и «насилие», благодаря импорту из психологической концептуализации травмы субъекта насилия (в виде угледобывающей компании), а также реанимации изначального дюркгеймианского аргумента о насилии как о социальной аномии. По сути, модель Эрикsona синтезировала два понимания насилия, классическое и дюркгеймианское, и наводнение в Буффало-Крик из безличной катастрофы превратилось в коллективную травму.

Финансирование / Funding

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 25-18-00901.

The article was prepared within the framework of the RSF project No. 25-18-00901.

Список источников / References

Александр Дж. (2012) Культурная травма и коллективная идентичность. *Социологический журнал*, (3), с. 5–40. EDN: PELCHZ

— Alexander J. (2012) Cultural trauma and collective identity. *Sociological Journal*, (3), pp. 5–40. (in Russ.)

Арендт Х. (2014) *О насилии*. М.: Новое литературное издательство.

— Arendt H. (2014) *On violence*. Moscow: Novoe literaturnoe izdatelstvo. (in Russ.)

Дюркгейм Э. (1991) *О разделении общественного труда. Метод социологии*. М.: Наука.

— Durkheim E. (1991) *On the division of social labor. The method of sociology*. Moscow: Science. (in Russ.)

Дюркгейм Э. (1994) *Самоубийство. Социологический этюд*. М.: Мысль.

— Durkheim E. (1994) *Suicide: A study in sociology*. Moscow: Mysl'. (in Russ.)

Дюркгейм Э. (1995) *Метод социологии*. В: Социология. Ее предмет, метод и предназначение. М.: Канон.

— Durkheim E. (1995) *The method of sociology*. In: Sociology. Its subject, method, and purpose. Moscow: Kanon. (in Russ.)

Дюркгейм Э. (2013) Дуализм человеческой природы и его социальные условия. *Социологическое обозрение*, 12(2), pp. 133–144. EDN: QZVESP

— Durkheim E. (2013) The dualism of human nature and its social conditions. *Russian Sociological Review*, 12(2), pp. 133–144. (in Russ.)

Дюркгейм Э. (2018) *Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии*. М.: Элементарные формы.

— Durkheim E. (2018) *The elementary forms of religious life: The totemic system in Australia*. Moscow: Elementarnye formy. (in Russ.)

Гольман В. (1934) *Неврозы военного времени*. В: Психозы и психоневрозы войны. М., Л.: Ленбиомедгиз.

— Golman V. (1934) War neuroses. In: Psychoses and psychoneuroses of war. Moscow, Leningrad: Lenbiomedgiz. (in Russ.)

Осипов В. (1934) *Введение*. В: Психозы и психоневрозы войны. М., Л.: Ленбиомедгиз.

— Osipov V. (1934) *Introduction*. In: Psychoses and psychoneuroses of war. Moscow, Leningrad: Lenbiomedgiz. (in Russ.)

Сукиасян С. Г., Солдаткин В. А., Снедков Е. В., Тадевосян М. Я., Косенко В. Г. (2019) Боевое посттравматическое стрессовое расстройство: от «синдрома раздраженного сердца» до «психогенно-органического расстройства». Эволюция поня-

тия. *Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова*, 119(6), с. 144–151. EDN: NREHXB. <https://doi.org/10.17116/jnevro2019119061144>

— Sukiasyan S. G., Soldatkin V. A., Snedkov E. V., Tadevosyan M. Ya., Kosenko V. G. (2019) Combat post-traumatic stress disorder: From “irritable heart syndrome” to “psychogenic-organic disorder”. Evolution of the concept. *Zhurnal Nevrologii i Psichiatrii Imeni S. S. Korsakova*, 119(6), pp. 144–151. (in Russ.) <https://doi.org/10.17116/jnevro2019119061144>

Шумков Г. (1914) Душевное состояние воинов после боя. *Военный сборник*, (11), с. 103–127.

— Shumkov G. (1914) The mental state of warriors after the battle. *Voenniy Sbornik*, (11), pp. 103–127. (in Russ.)

Abrutyn S. (2024) The roots of social trauma: Collective, cultural pain and its consequences. *Society and Mental Health*, 14(3), pp. 240–256. <https://doi.org/10.1177/21568693231213088>

Alford C. F. (2016) *Trauma, culture, and PTSD*. Springer.

Barton A. H. (1969) *Communities in Disaster: A Sociological Analysis of Collective Stress Situations*. New York: Anchor Books, Doubleday & Company, Inc.

Blocker T. J., Sherkat D. E. (1992) In the Eyes of the Beholder: Technological and Naturalistic Interpretations of a Disaster. *Industrial Crisis Quarterly*, 6(2), pp. 153–166. <https://doi.org/10.1177/108602669200600206>

Britt L., Hammett W. H. (2024) Trauma as Cultural Capital: A Critical Feminist Theory of Trauma Discourse. *Hypatia*, 39(4), pp. 916–933. <https://doi.org/10.1017/hyp.2024.22>

Coady C. A. J. (1985) The idea of violence. *Philosophical Papers*, 14(1), pp. 1–19. <https://doi.org/10.1080/05568648509506233>

Degenaar J. J. (1980) The concept of violence. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 7(1), pp. 14–27. <https://doi.org/10.1080/02589348008704765>

Dynes R. R. (1970) *Organized behavior in disaster*. Heath Lexington Books.

Dynes R. R. (1978) [Review of the book Everything in its Path. Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood by Kai Erikson]. *Social Forces*, 57(2), pp. 721–722.

Erikson K. (1976) *Everything in its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood*. New York: Simon and Schuster.

Erikson K. (1991) Notes on Trauma and Community. *American Imago*, 48(4), pp. 455–472.

Fritz C. (1961) *Disaster*. In: Merton R. K., Nisbet R. A. (Eds.) *Contemporary Social Problems*. New York: Harcourt, Brace and World.

Fritz C. (1996) *Disasters and Mental Health: Therapeutic Principles Drawn from Disaster Studies*. Disaster Research Center, Historical and Comparative Disaster Series #10. URL: <https://udspace.udel.edu/items/0e4bf49b-f7a0-4feb-916d-8ada6367431b/>

Gane M. (2010) Durkheim’s theory of violence. In: Mukherjee S. R. (Ed.) *Durkheim and Violence*. Blackwell Publishing Ltd.

Gilbert C. (1995) Studying Disaster: A Review of the Main Conceptual Tools. *International Journal of Mass Emergencies & Disasters*, 13(3), pp. 231–240. <https://doi.org/10.1177/028072709501300302>

Good B.J., Hinton D.E. (Eds.) (2016) *Culture and PTSD: Trauma in global and historical perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Grant L. (2020) Post-Vietnam syndrome: Psychiatry, anti-war politics, and the reconstitution of the Vietnam veteran. *Rhetoric of Health & Medicine*, 3(2), pp. 189–219. <https://doi.org/10.5744/rhm.2020.1007>

Gurney P. (1977) *The therapeutic community revisited: Some suggested modifications and their implications*. University Of Delaware Disaster Research Center, Preliminary paper № 39. <http://udspace.udel.edu/handle/19716/409>

Haslam N., McGrath M.J. (2020) The Creeping Concept of Trauma. *Social Research: An International Quarterly*, 87(3), pp. 509–531. <https://doi.org/10.1353/sor.2020.0052>

Heading B. (1978) [Review of the book Everything in its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood by Kai T. Erikson]. *Journal of American Studies*, 12(1), pp. 141–144.

Holdorff B. (2011) The Fight for “Traumatic Neurosis”, 1889–1916: Hermann Oppenheim and his Opponents in Berlin. *History of psychiatry*, 22(4), pp. 465–476. <https://doi.org/10.1177/0957154X10390495>

Jacobsen K. (2021) The devil his due: Psychohistory and psychosocial studies. *Journal for the Psychoanalysis of Culture & Society*, 26(3), pp. 304–322. <https://doi.org/10.1057/s41282-021-00223-7>

124

Kansteiner W. (2004) Genealogy of a Category Mistake: A Critical Intellectual History of the Cultural Trauma Metaphor. *Rethinking history*, 8(2), pp. 193–221. <https://doi.org/10.1080/13642520410001683905>

Kloocke R., Schmiedebach H., Priebe S. (2005) Psychological Injury in the Two World Wars: Changing Concepts and Terms in German Psychiatry. *History of Psychiatry*, 16(1), pp. 43–60. <https://doi.org/10.1177/0957154X05044600>

Kreps G. A. (1985) Disaster and the social order. *Sociological Theory*, 3(1), pp. 49–64. <https://doi.org/10.2307/202173>

LaCapra D. (2001) *Writing history, writing trauma*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Langer P. et al. (2023) *Trauma concepts in research and practice: An Overview*. Springer.

Lerner P. (2003) *Hysterical men: War, Psychiatry, and the Politics of Trauma in Germany, 1890–1930*. Cornell University Press.

Leys R. (2000) *Trauma: A genealogy*. University of Chicago Press.

Lifton R.J., Olson E. (1976) The human meaning of total disaster: The Buffalo Creek experience. *Psychiatry*, 39(1), pp. 1–18. <https://doi.org/10.1080/00332747.1976.11023872>

Lifton R.J., Erikson K. (1982) Survivors of nuclear war: psychological and communal breakdown. In: Chivian E., Chivian S., Lifton R.J., Mack J.E. (Eds.) *Last Aid: The Medical Dimensions of Nuclear War*. San Francisco: WH Freeman.

Malešević S. (2010) How pacifist were the founding fathers?: War and violence in classical sociology. *European Journal of Social Theory*, 13(2), pp. 193–212. <https://doi.org/10.1177/1368431010362298>

- Moghimi Y. (2012) Anthropological discourses on the globalization of posttraumatic stress disorder (PTSD) in post-conflict societies. *Journal of Psychiatric Practice*, 18(1), pp. 29–37. <https://doi.org/10.1097/01.pra.0000410985.53970.3b>
- Quarantelli E. L., Dynes R. R. (1985) *Community response to disasters*. In: Sowder B. (Ed.) Disasters and mental health: Selected contemporary perspectives. National Institute of Mental Health.
- Rezaeian M. (2013) The Association Between Natural Disasters and Violence: A Systematic Review of the Literature and a Call for More Epidemiological Studies. *Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences*, 18(12), pp. 1103–1107.
- Sardoč M., Coady C. A. J. (2019) Re-thinking violence: an interview with C. A. J. Coady. *Critical Studies on Terrorism*, 12(4), pp. 735–747. <https://doi.org/10.1080/17539153.2019.1651926>
- Smith K. J., Belgrave L. L. (1995) The reconstruction of everyday life: Experiencing Hurricane Andrew. *Journal of Contemporary Ethnography*, 24(3), pp. 244–269. <https://doi.org/10.1177/089124195024003001>
- Summerfield D. (2001) The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a psychiatric category. *BMJ*, 322(7278), pp. 95–98. <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7278.95>
- Tilly C. (1992) *Coercion, capital, and European states, AD 990–1992*. Oxford: Blackwell.
- Weil S. (2005) The Power of Words. In: *An Anthology*. London: Penguin Books.
- Young A. (1997) *The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder*. Princeton University Press.

125

Об авторе / About the author

Бочков Дмитрий Андреевич — MA in Sociology and Social Anthropology, исследователь в центре медицинской антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, Российская Федерация; докторант департамента социальных наук Université catholique de l’Ouest, Анже, Франция. Научные интересы: социология знания, медицинская антропология, история философии, история психоанализа.

<https://orcid.org/0000-0003-3228-0708>. E-mail: dimitr.bochkov@gmail.com

Dmitry A. Bochkov — MA in Sociology and Social Anthropology, is a researcher at the Center for Medical Anthropology at the N. N. Miklouho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation; and a doctoral candidate in the Department of Social Sciences at the Université catholique de l’Ouest, Angers, France. His research interests include the sociology of knowledge, medical anthropology, the history of philosophy, and the history of psychoanalysis.

<https://orcid.org/0000-0003-3228-0708>. E-mail: dimitr.bochkov@gmail.com

Насилие и травма как «слабые» концепты (в перспективе глоссематики)

Иннокентий А. Мартынов

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669/>

Рекомендация для цитирования:
Мартынов И. А. (2025) Насилие и травма как «слабые» концепты (в перспективе глоссематики).
Социология власти, 37 (3): 126-154
EDN: OJWLGN

For citation:
Martynov I. A. (2025) Violence and Trauma as “Weak” Concepts (in the Perspective of Glossematics).
Sociology of Power, 37 (3): 126-154

126

Поступила в редакцию: 28.05.2025;
принята к рецензированию: 04.07.2025;
принята в печать: 11.07.2025
Received: 28.05.2025; Revised:
04.07.2025; Accepted: 11.07.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: В статье исследуется переплетение «насилия» и «травмы» в качестве так называемых «слабых» концептов. Не всегда ясно, чем акты, которые определяются как «насильственные», похожи друг на друга и отличаются от других схожих форм поведения. Насилие тесно связано с другим «сложным» концептом — травмой. Он образован метафорическим образом и происходит из связи исходного медицинского понятия травмы с некоторой формой насилия как прикладываемой к телу силы, имеющей деструктивные эффекты. Схожим образом с тем, как это устроено для «насилия», границы концепта «травмы» определяются слабо: чем она похожа и отличается от события, запускающего невротический симптом или способствующего декомпенсации психотического больного, и почему только травма получила отдельное концептуальное оформление? Опираясь на глоссематику Луи Ельмслева, автор показывает, что на самом деле оба рассматриваемых концепта функционируют как рекурсивные семиотические системы, в которых наложение уровней рекурсии и ослабление межэлементных связей ведет к снижению аналитической точности и росту системной энтропии. Обращаясь к классической психоаналитической психопатологии и современным эмпирическим данным, статья ре-артикулирует концепт травмы. Его ядро заключается в ослаблении функций «Я», в особенности функции темпорализации, а не в эффекте некоторой формы насилия. В тексте демонстрируется, что снижение рекурсивных переплетений — в первую очередь разрыв метафорической связки с насилием — позволяет превратить травму в более «сильный» и ин-

струментализируемый концепт. Таким образом, этот текст преследует двойную демонстрационную задачу. Во-первых, гlosсематически иллюстрировать, на примере «насилия» и «травмы», как устроены «слабые» и «сильные» концепты. Во-вторых, показать, как гlosсематика может использоваться не только как аналитический, но и как креативный инструмент для производства инструментализируемых концептов.

Ключевые слова: травма, насилие, рекурсивные семиотики, гlosсематика, шенноновская энтропия, психоанализ

Violence and Trauma as “Weak” Concepts (in the Perspective of Glossematics)

Innokentiy A. Martynov

Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669/>

Abstract: This paper interrogates the conceptual entanglement of ‘violence’ and ‘trauma’ as so-called weak concepts. Rarely is it evident what acts designated as ‘violent’ have in common, nor how they differ in a principled way from related behaviors. Violence is intimately linked to another ‘problematic’ concept: trauma. The latter is constructed metaphorically, historically deriving from a medical notion of trauma as an injury — the application of force upon the body with destructive effects — and thus remains tethered to an idea of violence through figurative association. In a manner akin to violence, the boundaries of the concept of trauma are themselves elusive: it is frequently unclear what differentiates trauma from other events that might trigger a neurotic symptom or provoke decompensation in a psychotic patient, and why only trauma has been granted a distinct conceptual identity. Drawing on Hjelmslev’s glossematics, it is argued that both ‘trauma’ and ‘violence’ function as recursive semiotic systems in which compounding layers of recursion and weakened inter-element connections diminish analytic precision and raise systemic entropy. Through a return to classical psychoanalytic psychopathology and a critical analysis of recent empirical data, the study re-articulates trauma: its core lies not in the effects of some form of violence, but in the weakening of ego functions — most notably, temporalization. The article demonstrates that by reducing these recursive entanglements — particularly the metaphorical conflation with violence — trauma may be rendered a stronger, more operationally robust concept. Accordingly, the text serves a dual demonstrative purpose: first, it offers a glossematic illustration — using ‘violence’ and ‘trauma’ as paradigmatic examples — of how weak and strong concepts are structured; and second, it shows how glossematics may be employed not only as an analytic resource but also as a creative instrument for the production of concepts capable of operationalization in research and practice.

127

Keywords: trauma, violence, recursive semiotics, glossematics, Shannon’s entropy, psychoanalysis

Введение

Сегодня концепт насилия успешно присвоили себе очень разные дисциплины — социология, психология, философия, юриспруденция и даже медицина¹. Закономерно, что он остается без какого-то более-менее консенсусного определения. Часто его определяют через его эффекты. Речь идет не только о простом физическом или эмоциональном вреде, но и о различных скрытых, структурных, символических и даже эпистемологических механизмах². Не всегда ясно, чем акты, характеризованные как «насильственные», похожи друг на друга и чем отличаются от других схожих форм поведения, связанных с деструктивностью или доминированием. Эта проблема по-разному решается в разных дисциплинах, и можно сказать, что границы между разными формами деструктивного поведения размыты (Hamby 2017). В этом контексте я предлагаю посмотреть на насилие как на скорее инструментальный, контекстуальный концепт, чем конкретный феномен.

Сегодня в социальных науках насилие тесно связано с другим «сложным» концептом — травмой. В отличие от насилия, «травма» — это понятие, образованное метафорическим образом. Этот процесс можно представить в виде нескольких последовательных преобразований. Я предполагаю, что исходной точкой здесь является медицинское понятие травмы как «совокупности местных повреждений тканей и органов, вызванных внешней силой» (Большой энциклопедический словарь), или самого действия по причинению таких повреждений (Larousse). Метафорическое представление о психике человека как особенном «органе» (подробнее см.: Sayed, Jacob 2024) позволило осуществить перенос концепта травмы. Таким образом, набор характерных поведенческих симптомов у людей, переживших некоторый интенсивный негативный опыт³, также

1 Всемирная организация здравоохранения признает насилие одной из проблем общественного здоровья и определяет насилие как «намеренное использование — реальное или угрожаемое — физической силы или власти против самого себя, другого лица, группы лиц или какого-то сообщества, причиняющее либо с большой вероятностью способное причинить увечья, психологические травмы, привести к смерти, вызвать трудности в развитии или лишения» (ВОЗ 2002, с. 3).

2 См. обзор различных попыток такого концептуального расширения в (Hassanally 2018; Koot et al. 2025).

3 Ср., например, такое определение: «Психическая травма, совокупность психических или психосоматических расстройств, случайно вызванных воздействием внешнего фактора на субъекта» (Larousse).

концептуализировали как травму¹. Такая концептуализация позволила врачам из первого поколения психоаналитиков существенно продвинуться в понимании психопатологии этого состояния после Первой мировой войны, а позже, на этой основе, существенно его расширить после Второй мировой.

Как бы ни был этот метафорический перенос полезен, я предполагаю, что в понятии травмы существует слабое место. Вероятно, оно происходит из связи исходного медицинского понятия травмы с некоторой формой насилия как прикладываемой к телу силы, имеющей деструктивные эффекты. Как обычно происходит травмирование? Представим два модельных случая в контексте принципов биомеханики мягких тканей (Smit, Strong 2020). Качество приложения силы может оставаться одним и тем же — например, оказанием давления на участок тканей. В одном случае произойдет повреждение тканей, во втором нет. Это будет определять количество приложенной к воздействию силы. В нормальных условиях при приложении к той или иной части организма силы, превосходящей определенное количество, травмирование происходит в каждом случае. В случае с психологической «травмой» все обстоит немного иначе. Интенсивный негативный опыт в одном случае может привести к развитию характерных поведенческих симптомов. В другом случае аналогичное внешнее воздействие на психику индивида не вызовет никаких патологических проявлений.

Все усложняется еще сильнее, если мы зададимся следующим вопросом: почему возникает необходимость в таком концепте, как «травма», учитывая, что многие другие интенсивные события и переживания, оказывающие существенный эффект на индивида, не получают отдельной концептуализации? Почему возникает необходимость говорить о «травме», но, например, событие, запускающее невротический симптом или способствующее декомпенсации психотического больного, не получило отдельного концептного оформления? Я предполагаю, что «травма», как и «насилие», — это не феномен, а концепт, который при более пристальном рассмотрении оказывается достаточно «слабым», то есть системой, в которой отношения внутренних семиотических элементов «ослабеваются» из-за наслоений рекурсивности.

Будет непрагматично сказать, будто «нет никакой травмы». Трудно в угоду философской последовательности отрицать существова-

1 Такой «метафорический перенос» из хирургии в поведенческую медицину был впервые предложен немецким неврологом Германом Оппенгеймом в 1889 году и впервые formalизован в том виде, в котором он принят в современной западной психиатрии, Зигмундом Фрейдом в 1895 году (Efstratiou 2010).

ние все более настойчиво вторгающегося в обыденную жизнь психопатологического феномена. Даже если, строго говоря, мы не можем признать существование «травмы» как травмы и все, что нам остается, — это констатировать ее бытийствование как контекстуального концепта (если не сказать, дискурсивного симулякра¹), одно это никак не поможет нам достичь выполнения реальных задач. В этом тексте я предлагаю подойти к проблеме «слабого» концепта с точки зрения некоторых идей современного американского прагматизма. Под этим я подразумеваю такой подход, в рамках которого концепт осмысливается как прагматический инструмент. Прагматизм отвергает спекулятивные теории познания в пользу подхода, где знание оценивается по его полезности и способности влиять на реальность через созидание, экспериментирование и применение. Это не пассивное наблюдение, а активный конструктивный процесс, где теории выступают инструментами для решения задач (подробнее см.: Woodward 2023)².

В этом тексте на примере «насилия» и «травмы» я попробую представить, во-первых, понятие «слабого» концепта как рекурсивной семиотики и, во-вторых, «сильного» концепта как операционального допущения с точки зрения семиологии Луи Ельмслева (глоссе-

1 То, что я здесь описываю, иллюстрирует одну из ключевых проблем семиологии — проблему связи знака и референта. Жан Бодрийяр предполагает, что такого рода знаки, утратившие связь с референтом, выявляют напряжение онтологического различия между реальным и его репрезентациями. Он выстраивает новую метафизическую систему, где посредством ряда операций знак все сильнее отделяется от актуальной реальности. В конце концов, он становится не связан ни с какой реальностью, а вместо этого создает свою собственную гиперреальность. Такая рамка в случае анализируемого мной концепта травмы мне кажется нерелевантной по следующей причине. Бодрийяр натурализует дефект знака: да, у него нет актуального референта, но это вовсе и не плохо, это часть естественного механизма симуляции. Для этого ему необходимо было не просто вынести референт за скобки, но полностью изъять его из семиологии. Здесь кроется изъян, который затрудняет анализ такого рода знаков. Несмотря на то что референт якобы изымается из семиологии, он продолжает присутствовать негативным образом: через отрицание референта модель так или иначе вынуждена постоянно к нему возвращаться (см.: Genosko 1994).

2 Я предлагаю сфокусироваться на следующих ключевых принципах такого подхода. Во-первых, это континuum целей и средств (ends-means continuum), подчеркивающий, что методы и концепты должны быть адекватны поставленным задачам и подлежать постоянной корректировке. Во-вторых, это инструментализация, где валидность концепта определяется его возможностью способствовать прагматическим целям (например, прогнозированию, объяснению или творческому синтезу), а не абстрактной истиной (см.: Woodward 2023).

матики). Под «слабым» я, соответственно, буду понимать концепт, устроенный как рекурсивная семиотика (понятие Ельмслева), в которой ослаблены связи между элементами и, как следствие, повышена мера внутренней энтропии. Тем не менее прагматичным представляется допущение, что с такими концептами необходимо работать в направлении снижения этой энтропии: наиболее простой шаг здесь — минимизация наслоений рекурсивности (поскольку собственно нерекурсивность, вероятно, недостижима). В частности, в случае семиотики «травмы» таким шагом будет изъятие из нее аспектов иной рекурсивной семиотики — «насилия». Далее я предложу один из возможных способов осуществления подобного «усиления». Для этого я предлагаю вернуться к классической психопатологии «травматического» невроза и взглянуть в этом контексте на современные данные. При таком смещении фокуса ядро состояния, именуемого сегодня «травмой», предстает уже не как непосредственный эффект той или иной формы насилия, а как ослабление «Я» и его функций. На этом примере я продемонстрирую, как изъятие аспектов другой рекурсивной семиотики — «насилия» — и «усиление» связей между элементами внутри семиотики позволяет получить более «сильный», строгий описательный концепт. Пример «травмы» демонстрирует креативный потенциал прагматического подхода к гlosсематике. Снижение энтропии в семиотике повышает инструментализируемость концепта для созидательных задач актуальной реальности.

Таким образом, данный текст преследует двойную демонстрационную задачу. Во-первых, гlosсематически иллюстрировать на примере «насилия» и «травмы», как устроены «слабые» и «сильные» концепты. Во-вторых, показать, как гlosсематика может использоваться не только как аналитический, но и как креативный инструмент для производства инструментализируемых концептов. Используя этот инструмент, я предлагаю уточнить концепт «травмы» и в заключение предлагаю наметить возможную область инструментализации уточненного концепта.

Гlosсематическая модель Ельмслева

Я предполагаю, что более адекватной объекту моего размышления будет семиологическая модель, сильно контрастирующая с широко известной метафизической семиологией Бодрийяра. Это антиметафизическая модель гlosсематики датского лингвиста Луи Ельмслева, известная гораздо меньше. Ельмслев предложил собственную семиологическую модель — гlosсематику, — действуя в духе структурного проекта Фердинанда Соссюра. Он исходит из базовой материалистической (по определению самого Ельмслева) предпо-

сылки: референт не имманентен знаку, и поэтому его включение в глоссематический (семиологический) анализ невозможно (см.: Hjelmslev 1969, p. 47). Проблема референта для глоссематики — это нерелевантная проблема метафизики, не относящаяся к собственно семиологии. Поскольку проблема отношения с референтом для глоссематики не стоит, для нее не существует никакой «иерархии» знаков — все они одинаково доступны для анализа без дополнительных аналитических допущений или надстроек (таких как концепции симуляции, необходимой для анализа знаков без актуального референта, вроде «травмы»). Глоссематическому анализу доступна любая семиотическая система.

Со строго глоссематической точки зрения консистентность семиотической системы (или, как называет это сам Ельмслев, семиотики) обеспечивается внутренними отношениями различия между ее элементами. Глоссематическая модель, вынося за скобки актуальную реальность, позволяет анализировать сложные многослойные структуры значения, которые другие семиологические модели игнорируют, упаковывая их в концепцию референции. Так, в глоссематике достаточно разработаны семиотические системы второго порядка, описывающие ситуации, в которых целая денотативная семиотика становится планом выражения для другой семиотики — как, например, в объектно-ориентированных языках программирования.

Глоссематика предлагает следующую модель семиотической системы (далее — семиотики). Любая семиотика представляет собой совокупность отношений детерминации разного типа между гетерогенными элементами. В качестве аналитического допущения мы можем провести в семиотике ряд структурных различий (артикуляций). Наиболее фундаментальное из них — это разделение на два плана: выражения и содержания, или первая артикуляция (рис. 1).

Это разделение — сугубо операциональное. На самом деле выражение и содержание определяются только в отношении взаимной солидарности (то есть один не может существовать без другого). Это не две отдельных сущности, но элементы функции-знака. Выражение и содержание не существуют до знака, позже в нем как бы соединяясь (как это работает в случае означающего и означаемого в соссюровской семиологии). Скорее, выражение и содержание одновременно устанавливаются самой функцией-знаком (*Ibid.*, p. 58). Можно проиллюстрировать это по аналогии с листом бумаги: передняя (выражение) и задняя (содержание) сторона листа отличны друг от друга, но тем не менее нельзя разрезать одну, не разрезав другой. Они взаимно необходимы — или, как это называет Гваттари, являются взаимной предпосылкой друг друга (цит. по: Genosko 2002,

р. 159)¹. Планы выражения и содержания не симметричны и не изоморфны. Это значит, что структура плана выражения не повторяет структуру плана содержания. Анализ минимальных единиц выражения не предполагает соответствующий набор минимальных единиц содержания².

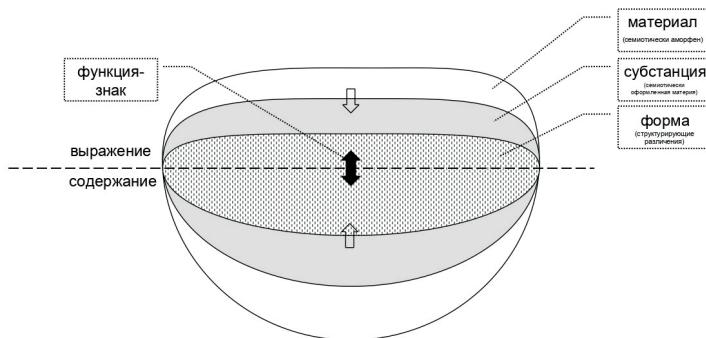


Рис. 1. Глоссематическая модель семиотики по Ельмслеву
Fig. 1. Glossematic model of a semiotic according to Hjelmslev

133

Самая базовая семиотика первого порядка — первоосновной знакосистемный уровень, где функция-знак связывает план выражения и план содержания как два взаимно предполагающих элемента, — в глоссематике Ельмслева называется денотативной семиотикой. Денотация, или означивание «первого порядка», — это чистая объектная семиотика, где функция-знак заключается во взаимной солидарности выражения и содержания, а не в механическом соединении слова и вещи. Денотативная семиотика имманентна и автономна: это система, замкнутая в себе, не обра-

-
- 1 В рамках каждого плана мы можем провести еще ряд условных разделений на три уровня: материал, форма и субстанция. В настоящем размышлении я концентрируюсь на аспектах первой артикуляции (выражение/содержание). Проблемы второй артикуляции (форма/субстанция) хоть и представляют значительный интерес, но их я затрону только эпизодически в конце этой статьи.
 - 2 Например, одна из фигур выражения, русское слово «конек», может относиться к множеству различных фигур содержания (биологический вид, инженерная конструкция, спортивный инвентарь и пр.). И, наоборот, одна фигура содержания «концепт автомобиля» может относиться сразу к множеству различных фигур выражения («авто», «машина», «тачка»). Этот непараллелизм требует, чтобы выражение и содержание анализировались как две отдельные, но взаимозависимые иерархии в рамках семиотической системы.

щающаяся ни к чему внешнему по отношению к своей структуре. Ее значение определяется различием и внутренними отношениями, а не внешней референцией. Это — автономный план, где значение возникает исключительно из внутренней взаимосвязи выражения и содержания, независимо от последующей культурной или метаязыковой медиации (Caputo 2015). Технически это можно представить также следующим образом. В пределах денотативной системы знак обозначает значение (величину) в самом прямом смысле — просто выступая за нее без дополнительного интерпретационного уровня или другого вторичного наслоения (Tanaka-Ishii, Ishii 2007, p. 401)¹.

«Насилие» и «травма» как рекурсивные семиотики

С точки зрения глоссематики концепты травмы и насилия не представляют собой какой-то «дефективный» знак вроде симулякра, маскирующий недостаток референта. Их можно представить как полноценные знаки, устроенные как семиотическая система второго порядка.

134

Как устроены с точки зрения глоссематики семиотики второго порядка? Это системы, где на плане выражения или содержания располагается другая денотативная семиотика. Если денотативная семиотика располагается на плане выражения, такая система называется коннотацией. Коннотативная семиотика у Ельмслева — это способ имманентного описания многоуровневого означивания: после первичного расчленения на планы выражения и содержания завершенный денотативный знак может быть вновь взят как план выражения, чтобы включиться в новую функцию-знак с добавочным содержанием. Коннотативные системы представляют собой подлинные семиотики со своими собственными планами и стратификациями, а не просто «вторичные значения» (Nöth 1990, p. 71–72).

Простейший пример коннотации можно обнаружить в технических знаковых системах (например, в программировании). Идентификатор в своей денотативной роли (адрес) выступает в качестве плана выражения в своей коннотативной роли (значение, находящееся по этому адресу). Тем самым весь денотативный знак функционирует как план выражения для нового, контекстуально зависимого содержания (Tanaka-Ishii, Ishii 2007, p. 400–401).

Если денотативная семиотика располагается на плане содержания, такая система называется метасемиотикой. Метасемиотика

1 Подробный систематический обзор понятийного аппарата глоссематики см. в: (Nöth 1990, 64–73).

возникает там, где абстракция или научное описание берет в качестве объекта другую денотативную семиотику. Метасемиотика формализуется как системная абстракция и репрезентация объектной семиотики.

И коннотация, и метасемиотика, согласно глоссематике, являются рекурсивными: обе могут образовывать потенциально бесконечные иерархии значения или описания, хотя с важными нюансами, присущими каждой системе. В отношении коннотации Ельмслев указывает, что коннотативная семиотика — система, в которой план выражения сам является денотативной семиотикой, — может служить планом выражения для другой, более высокого порядка, коннотативной семиотики (Hjelmslev 1969, p. 120). Это подразумевает, что уровни или слои коннотации принципиально могут наращиваться рекурсивно: денотативная семиотика становится основой для коннотативной системы, которая, в свою очередь, может служить планом выражения для новых коннотативных наслоений. Подобные иерархии не только теоретически возможны, но и наблюдаются эмпирически — особенно в культурных и текстуальных феноменах, когда стиль, жанр или идеологический код налагаются друг на друга. Однако эта рекурсия, как правило, открыта: уровни могут добавляться, и поиск все новых уровней коннотации — это реальная аналитическая возможность. Но процесс обычно ограничивается практическими или эмпирическими пределами, когда анализ достигает насыщения или иных границ (Caputo 2015, p. 154–163).

135

Метасемиотика также рекурсивна: метасемиотическая система — это семиотика, в которой план содержания сам является семиотикой. Такая метасемиотика, в свою очередь, способна стать объектом описания для метасемиотики более высокого порядка, приводя к иерархии или регрессу метаязыков, метаметодов или метаописаний. Хотя сам Ельмслев апеллирует к финитистским принципам, требующим завершения анализа на определенном этапе (обычно на уровне эмпирической реализации), даже сама глоссематика, в сущности, способна к метаязыковому саморефлексивному и рекурсивному расслоению (*Ibid.*, p. 161).

Таксономия Ельмслева допускает системы, в которых и план выражения, и план содержания семиотики более высокого порядка одновременно представлены денотативными семиотиками. В этом случае оба плана строятся из автономных, внутренне структурированных знаковых систем, и новая, второго порядка, функция-знак возникает из их взаимоотношения. Эта гибридная, или бипланарная, конфигурация упоминается самим Ельмслевом как признак семиотической комплексности (*Ibid.*, p. 114–115). Примерами такой конфигурации служат сложные формы литературных или художественных кодов, а также формы метаязыкового дискурса, где

и язык-объект, и метаязык имеют разветвленные денотативные архитектуры. Такие комплексные бипланарные семиотики второго порядка отражают теоретический максимум иерархии означивания: любая семиотика может служить выражением, содержанием или одновременно обоими для новой функции-знака более высокого порядка. Эта структурная возможность определяет открытость и аналитическую глубину глоссематики, позволяя ей имманентно описывать стратифицированные гибридные знаковые системы, которые не сводятся к простому различению коннотации и метасемиотики (*Ibid.*, 75–86).

Понятие «насилия» может быть рассмотрено глоссематически как бипланарная семиотика. Такой подход позволяет продемонстрировать, как «насилие» артикулируется одновременно как эмпирический или дискурсивный феномен (на плане выражения) и как концептуальный или аксиологический феномен (на плане содержания), причем каждый план обладает собственной системной логикой и значениями (величинами). На плане выражения «насилие» реализуется через различные системы денотативных семиотик: юридический дискурс (прецедентное право и законы, касающиеся актов насилия), медиарепрезентации (сообщения и изображения насильтственных событий), художественные перформансы (театральные или киноизображения), или даже статистические презентации в социальных науках. Этот план включает не просто единичный референт или «означающее», а целые структурно артикулированные системы, каждая из которых порождает свои экземпляры проявления насилия. Например, «насилие» как выраженное в юридическом языке с его кодифицированными определениями, процедурами и речевыми актами составляет собственную, внутренне согласованную денотативную семиотику, так же, как и насилие, изображенное в кино, со своими нарративными, визуальными и жанровыми кодами.

На плане содержания насилие может быть рассмотрено как денотативная семиотика социальных, культурных или психологических значений (величин) — такие концепты, как «агрессия», «сила», «легитимность», «трансгрессия» и «справедливость», образуют структурное поле смысловых значений, связанных с эпизодами или презентациями насилия. В разных контекстах («война», «протест», «уголовное право», «семейные отношения») «насилие» организует поле возможных значений (величин), каждое из которых кодируется частной семиотической системой: символическое насилие идеологии в культурной теории, физическое насилие преступления в правовых исследованиях или метафорическое насилие языка в риторике. Каждая из этих концептуаль-

ных систем может быть полноценно описана как денотативная семиотика, где «насилие» — не просто единица, а относительная величина в сети различий и оппозиций (например, законность/незаконность, оправданность/неоправданность, видимость/невидимость и так далее).

Бипланарная конфигурация показывает, что ни репрезентация, ни концептуализация не содержат в себе «насилие» полностью; каждая система получает свою специфику только посредством структурированной корреляции, установленной бипланарной семиотикой. «Насилие» в этом смысле выступает как результат сложной функциональной взаимосвязи между денотативными системами, каждая из которых обладает собственной автономией и не сводится к другой. Здесь означивание никогда не исчерпывается одним уровнем, а борьба интерпретаций между модальностями сама становится конститutивным моментом объекта.

Тот факт, что «травма» связана с бипланарной семиотикой «насилия», делает ее анализ в рамках гlosсематики существенно более проблематичным, поскольку эта слоистая взаимосвязь порождает множественные уровни сложности, неоднозначности и структурного напряжения. Как «травма», так и «насилие», будучи бипланарными семиотиками, уже включают корреляцию двух автономных денотативных систем. Для «травмы» это системы выражения (клинический дискурс, свидетельства «от первого лица», культурная репрезентация) и системы содержания (психологические, этические и культурные значения/качества); для «насилия» — выразительные координаты (например, юридический или журналистский дискурс, визуальные репрезентации) и аксиологические системы, определяющие, оправдывающие или проблематизирующие насилие. Каждая из этих систем — это уже сложный, иерархически организованный текст, не сводящийся к простому «факту» или элементарной системе означивания. Когда «травма» структурно связывается с семиотической системой «насилия», как часто бывает при дискурсивной со-конструкции травматического опыта на основе насильтвенных актов, возникает множество форм несоответствия и взаимной импликации. План выражения «травмы» (то, что говорится, изображается или исполняется о травме) оказывается глубоко зависимым от и внутренне включенным в план выражения «насилия»: медийные, юридические и художественные репрезентации насилия формируют и ограничивают сами пространства, где травма может быть нарративизирована или признана. В свою очередь, план содержания «травмы» (ее концептуализация, оценка, патологизация) черпает из, но также перераспределяет и рефреймирует план содержания «насилия» (значения, оправдания или критики насильтвенных актов).

Такая многоуровневая солидарность и напряженность между иерархически организованными семиотическими системами умножает пространства возможных неконформностей, неоднозначности и интерпретационной неустойчивости. Каждый план — выражения и содержания, для «травмы» и для «насилия» — имеет свою форму и субстанцию (понятия из второй артикуляции), и их взаимодействие редко приводит к простой однозначной корреспонденции. Например, конкретная репрезентация насилия может порождать совершенно разные концепции травмы: юридические, психиатрические, художественные; одновременно концепции травмы могут ретроспективно изменять семантические границы и выразительные возможности насилия — кого считать жертвой, какие события считать насилием, как структурируется коллективная память и так далее.

«Слабые» и «сильные» концепты

Таким образом, глоссематически рассмотрев некоторые из аспектов концептов «насилия» и «травмы», я хотел проиллюстрировать то, что называю «слабыми» концептами. Я предполагаю, что так можно назвать концепты, устроенные как рекурсивные семиотики, в которых ослабляются связи между различными их элементами и усиливается энтропия. Здесь я отталкиваюсь от понятия шенноновской энтропии. Это количественная мера неопределенности, отражающая среднюю непредсказуемость знака или сообщения при заданном распределении вероятности. В семиологии, заимствуя понятие энтропии, часто имеют в виду степень изменчивости, непредсказуемости или «информационного потенциала» в данной семиотической системе, учитывая как структурные ограничения, так и разнообразие возможных значений или форм, которые может генерировать система (Nöth 1990, р. 138, 200).

Применение этого к глоссематической рамке и, в частности, к биланарной рекурсивной семиотике — сложным, стратифицированным знаковым системам, в которых плоскости выражения и содержания сами по себе состоят из целых денотативных («первого порядка») систем и рекурсивно встроены или коннотированы дальнейшей семиотикой — дает более нюансированные последствия по сравнению с более простыми семиотическими системами.

В семиотике первого порядка (денотативной) функция-знак направую связывает выражение с содержанием, сводя степень свободы к минимуму: возможны только те комбинации, которыесанкционированы в рамках формальных и материальных ограничений

системы. Шенноновская энтропия здесь ограничена распределением вероятностей по этим допустимым связям. Хотя некоторые системы (например, естественный язык) могут иметь высокую энтропию, строго денотативная система на базовом уровне по-прежнему ограничена одним слоем возможностей отношений и неоднозначность, как правило, ниже.

Семиотики второго порядка (коннотативные или метасемиотические системы) включают в себя денотацию, создавая новый уровень рекурсии. Это увеличивает количество возможных конфигураций и, следовательно, потенциальная энтропия растет: не только появляются более сложные ассоциации, но и каждая единица из первой системы может быть переосмыслена, наслобена или преобразована в соответствии с новым набором правил или парадигм. Такие системы более открыты и менее предсказуемы, поскольку одна фигура выражения может нести изменяющиеся, контекстно-зависимые фигуры содержания, и наоборот.

В бипланарной рекурсивной семиотике, где каждый план сам по себе является целостной семиотикой, способной к дальнейшей внутренней рекурсии, комбинаторные возможности и пути означивания снова умножаются, что потенциально может привести к еще более высокой энтропии. Здесь значение распределяется среди иерархий и рекурсивных функций, а границы между выражением и содержанием становятся все более неконформными. Такие структурное размножение и рекурсивное наслование, как правило, максимизируют семиотическую энтропию, по крайней мере в абстрактном смысле: потенциал информационного разнообразия и непредсказуемости в таких архитектурах максимален.

139

Однако, как утверждает Козимо Капуто, это увеличение энтропии сопровождается повышенной интерпретационной неопределенностью и большей потребностью в структурных ограничениях, поскольку неограниченная энтропия привела бы к чистому шуму, а не к осмысленному означиванию. Каждая семиотическая система более высокого порядка налагает свой собственный частичный порядок на доступные возможности, ограничивая энтропию на практике посредством культурных, дискурсивных или системных норм (Caputo 2015, p. 75–86, 154–163). Таким образом, ни один «слабый» концепт не реализует свою «слабость» полностью. Справедливо и обратное: в рамках естественного языка никакой концепт не может быть действительно нерекурсивным. Настоящий «сильный» концепт — это такое же операциональное допущение, модель, к которой нечего из естественного языка может приближаться или от него удаляться, но никогда не будет им по-настоящему.

Модель «сильного» концепта можно представить себе как семиотику, где снижается мера неопределенности за счет усиления связи концепт-феномен. Здесь феномен — это не трансцендентный для семиотики референт, а материал содержания, на который накладываются операциональные допущения первой (функция-знак и выражение/содержание) и второй (форма и субстанция) артикуляций. Например, в случае «травмы» это можно представить следующим образом. Речь идет не о наборе поведенческих симптомов, их проявлений или их внутреннем устройстве или этиологии. В случае семиотики «травма» материалом содержания является весь спектр человеческого переживания до всякой семиотизации (в том числе до того, как это напряжение, вызванное совокупностью раздражителей, достигнет психического аппарата), а членение аморфной массы этого спектра на отдельные фрагменты — формой содержания. Сам Ельмслев предлагает представить это как падающую на материал тень от сетки. Форма содержания — это не результат членения, а то, посредством чего происходит эта операция членения (не сама сетка, а тень от сетки). Можно наглядно вообразить это себе на примере того, как в ходе структуризации материала (так называемой манифестиации) из светового спектра получается цвет (рис. 2).

140

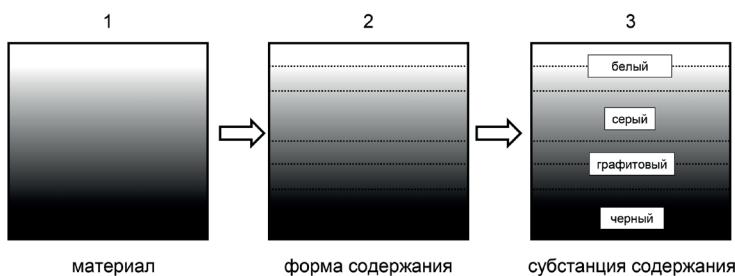


Рис. 2. Манифестиация с точки зрения глоссематики

Fig. 2. Manifestation according to glossematics

Например, когда такое членение происходит темпоральным образом, из напряжения получается конкретный момент переживания или последовательность переживаний. Потом субстанцией содержания будет то, что далее структурирует материал, уже структурированный формой содержания, — имманентное материалу «наполнение» этого вычлененного фрагмента (характер и эффект раздражителя). В такой модели поддерживается сильная связь различных элементов семиотики между собой.

В действительности, когда мы переходим от работы с моделями в сферу актуального узса — в естественном языке, в дискурсе, — не-

которая мера энтропии будет присутствовать вопреки даже самым скрупулезным попыткам избавиться от любых явлений рекурсивности в семиотике¹.

Тем не менее я полагаю прагматичным допущение, что мы можем вопреки этому стремиться к работе с концептами в направлении снижения меры их внутренней энтропии. Я считаю, что первый шаг, который можно сделать в этом направлении, — это минимизация наслоений рекурсивности в семиотике (коль скоро настоящая нерекурсивность не представляется возможной). В случае семиотики «травма» такой шаг может заключаться, например, в изъятии из нее аспектов другой рекурсивной семиотики — «насилия». Далее я предприму попытку продемонстрировать один из возможных способов, как можно это осуществить. Для этого я предлагаю вернуться к классической психопатологии «травматического» невроза и взглянуть в ее контексте на современные данные.

«Травматический» невроз: эффекты насилия или ослабление функций Я?

Связь между насилием и травмой не всегда прямолинейна и предсказуема. С самого раннего своего периода психоанализ уделял достаточно значительное внимание исследованию феномена агрессии. В этой дисциплине агрессия и деструктивность традиционно рассматривались как фундаментальный аспект человеческого поведения, а насилие — как их специфическая, контекстно опосредованная актуализация. Удивительно, что при этом формальная концептуализация насилия в психоанализе произошла достаточно поздно, уже в 1990-е годы, когда были предложены такие его определения, как форма межличностного человеческого поведения, в которой мыслящий субъект делает нечто деструктивное по направлению к другому человеку, или, например, как актуальное нападение на тело одного человека другим, включая вторжение в границы тела, с намерением причинить телесный вред другому человеку (подробнее см. обзор: Yankeley 2018). Сегодня мы можем наблюдать, что попытки определения насилия как строгого концепта в психоанализе не получили достаточного распространения и насилие в основном остается инструментальным концептом, применяющимся для обозначения той или иной контекстно-опосредованной актуализации агрессии и деструктивности.

¹ По меньшей мере не стоит игнорировать индивидуальные коннотации и работу механизмов апперцепции у индивида — обращение к прошлому опыту для восприятия.

В психоаналитических теориях насилие последовательно описывается как реактивный феномен или защитный маневр (Durieux 2023). Оно может быть реакцией на психические конфликты, борьбой за базовое психическое выживание (Vivier-Vacheret 2017)¹, ответом на непереработанный стыд или частью защиты, проецирующих во-вне деструктивные части индивида (Taubner et al. 2017; Gilligan 2017), ответом на чрезмерное возбуждение или коллективные нарцис-снические травмы, которые требуют уничтожения мнимых врагов (Yakeley, Meloy 2012; Moscovitz 2019; Cohen 2019). Реактивный харак-тер концепта насилия на самом деле имеет две стороны: насилие — это не только «следствие», но и «причина». Речь идет о таком эффекте насилия для индивида, как «травма». Психоанализ признает, что насилие играет важную роль в психическом развитии, но при этом может иметь и травмирующие последствия для индивида — агента насилия. «Травма» возникает, когда реактивное насилие превосход-дит способность психики к его переработке (Duparc 2022). Однако более пристальное внимание психоаналитическая мысль уделяет эффектам насилия не на его агентов, а на жертв насилия.

Представление о фундаментальности агрессии и деструктивности, вероятно, внесло значительный вклад в то, что в психоанализе распро-стрился связанный с насилием концепт травмы, несмотря на то что привлечение концепта насилия внесло значительные противоречия с самим феноменом, на который должен указывать концепт. Первый заметный прорыв в изучении травматического невроза пришелся на период после Первой мировой войны. В 1918 году британский во-енный врач Фостер Кеннеди отметил: у солдат с физическими ране-ниями реже наблюдаются симптомы «психоневроза» (Kennedy 1918). Он спорил с популярной тогда гипотезой о контузационной этиологии симптомов и предлагал другое объяснение. По Кеннеди, травмати-ческий невроз возникает из психологических и эмоциональных кон-

1 Конфликт «или ты, или я» в диаде мать-дитя, эдипов конфликт, подрост-ковая сепарация и др. Вот как объясняет идею Жана Бержере Клодин Ви-вье-Вашере: «...ребенок может только отвечать “нет” на все предложения взрослого и все его вопросы. В этом случае не следует воспринимать ответ ребенка как простой ответ на уровне реальности, а нужно понимать, что это совершенно другой ответ на совершенно другой вопрос, нечто вроде: <...> “Я больше не хочу, чтобы твои мысли и желания служили моим... отныне я думаю и желаю сам...” <...> Работа механизма фундаментального насилия во многом зависит от способности взрослого преобразовывать влечения ребенка, который становится самостоятельной личностью» (Vivier-Vacheret 2017, p. 125). Похожая динамика проявляется в подростковом возрасте. Чтобы достичь психической автономии, подросток должен символически «убить» родителей как основной источник своих идентификаций. См. обзор теории фундаментального насилия Жана Бержере в: (Vivier-Vacheret 2017).

фликтов — прежде всего из столкновения инстинкта самосохранения с социальными требованиями долга и морали, а не из физического воздействия на головной мозг. Так, судьба двух солдат, одинаково затронутых разрывом снаряда, может сложиться по-разному: невредимый впадает в ступор, демонстрирует амнезию или тревогу, тогда как раненый не проявляет признаков «нервной нестабильности». Осмотр 2000 раненых показал, что такие симптомы у них были редки. Кеннеди предполагал, что в этом случае внимание психики поглощено реальностью ранения, что препятствует бессознательному «погружению в страх». Это снижает внутренний конфликт, который при отсутствии телесного повреждения подпитывает невроз. Эта позиция созвучна психоаналитическим идеям того времени, где акцент смещается с органических причин на эмоциональное перенапряжение (см., напр.: Abraham et al. 1921). Современные исследования свидетельствуют о схожем феномене: раненые ветераны реже демонстрируют поведенческие симптомы так называемого посттравматического стресса и депрессии (Peterson 2021; Soumoff et al. 2021).

Открытие психологической этиологии травматического невроза позволило психоаналитикам первого поколения значительно продвинуться в его понимании в Первую и Вторую мировые войны. Результаты этих исследований суммировал в 1945 году Отто Фенихель в «Психоаналитической теории неврозов» (Fenichel 2014). Там он почти дословно воспроизводит вывод Кеннеди: травматический невроз чаще развивается там, где не было физического увечья. Однако говорить о том, что обратное совсем несправедливо, нельзя. Для того чтобы снять противоречие — насилие (посредством актов насилия) травматогенно и одновременно способно предохранять от психотравмы — Фенихель предлагает два объяснения. Почему физическая рана может предотвратить психологическую? Телесное вовлечение дает разрядку чрезмерному напряжению. Такая разрядка снижает общее напряжение и высвобождает ресурсы «Я» для связывания и переработки собственно травматогенных раздражителей. Фенихель подчеркивает важность возможности моторных реакций в момент травматического события: ожидание в окопе несет более высокие риски психотравматизации, чем активный бой. Почему же невозможно полностью исключить возможность травматизации? Согласно Фенихелю, поскольку связывать и производить разрядку напряжения, вызванного раздражителями, это задача «Я», травматизация указывает на его слабость. Травматический невроз — это неудача «Я». Об этом говорят и характерные симптомы блокировки или снижения различных функций «Я» у «травмированных» пациентов (различные нарушения речи, связывания социальной агрессии, тестирования реальности, хроностезии, темпорализации и другие). Здесь важно

различать настоящий травматический невроз и защитный невроз, за которым стоит «травматическое» событие как пусковой, но не определяющий фактор¹. Иногда мы можем наблюдать несоответствие между сравнительной незначительностью «травмы» и тяжестью невроза. Фенихель называет это невротической предрасположенностью. Чем сильнее предшествующие вытеснения и чем нестабильнее защиты, которые «Я» мобилизовало для поддержания равновесия психического аппарата, тем скорее некоторый интенсивный опыт приобретает травматический характер. Это можно назвать количественным обеднением «Я». У каждого индивида есть свой порог «выносливости». При невротической предрасположенности мы видим также качественную сенсибилизацию некоторых тем, где переживания особенно травматогенны (Fenichel 2014, p. 103).

Нарушение функции темпорализации в травматическом неврозе

Травматический невроз также характеризуется нарушениями темпорализации. Травма нарушает индивидуальное переживание времени, делая его фрагментированным и лишенным линейности. Это нарушение темпорализации проявляется в нарушении хроностезии (в потере ощущения времени), повторяющихся переживаниях травматического шока и навязчивых мыслях, диссоциации и когнитивных искажениях (Frewen, Lanius 2015). Они служат защитными механизмами самого невроза, предотвращающими получение новой информации, которая могла бы нарушить жесткие схемы переживания, сформированные травмой. Травма создает «отрицание времени» как сопротивление изменениям. В краткосрочной перспективе они могут быть эволюционно полезными для выживания², но в долгосрочной — приводят к дезадаптивным паттернам (Mezzalira 2021, p. 71–72).

-
- 1 По мнению Фенихеля, основное различие заключается в том, что истинный травматический невроз является прямым следствием сокрушительного внешнего события, которое нарушает нормальные защитные механизмы, в то время как защитный невроз, хотя и может быть вызван таким событием, в первую очередь обусловлен внутренними конфликтами и защитными механизмами индивида, а событие служит скорее контекстом или поводом, чем единственной причиной (Fenichel 2014, p. 104–115).
 - 2 Меццалира пишет, что способность защищать определенные восприятия от процесса немедленной переработки гарантирует разнообразие психических реакций на неблагоприятные обстоятельства вместо повторения усвоенной реакции.

Итальянский психолог и философ Селена Меццалира, опираясь на фрейдовский концепт «последействия» (нем. *Nachträglichkeit*, или более известное русским читателям фр. *après-coup*), демонстрирует, что травма не является линейным событием, где причина предшествует следствию. Вместо этого исходное событие оставляет «асемантический» мнемонический след, не интегрированный в нарратив до тех пор, пока последующее событие не придаст ему смысл. Это приводит к «взрывному» эффекту, где прошлое ретроактивно наделяется значением, нарушая линейность времени. Меццалира анализирует случай Эммы из работ Фрейда, где первоначальный инцидент (сексуальное домогательство в детстве) становится травматичным не сразу, а только после второго события (смех продавцов в магазине), которое ретроактивно активирует аффект. Это нарушение темпорализации проявляется в том, что травма существует в «нулевом времени» — она не историзирована, а повторяется вечно, как если бы прошлое и настоящее сливались. Индивид, страдающий травматическим неврозом, живет в «постоянном настоящем», где будущее недоступно, а прошлое не может быть переработано (*Ibid.*, p. 34–40). Травма приводит к «замораживанию» времени, где аффекты отделены от тела и репрезентаций (Campbell 2006).

145

Ключевое нарушение темпорализации при травматическом неврозе — это диссоциация. В этом контексте диссоциация — это разрыв в обычной интеграции сознания, памяти и самоидентичности, приводящий к фрагментации автобиографических воспоминаний и возникновению флешбэков, где травма «переживается заново», а не просто вспоминается. Это нарушение проявляется в «потере времени», когда индивид «выпадает» из реальности, фокусируясь на внутреннем мире, и субъективно ощущает замедление или остановку времени (Mezzalira 2021, p. 81–93). Травматическая темпоральность фрагментирована: прошлое вторгается в настоящее, создавая «расширенное время», где последовательность событий искажается (Van der Hart et al. 2004).

Я предполагаю, что все эти наблюдения на самом деле согласуются с классическими выводами Фенихеля, что при травматическом неврозе происходит блокирование или ослабление некоторых функций «Я». Вероятно, одной из таких ослабевающих функций является темпорализация. В психоаналитической теории темпорализация представляет собой ключевой процесс, посредством которого «Я» организует психическое пространство-время. Как подчеркивает американский психоаналитик Джейкоб Арлоу (Arlow 1986), этот процесс устанавливает связи между прошлым, настоящим и будущим, что обеспечивает человеку ощущение непрерывности и самоидентичности. Психоанализ фундаментально связан с кате-

горией времени, поскольку он стремится понять, как нарушения в настоящем определяются событиями прошлого. В этой модели «Я» выступает как инструмент, который интерпретирует последовательность событий на фоне постоянства самоощущения, где любые изменения регистрируются и ложатся в основу темпорального опыта. Эта функция «Я» позволяет интегрировать фрагментированные переживания, включая травматические, в связную (когерентную) структуру, где прошлое активно влияет на настоящее и формирует ожидания от будущего. Некоторые нарушения темпорализации, такие как дежавю или ощущение безвременья, возникают как защиты «Я» или компромиссные образования в ответ на внутренние конфликты¹. Они трансформируют восприятие времени под влиянием бессознательной фантазии. Арлоу подчеркивает, что время не ощущается непосредственно, а является опосредованной интеллектуальной конструкцией. В этом контексте темпорализация как функция «Я» служит защитой от хаоса, связывая аффекты с representations и предотвращая их патологическую — неопосредованную — разрядку (*Ibid.*).

Хотя некоторые предпосылки к темпорализации присущи индивиду еще с рождения (и, вероятно, начинают формироваться еще на пренатальном этапе жизни), такая способность появляется в ходе нервно-психического развития (*Ibid.*). Важнейшие «организаторы» времени — это прежде всего ритмический характер влечений (Freud 2013) и ритмы удовлетворения и фruстрации во взаимодействии матери и младенца (Arlow 1986). Хроностезия развивается в результате формирования требования в первичном цикле потребности, нарастания напряжения и удовлетворения. Длительность изначально переживается как неприятное ожидание, а связность — как повторяемая последовательность нарастания и снижения напряжения (Arlow 1986, p. 522–524). Все это создает пространство времени ожидания, в котором формируется вторичный процесс (индивидуал переходит от немедленной и непосредственной разрядки к отложенной и опосредованной). Формирование дифференциации «Я»-объект происходит также в этом времени ожидания (или, как его еще называют, «времени другого»).

Эдипов конфликт выступает как матрица межпоколенческой темпоральности, позволяющая вписать индивида в порядок наследования, утраты и смертности (Chantepie 2023). Реактуализации

1 Фрейдовский тезис о «невременности» бессознательного является важной, но достаточно спорной референцией. Ряд авторов указывает на «защитный» характер невременности. Она может выражать нарциссическое желание преодолеть смертность, тогда как субъект неизбежно переживает ритмы времени, его ускорения, обрывы и остановки (Hanly 2009).

эдипова конфликта, например, в подростковом возрасте (*Ibid.*) или во время вынашивания ребенка, также, вероятно, играет значительную роль.

Время становится элементом конфликта и симптомообразования. Нарушения темпоральной организации лежат в ядре ряда психопатологий. Для меланхолии характерно «выпадение из времени», «подвешенное» или «мертвое» время, отказ от новизны и изменений (Chouraqui-Sepel 2022; Green, Richard 2004). В психозе время переживается как «замороженное», в мании — как патологически «ускоренное» (Baruch 2024). Навязчивости выступают как «убийство времени» — защитный процесс зацикленного воспроизведения травмы вне историзации (Green 2009). Время может становиться инструментом компромиссного разрешения эдипальных и нарциссических конфликтов. Разные аффективные состояния поляризуются по временным осям (депрессия — к прошлому и утрате, тревога — к ожидаемой катастрофе), а феномены вроде «вневременности» или дежавю функционируют как защита от переполняющей тревоги, вины или беспомощности (Arlow 1986).

Усиление «слабого» концепта

147

Я предполагаю, что эта пространная иллюстрация достаточно явно демонстрирует, что ключевым элементом в такого рода состоянии, которое сегодня часто называют «травмой», является не эффект некоторой формы насилия, как предполагается метафорическим аспектом концепта, а ослабление функций «Я» — прежде всего темпорализации. Именно слабостью «Я» определяется, произойдет ли в ответ на некоторый интенсивный опыт «травматизация» или нет. В пользу связки «травмы» и функций «Я» говорят и новейшие данные. Долгое время в психоанализе считалось почти самоочевидным, что соматические последствия насилия (физические раны и увечья) могут снижать риск развития травматического невроза. Из фокуса внимания мейнстримной психологии же эта тема постепенно исчезла. Поэтому недавние данные о том, что раненые комбатанты реже демонстрируют поведенческие симптомы посттравматического стресса и депрессии, были восприняты профессиональным сообществом с некоторым удивлением. Американский психиатр Аллан Петерсон выдвинул гипотезу: видимые телесные ранения помогают восстанавливаться от «невидимых ран». Комментируя данные, которые получил исследовательский коллектив под руководством психиатра Алисы Сумофф (Soumoff et al. 2021), он предлагает такое объяснение: видимость травмы побуждает окружающих спрашивать о случившемся. Повторные рассказы о травматическом событии способствуют осмыслению, переработке и привыканию

к аффекту. Психиатр сравнивает это с длительной экспозицией — распространенной интервенцией в когнитивно-поведенческой психотерапии (Peterson 2022). В ответе Сумофф и соавторы соглашаются с Петерсоном, но уточняют важную деталь: все участники их исследования находились в стационаре по поводу физических травм и их почти ежедневно навещал специалист по поведенческой медицине. По их мнению, именно эта структурированная среда, а не одна лишь «видимость» раны, объясняет профилактику и редукцию симптомов травматического стресса. Госпитализация создала терапевтическую среду, обычно недоступную тем, чьи «невидимые раны» не требуют стационара (Soumoff et al. 2022). «Профилактика» травматического невроза происходит именно посредством работы различных функций «Я» — речи, нарративизации (тимпорализации), социального взаимодействия и так далее.

При этом данное состояние может быть четко дифференцировано от защитного невроза, чьи манифестные симптомы проявляются после какого-то события. Здесь можно возразить, что всякий невроз на самом деле реактивен. Он представляет собой реакцию на внутренний конфликт в виде компромиссной попытки его разрешить. Я думаю, эту проблему можно снять, если взглянуть на нее с другой стороны. Попытка компромиссного решения конфликта (формирование невротического симптома или, в благоприятном случае, характерологической особенности) — это попытка психического аппарата вернуться в состояние относительного равновесия. Это является частью адаптационной задачи, присущей любому живому организму. В «травматическом» неврозе мы наблюдаем действие аналогичного механизма реадаптации. Его проявления Фенихель называл «попытками к самоизлечению»¹. В этом отношении все неврозы похожи — они являются частью адаптационной задачи организма. То, что различается в защитном и «травматическом» неврозе, — это то, что выводит психический аппарат из равновесия и запускает реадаптационные механизмы. В случае защитного невроза это напряжение, которое провоцируется в психике конфликтом между собственными импульсами индивида (влечения «Оно»), его идеалами и усвоенны-

1 Фенихель описывает, как в травматическом неврозе «Я» предпринимает попытки к спонтанному излечению. Он выделяет здесь два направления. Первое — это дистанцирование и отдых; сбор энергии для запоздалого связывания возбуждения. Это проявляется в снижении функций «Я» и регрессии индивида. Второе — это запоздалые разрядки — моторные феномены, эмоциональные вспышки, явления повторения. Например, навязчивые мысли и размышления — это попытка связать вторгшееся возбуждение; активное повторение пассивно пережитого — попытка запоздалой разрядки (Fenichel 2014, p. 112).

ми запретами (давление «Сверх-Я») и требованиями среды. В случае же «травматизации» «Я», ввиду своей ослабленности, не может справиться с напряжением, вызванным раздражителями среды, в результате чего происходит еще больший упадок функций «Я».

Если снова вернуться к устройству «травмы» как семиотики, здесь я предлагаю такую субстанцию содержания, которая прочнее связана с ее аспектом формы содержания, артикулированной темпоральным образом (как момент в последовательности переживаний, которые производит психический аппарат индивида), которая, в свою очередь, прочно связана с материалом (напряжение, вызванное совокупностью раздражителей еще до того, как оно достигнет психического аппарата). Если мы изымаем из интересующей нас семиотики аспекты другой рекурсивной семиотики — насилия — и «усиливаем» связи между ее элементами (или, более строго, делаем допущение о возможности создания сильных, «однозначных» связей) — в моем случае в рамках плана содержания, — то получаем более «сильный» и строгий описательный концепт. Пример концепта «травмы» демонстрирует, что это возможно сделать, не привлекая для этого метафизического понятия референта ни позитивным, ни негативным (как в бодрийяровской семиологии) образом. Кроме того, произведенная работа иллюстрирует креативный аспект pragматического подхода к гlossematike¹.

149

Заключение

В статье я предпринял попытку проиллюстрировать, как устойчивое сцепление «травмы» с «насилием» — скорее продукт метафорического происхождения понятия, нежели отражение специфики самого феномена, — «ослабляет» концепт «травмы». «Насилие» само является рекурсивной семиотикой. Когда оно включается в рекурсивную семиотику «травмы», то вызывает еще большее нарастание энтропии. Предложенное «усиление» концепта заключается в его расцеплении с насилием. Насилие может быть одним из возможных раздражителей, но не является необходимым и достаточным условием феномена. Я не обесцениваю социально-правовых функций существующего дискурса и не отрицаю патогенный характер насилия. Расцепление, которое я предлагаю здесь, — аналитическое. Оно призвано усилить связь «концепт — феномен» и повысить pragматическую полезность понятия.

¹ Вероятно, следовало бы вовсе отказаться от остатков медицинской метафоры травматизма и произвести трансформацию концепта также и на плане выражения. Тем не менее это проблема для отдельного размышления.

Возврат к классической психопатологии «травматического невроза» и современные данные позволяют уточнить: ядро состояния, именуемого сегодня «травмой», составляет не эффект некоторой формы насилия, а ослабление «Я» и его функций. Это ослабление я рассматриваю как субстанцию содержания, прочно связанную с формой содержания «травмы», артикулированной темпорально, — как момент в последовательности переживаний, производимой психическим аппаратом — и далее с материалом, то есть напряжением от совокупности раздражителей до их психической переработки. Изъятие аспектов «насилия» и «усиление» связей между элементами — в данном случае в пределах плана содержания — позволяет получить более «сильный», операционально строгий описательный концепт. Кроме того, такая переориентация концепта устраниет ряд эмпирических парадоксов (например, меньшую частоту поведенческих симптомов у раненых по сравнению с невредимыми при одинаковом воздействии) и последовательно объясняет феноменологию диссоциации, ретроактивности, нарушений хроностезии и навязчивого повторения у затронутых индивидов.

Пример «травмы» демонстрирует креативный потенциал pragmatischenского подхода к глоссематике. Я предполагаю, что снижение энтропии в семиотике делает концепт более инструментализируемым для практических задач. Задача укрепления понятийного аппарата — не академическая роскошь, а предварительное условие практиса¹. В случае концепта «травмы» сегодня это особенно актуально. Согласно оценкам, на конец 2024 года в мире ведется около 56 активных вооруженных конфликтов, а 92 страны участвуют в войнах за пределами своих границ — это наибольшие показатели со времен окончания Второй мировой войны (Global Peace Index 2024). Поведенческие явления, связанные с «военным» стрессом, все больше вторгаются в обыденную жизнь. Речь идет не только об определенных психопатологических феноменах, наблюдавшихся у бывших комбатантов, но также и об их влиянии на некомбатантов (например, более подробно об аспекте травмы в демобилизации комбатантов как социально значимом вызове см.: Мартынов 2024). Я считаю, что именно здесь мы можем локализовать те самые праг-

1 Например, альтернативный травме концепт, сфокусированный на функциях «Я» и их ослаблении, позволяет сформулировать критерии доступа к лечению и реабилитации без обязательной апелляции к юридически доказываемому «насилию». Таким образом, в поле зрения медико-профилактической и социальной службы попадает большая группа граждан, нуждающаяся в специальном внимании. Это открывает возможность ранних профилактических мероприятий, направленных на укрепление «Я» и его функций.

матические последствия концепта, которые Чарльз Пирс предлагал в качестве мерила валидности того или иного концепта¹.

Финансирование / Funding

Публикуется при поддержке гранта РНФ №25-18-00901.

This work was funded by Russian Science Foundation, grant №25-18-00901.

Список источников / References

Бочков, Д. А. (2025) Как катастрофа становится коллективной травмой: насилие и социальный порядок в дюркгеймианской перспективе. *Социология власти*, 37(3).

— Bochkov D. A. (2025) How Disaster Becomes Collective Trauma: Violence and Social Order from a Durkheimian Perspective. *Sociology of Power*, 37(3). (in Russ.)

ВОЗ (2002) *Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире*. ВОЗ.

— WHO (2002) *Violence and its impact on health. World situation report*. WHO. (in Russ.)

Мартынов И. А. (2024) Социально значимые заболевания и медико-социальные проблемы как вызов послевоенного времени: состояния, контексты, импликации, мировой опыт. *Медицинская антропология и биоэтика*, (2), с. 28.

— Martynov I. A. (2024) Socially significant diseases and medical-social problems as a challenge of post-war time: conditions, contexts, implications, world experience. *Medical Anthropology and Bioethics*, (2), p. 28. (in Russ.)

Травма (2025) *Большой энциклопедический словарь*. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/295846> (дата обращения: 25.09.2025).

— Trauma (2025) *Large Encyclopedic Dictionary*. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/295846> (accessed: 25.09.2025).

Abraham K., Ferenczi S., Jones E. & Simmel E. (1921) *Psychoanalysis and the war neurosis*. International Psychoanalytical Press.

Arlow J. A. (1986) Psychoanalysis and time. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 34(3), pp. 507-528. <https://doi.org/10.1177/000306518603400301>

Baruch C. (2024) Le temps du Préconscient. *Revue française de psychanalyse*, 88(1), pp. 207-218.

Campbell J. (2006) *Psychoanalysis and the time of life: Durations of the unconscious self*. Routledge.

1 Главный критерий, сформулированный Чарльзом Пирсом (Peirce 1878) в его «прагматической максиме», — это практические последствия. Значение концепта полностью исчерпывается совокупностью его мыслимых практических следствий для нашего опыта и действий. Чтобы прояснить для себя концепт, нужно рассмотреть, какие действия он нам предписывает и какие перцепции мы можем ожидать в результате его применения. Например, если различие между двумя концептами не влечет за собой никакой разницы в практических последствиях, то это различие бессмысленно.

- Caputo C. (2015) *Tra Saussure e Hjelmslev. Ricerche di semiotica glossematica*. Carocci editore.
- Chantepie P.-J. (2023) Le complexe d'œdipe: Un organisateur temporel toujours actuel. *Analysis*, 7(2), pp. 100–361. <https://doi.org/10.1016/j.analy.2023.100361>
- Chouraqui-Sepel C. (2022) Temps suspendu. *Revue des Collèges de Clinique Psychanalytique du Champ Lacanien*, 21, pp. 111–119.
- Cohen S.J. (2019) The unconscious in terror: An overview of psychoanalytic contributions to the psychology of terrorism and violent radicalization. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 16(4), pp. 216–228. <https://doi.org/10.1002/aps.1658>
- Duparc F. (2022) Chapitre 5. La violence et le temps (pp. 73–91). In Abdessadok B., Assoun P.-L., Bercherie P., Bonnet G., Duparc F., Larguèche É. (Eds.) *D'où vient la violence?* In Press.
- Durieux M.-J. (2023) Violence, haine, destructivité. Que dit la psychanalyse? *Le Carnet PSY*, 260(3), pp. 17–21.
- Efstratiou S. (2010) Introduction of the term “trauma” in psychiatry. *Annals of General Psychiatry*, 9(Suppl. 1), S235. <https://doi.org/10.1186/1744-859X-9-S1-S235>
- Fenichel O. (2014) Traumatic neurosis (pp. 103–113). In *The psychoanalytic theory of neurosis*. Routledge.
- Freud S. (2013) *Pulsions et destins des pulsions*. Payot.
- Frewen P. & Lanius R. (2015) *Healing the traumatized self: Consciousness, neuroscience, treatment*. W.W. Norton.
- Genosko G. (1994) Simulation and semiosis (pp. 29–38). In *Baudrillard and signs: Signification ablaze*. Routledge.
- Genosko G. (2002) Mixed semiotics (pp. 155–193). In *Félix Guattari: An aberrant introduction*. Bloomsbury.
- Gilligan J. (2017) Toward a psychoanalytic theory of violence, fundamentalism and terrorism. *International Forum of Psychoanalysis*, 26(3), pp. 174–185. <https://doi.org/10.1080/0803706X.2017.1308428>
- Global Peace Index (2024) *Highest number of countries engaged in conflict since World War II. Vision of Humanity*. URL: <https://www.visionofhumanity.org/highest-number-of-countries-engaged-in-conflict-since-world-war-ii/> (accessed: 30.12.2024).
- Green A. (2009) From the ignorance of time to the murder of time. From the murder of time to the misrecognition of temporality in psychoanalysis (pp. 1–20). In *The experience of time: Psychoanalytic perspectives*. Karnac.
- Green A. & Richard F. (2004) Psychanalyse et temporalité. *Adolescence*, 22(4), pp. 719–733.
- Hamby S. (2017) On defining violence, and why it matters. *Psychology of Violence*, 7(2), pp. 167–180. <https://doi.org/10.1037/vio00000117>
- Hanly C. (2009) A problem with Freud's idea of the timelessness of the unconscious (pp. 21–34). In *The experience of time*. Routledge.
- Hassanally K. (2018) Diagnosing violence. *The British Journal of General Practice*, 68(672), p. 329. <https://doi.org/10.3399/bjgp18X698105>.
- Hjelmslev L. (1969) *Prolegomena to a Theory of Language*. University of Wisconsin Press.
- Kenned, F. (1918) Nervousness in soldiers. *War Medicine*, 2(1), p. 26.

- Koot S., Anyango-van Zwieten N., Sullivan S. et al. (2025) Intimidation as epistemological violence against social science conservation research. *Conservation Biology*, 39(2), pp. e14454. <https://doi.org/10.1111/cobi.14454>
- Mezzalira S. (2021) *Trauma and its impacts on temporal experience: New perspectives from phenomenology and psychoanalysis*. Routledge.
- Moscovitz J.-J. (2018) Bodies and the object-death (pp. 15–20). In *On psychoanalysis and violence*. Routledge.
- Nöth W. (1990) *Handbook of Semiotics*. Indiana University Press.
- Peirce C. S. (1878) How to make our ideas clear. *Popular Science Monthly*, 12, pp. 286–302.
- Peterson A. L. (2022) Natural recovery from posttraumatic stress in injured military service members: A commentary on Soumoff et al. (2021). *Journal of Traumatic Stress*, 35(1), pp. 338–340. <https://doi.org/10.1002/jts.22733>
- Smit H. J. & Strong P. (2020) Structural elements of the biomechanical system of soft tissue. *Cureus*, 12(4). <https://doi.org/10.7759/cureus.7895>
- Soumoff A. A., Driscoll M. Y., Kim S. et al. (2022). Hospitalization for physical injury may contribute to recovery of invisible war wounds: Response to Peterson's (2021) commentary on Soumoff et al. (2021). *Journal of Traumatic Stress*, 35(1), pp. 341–342. <https://doi.org/10.1002/jts.22727>
- Syed A. & Jacob M. S. (2024) Languaging psychopathology: Neurobiology and metaphor. *Frontiers in Psychiatry*, 15, pp. 1320771. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1320771>
- Tanaka-Ishii K. & Ishii Y. (2007) Icon, index, symbol and denotation, connotation, metasign. *Semiotica*, 166, pp. 393–407. <https://doi.org/10.1515/SEM.2007.063>
- Taubner S., Rabung S., Bateman A. & Fonagy P. (2017) Psychoanalytic concepts of violence and aggression (pp. 1–14). In *The Wiley Handbook of Violence and Aggression*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119057574.whbva027>
- Traumatisme (2025) *Dictionnaire de français Larousse*. URL: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traumatisme/79279> (accessed: 25.08.2025).
- Van der Hart O., Nijenhuis E., Steele K. & Brown D. (2004) Trauma-related dissociation: Conceptual clarity lost and found. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 38(11–12), pp. 906–914. <https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2004.01480.x>
- Vivier-Vacheret C. (2017) L'apport de la théorie de la violence fondamentale et du groupal dans une cure individuelle. *Connexions*, 107(1), pp. 123–130. <https://doi.org/10.3917/cnx.107.0123>
- Woodward J. (2023) Sketch of some themes for a pragmatist philosophy of science (pp. 197–219). In Andersen H. K., Mitchell S. D. (Eds.), *The pragmatist challenge: Pragmatist metaphysics for philosophy of science*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192845440.003.0012>
- Yakeley J. (2018) Psychodynamic approaches to violence. *BJPsych Advances*, 24, pp. 83–92. <https://doi.org/10.1192/bja.2017.23>.
- Yakeley J. & Meloy J. R. (2012) Understanding violence: Does psychoanalytic thinking matter? *Aggression and Violent Behavior*, 17(3), pp. 229–239. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.02.005>

Об авторе / About the author

Мартынов Иннокентий Алексеевич — сотрудник ЦМА ИЭА РАН (Москва). Научные интересы: психоанализ, неврозы, теория бессознательной мотивации, психофизиатрия и тропические болезни.

<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669>. E-mail: i.martynov@iea.ras.ru

Innokentiy A. Martynov — researcher in Center for Medical Anthropology of IEA RAS (Moscow, Russia); Research interests: psychoanalysis, neurosis, theories of unconscious motivation, psychiatric issues in tropical diseases.

<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669>. E-mail: i.martynov@iea.ras.ru

«Искусство, которому нельзя предаваться от случая к случаю»: разум и насилие у Фукидида

Роман В. Гуляев

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0002-2558-1847>

Рекомендация для цитирования:
Гуляев Р. В. (2025) «Искусство, которому нельзя предаваться от случая к случаю»: разум и насилие у Фукидида. *Социология власти*, 37 (3): 155-176
EDN: RCMXOK

For citation:

Gulyaev R. V. (2025) "An Art Not to Be Attended at Idle Times": Reason and Violence in Thucydides. *Sociology of Power*, 37 (3): 155-176
Поступила в редакцию: 15.05.2025; прошла рецензирование: 01.08.2025; принята в печать: 19.08.2025
Received: 15.05.2025; Revised: 01.08.2025; Accepted: 19.08.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: В статье рассматривается проблема взаимосвязи в «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида стратегических, политических и технических аспектов организованного насилия в его наиболее сложной и действенной форме — маневренном морском сражении. Именно способность вести продолжительные кампании на суше и море, которые требуют концентрации сил и ресурсов, зато дают возможность ставить долгосрочные решительные цели, отделяет, с точки зрения Фукидида, современность от древности, цивилизацию от варварства. Эти факторы делают первый большой конфликт между коалициями греческих полисов наиболее значительным в его глазах событием человеческой истории. В данной работе предлагается новый подход к прочтению Фукидида, представляющий культурно-минационным пунктом его повествования изложение борьбы между Афинами и Коринфом за Навпакт в 429–413 годах до н.э. Небольшой порт, контролирующий выход из Коринфского залива, определяет, удастся ли Афинам сдержать морские силы Пелопоннесского союза в удобной для себя точке и воплотить стратегию морского господства Перикла, или же война на море примет бесконтрольный характер, подвергая коммуникации обеих сторон угрозе внезапного нападения. Именно это противостояние наиболее полно и ярко выражает особенности технического инструмента данной формы насилия — флота триер, а также социальные, этические и стратегические характеристики создавшего этот инструмент общества. История противостояния на кон-

крайнем театре конкретного военного конфликта разворачивается в универсальное высказывание о раскрытии человеческой природы посредством насилия, оказавшее существенное влияние на постфукидидовскую традицию политической мысли.

Ключевые слова: Фукидид, насилие, триера, стратегия, инновация

“An Art Not to Be Attended at Idle Times”: Reason and Violence in Thucydides

Roman V. Gulyaev

National Research University Higher School of Economics, Moscow,
Russian Federation
<https://orcid.org/0000-0002-2558-1847>

Abstract: The article examines the problem of interconnection between strategic, political, and technical aspects of organized violence in Thucydides’ “History of Peloponnesian War” in its most complex and effective form — maneuver naval combat. According to Thucydides, it is the ability to conduct prolonged naval and land campaigns — with an ability to concentrate force and resources and to pose decisive long-term goals — that distinguishes modernity from antiquity, civilization from barbarism and thus marks the first major conflict between coalitions of Greek polices as a most significant event in human history. Our research proposes a new approach to Thucydides’ work, which views his description of struggle between Athens and Corinth for the control of Naupactus in 429–413 BC as a pivotal moment of the whole conflict. A small port controlling the entrance to the Corinthian Gulf decides whether Athens can confine its naval power to the Peloponnesian League — or whether the maritime struggle becomes uncontrollable and presents a mutual threat to communication lines. This confrontation is the most complete and clear demonstration of the technical features and capabilities of the main instrument of this form of violence — the rowing fleet of triremes — as well as social, ethical and strategic aspects of the society which was capable of creating it. The history of struggle in a specific theatre of a specific war develops into a universal statement about the disclosure of human nature by means of organized violence, which influenced post-Thucydidean tradition of political thought.

156

Keywords: Thucydides, Schmitt, violence, trireme, strategy, innovation

Никто не сможет избежать очарования этой легенды, и меньше всего хотелось бы умерить сияние ее славы. Но если спросить, имеем ли мы здесь дело со случаем чисто морского существования и подлинного выбора в пользу морской стихии, то мы сразу же увидим, сколь стесненной оказывается морская держава, ограниченная Адриатикой и бассейном Средиземноморья, когда однажды открываются необозримые пространства мировых океанов (Шмитт, 2008, с. 583)

— так Карл Шмитт заканчивает экскурс в историю Венецианской республики, прежде чем перейти к подлинным «plenителям моря»: голландцам и англичанам. Венеция, «сказочная царица моря», распространяла свое господство над теплыми водами Адриатики, Ионии и Леванта, и ежегодный ритуал «обручения с морем» подчеркивал характер этого господства, основанного на торговле, дипломатии, культурной и религиозной терпимости. Настоящие же «дети моря», голландцы и англичане, утверждает Шмитт (Там же, с. 584, 623), ни в каких ритуалах не нуждаются: компас, парус и религиозный пыл кальвинизма заменяют собой попытки задобрить дарами враждебную стихию, а на смену обручению приходит насилие. Атлантические народы покидают сушу не ради торговых прибылей, а ради добычи; Мировой океан оказывается открыт прежде всего пиратами и китобоями (Там же, с. 587–602). Талассические государства внутренних морей уступают место мировой империи, для которой суши — лишь протяженная береговая линия с выброшенными морскими волнами богатствами (Там же, с. 630). С появлением стальных корпусов, радио и двигателей внутреннего сгорания море окончательно перестает быть самовластной стихией, китовый промысел из опасного искусства становится промышленной добычей (Там же, с. 589), а развитые государства получают возможность напасть на любую часть суши уже не только с воды, но и с воздуха:

157

Во время самостоятельной воздушной войны обе стороны полностью лишены возможности установления какой бы то ни было связи друг с другом. Самолет прилетает и сбрасывает свои бомбы на землю; штурмовик снижается, приближаясь к земле, и вновь взмывает в воздух; оба исполняют присущую им функцию уничтожения и тотчас уносятся прочь от этой земли, оставляя ее вместе со всем, что на ней находится, вместе с людьми и вещами, своей судьбе, т.е. властям территориального государства (Там же, с. 473).

Не являясь ни военным историком, ни специалистом в стратегии или тактике, Шмитт тем не менее задает очень важную теоретическую перспективу: определенная форма насилия — неважно, идет ли речь о китобое, преследующем добычу, артиллерийском сражении парусных флотов или налете авиации, — существенно влияет на самые разные черты участников, от индивидуального и национального характера до представлений о пространстве, праве, загробной жизни. Именно выход в океан, изначально враждебную и чуждую человеку стихию, и вызванная этим революция пространства высвободили в европейцах Нового времени творческую энергию, техническую изобретательность и самоотверженность, и это же событие подчинило их господству остальному миру (Там же, с. 604–634).

Вероятно, по этой причине и Шмитт, и ключевые военно-морские теоретики рубежа XIX–XX веков, на которых он ссылается, преимущественно фокусируются на истории Нового времени — периода, когда европейские парусные флоты находили равных соперников лишь в лице друг друга. Схожим образом рассуждал Карл фон Клаузевиц, строя свой анализ войны преимущественно на современном ему европейском материале: разум «указывает [наиболее] действенные способы применения насилия» (Клаузевиц 1998, с. 37), «цивилизованные» (т.е. европейские) народы продвинулись в этом дальше других — соответственно, изучение менее действенных форм применения насилия может быть задачей историка, но не военного теоретика.

И действительно, могут показаться наивными слова Фукидида о народе Афин, покинувшем свои дома и «ставшем мореходами», *nautikoi egenonto* (1.18.2¹), ведь их корабли двигались мускульной силой гребцов, господство над морями не выходило дальше Восточного Средиземноморья и продлилось меньше века, а вершиной имперских амбиций стал катастрофический поход на Сицилию. И тем не менее при внимательном чтении «Истории Пелопоннесской войны» в ее участниках, творимом ими насилии и целях, которые они пытаются с его помощью достичь, отчетливо видны те же черты, которые Шмитт выделяет у «покорителей морей» гораздо более поздних эпох. В настоящей статье мы разберем три ключевых вопроса: 1) чем с точки зрения Фукидидовой «Истории» насилие, лежащее в основе афинской гегемонии, отличалось от насилия предыдущих эпох; 2) что может быть противопоставлено этому насилию и каких качеств такое противостояние потребует от своих участников; 3) что универсального о человеке может нам сообщить описание Фукидидом конкретных эпизодов отдельного исторического конфликта. Ключевые для этого анализа события будут происходить не в Амфиполе², не в Большой гавани Сиракуз³, а вокруг относительно локального пункта побережья Коринфского залива — в Навпакте.

1 Здесь и далее ссылки на текст «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида: книга, глава, строка.

2 Афинская колония на берегу Стримона во Фракии, где в 422 году до н.э. афинское войско под командованием Клеона потерпело поражение от спартанцев Брасида (описание у Фукидида: 5.6–5.11). После сражения, в котором погибли командующие обеих армий, был заключен Никиев мир, завершивший первый этап войны.

3 Морское сражение 413 года до н.э. (описание у Фукидида: 7.60–7.72), в котором афинский флот был уничтожен при попытке прорваться с Сицилии, что в конечном итоге привело к полной гибели Сицилийской экспедиции.

Инструмент демократии и империализма

Рассказывая своей дочери Аниме о борьбе земли и моря (отсюда подзаголовок эссе), Шмитт не приводит академического ссылочного аппарата, который бы позволил точно реконструировать источники его представлений о военно-морской истории. Единственная ссылка в описании морских сражений древности, уподобленных схватке борцов, — на поэму «Архипелаг» Гельдерлина (Schmitt 2015, p. 23)¹; упоминаемые им классики военно-морской теории А. Мэхэн (*Ibid.*, p. 87–89) и Дж. Корбетт (*Ibid.*, p. 36–37) начинают свой анализ с появления линейной тактики эскадр в XVII–XVIII веках, и на момент выхода «Земли и моря» это в целом оправданная оптика. Между тем именно вторая половина XX века многое добавила к представлениям о военно-морском деле Античности: комплексные исследования письменных и изобразительных источников, археологических раскопок доков в Пирее (Fields 2007, p. 7–8), а также практические эксперименты в эксплуатации воссозданной в 1980-е годы в составе ВМС Греции полноразмерной мореходной копии триеры «Олимпия» (*Ibid.*, p. 39–41; Morrison, Coates 1986) позволяют существенно пересмотреть изображенную Шмиттом картину «сухопутного сражения на кораблях». Феномен греческой цивилизации оказывается тесно связан с определенным типом военного корабля и особенностями его применения, а технические исследования позволяют по-новому взглянуть на тексты греческих классиков.

159

В глазах Фукидида история греков делится на «до» и «после» с появлением триеры — судна с тремя рядами весел, изобретенного или заимствованного у финикийцев коринфянами (1.13.2). Самое значительное из древних деяний эллинов, Троянская война, велась на беспалубных кораблях, сооруженных «как суда пиратские» (1.10.5), на которых воины были одновременно гребцами. Фактически, по оценке Фукидида, она была растянувшимся на десять лет набегом. Нападающие из-за скудости запасов (1.11) не могли собрать свои силы воедино для генерального сражения, обороняющиеся не пытались противодействовать им на море. Подобные набеги, хоть и не такие масштабные, Фукидид считает (1.5–1.6) постоянным условием жизни Древней Эллады, а Гегель выделяет (Гегель 1993, с. 256–257) как один из образующих элементов беспокойного греческого духа. Пиратство представляет собой насилие, ориентированное на осязаемый сиюминутный результат в виде добычи; оно не под-

¹ Данное издание, в отличие от немецкого (Schmitt C. Land und Meer: Eine weltgeschichtliche Betrachtung. Stuttgart: Klett-Cotta, 2011) и русского (Шмитт 2008, с. 573–639) перевода, снабжено ссылочным аппаратом и развернутым редакторским комментарием.

разумевает сложной стратегии и организации и, по выражению Корбетта, относится к «донаучной стадии ведения морских войн» (Schmitt 2015, р. 36; Шмитт, 2008, с. 596). Фукидид отдает должное предпримчивости морских разбойников, но собственное время считает более значительным (1.1.3) из-за нового типа корабля и порожденного им более действенного способа применения насилия.

Триера мало подходит для морского разбоя и транспортных перевозок. Размещенные в три ряда, один над другим, гребцы, числом до 170 (Fields 2007, р. 14), не носят оружия (поэтому малополезны для набегов на сушу), при этом требуют обширных запасов воды и продовольствия, поэтому для груза или добычи на корабле почти не остается места. Труд гребцов должен высоко оплачиваться, так как требует слаженности, четкого следования командам и осложняется теснотой, темнотой и духотой. Морские пехотинцы (*epibatai*), число которых было относительно невелико — не более 20 человек, до момента столкновения с вражеским судном должны были располагаться сидя строго на своих местах (7.67.2; Fields 2007, р. 14), чтобы перемещением по палубе не нарушить баланс корабля в процессе гребли. Сами суда изготавливались из легких пород дерева — пихты и кипариса, при их нехватке — сосны, наложенных на жесткую основу из ясеня, вяза или шелковицы (*Ibid.*, р. 14), многие материалы приходилось закупать во Фракии и Македонии. Легкая пористая древесина быстро впитывала воду, в результате чего судно теряло мореходность и скорость, и при первой возможности его старались вытащить на берег для просушки. Что же заставило коринфян, а за ними и остальных греков, обратиться к такой дорогой, сложной в уходе и неуниверсальной конструкции?

Главное и фактически единственное предназначение триеры — таран (Гэддис 2021, с. 53; Hanson 2006, р. 235–270). По сути, этот тип корабля — узкоспециальное оружие, в котором все элементы конструкции и навыки экипажа направлены на облегчение маневра и развитие скорости для того, чтобы нанести единственный удар в борт или корму вражеского судна и избежать затопления вместе с ним. Ключевые условия для его успешного использования — пространство для набора скорости, маневра, слаженность и опыт экипажа (2.89.8). Шмитт считал (Шмитт 2008, с. 592) отличительными признаками «настоящего» морского сражения, имеющего целью не захват добычи, а уничтожение противника. Как мы видим, задолго до появления пороха и артиллерии античные суда действуют в том же ключе: успешный таран не приносит иных трофеев, кроме обломков вражеского судна и всплывших трупов, но перманентно устраняет исходившую от него угрозу. Таким образом, все недостатки триеры не перевешивают главного ее преимущества: более традиционные виды судов мало что могут ей противопоставить

в прямом столкновении, а из-за более высокой скорости их шансы спастись бегством также крайне малы. Очевидно, по совокупности этих причин Фукидид еще в начале первой книги (1.13.6–1.14.2) четко разделяет флоты полисов на состоящие из пентеконтер (беспалубных пятидесятивесельников) и из триер: беспрецедентность и важность описываемой им войны связана именно с повсеместным распространением последних.

Но порожденные триерами возможности выходят за пределы военно-морской сферы. Две строки из 13-й главы первой книги «Истории» содержат скучное, но предельно конкретное описание перехода от древности к современности. «Говорят, коринфяне первые усвоили морское дело ближе всего к теперешнему его образцу, и первые в Элладе триеры сооружены были в Коринфе... Когда эллины стали ходить по морям больше, коринфяне, заведя флот, обратились к уничтожению морских разбоев и, представляя для эллинов рынок, усилили свой город притоком в него богатств по обоим путям» (1.13.2, 1.13.6). Настоящим трофеем триерархов-победителей становится не призовой груз и не пленные, а устранение угрозы мореходству со стороны неупорядоченных акторов насилия и возможность мирного развития. Богатство и безопасность приходят одновременно, берег моря из источника постоянной угрозы становится дорогой к процветанию. Но длится это до тех пор, пока честь, страх и выгода (1.76.2) не направляют уже сами мореходные полисы друг против друга.

161

Связь морского господства и политического устройства Афин — слишком обширная тема, чтобы можно было ее рассмотреть в рамках одной статьи. Тем не менее многие исследователи (Дельбрюк 1999, с. 110–112; Каган 2023, с. 30–42; Гэддис 2021, с. 50–57; Jaffe 2017, р. 121–129; Gabrielsen 2010; Strauss 1964, р. 154–163) обращаются в своем анализе к содержанию речи Перикла, сказанной перед началом войны (1.140–1.144), в которой тот доказывает согражданам необходимость принять решение о войне с Пелопоннесским союзом и одновременно излагает основания надеяться на успех в ней. Ключевые его аргументы — преимущество в приобретении и накоплении денежных средств (1.141.3–1.141.5), строительстве укреплений (1.142.3), умении и средствах вести войну на море (142.4–142.9). Все это является предпосылками к реализации главного стратегического замысла: вместо генерального сражения на земле — установление постоянной блокады пелопонесских флотов в их портах (1.142.8) и постепенное истощение ресурсов противника в сочетании с неприкословенностью своих морских линий коммуникации с территориями вне Аттики: «опустошение одной какой-либо части Пелопоннеса будет иметь далеко не то же значение, как опустошение целой Аттики, потому что взамен этой области они не смогут получить без борьбы никакой другой,

тогда как у нас есть много земли и на островах, и на материке» (1.43.4). «Так важно иметь силу на море!» — завершает Перикл (а через него, конечно, Фукидид) эту часть своего аргумента.

Для иллюстрации этой же мысли Альфред Мэхэн (вообще-то не склонный ни к мысленным экспериментам, ни к экскурсам в Античность) предлагает такую мысленную картину Второй Пунической войны:

Если бы Средиземное море было ровной пустыней, на окраинах которой римляне обладали бы сильными горными цепями Корсики и Сардинии, укрепленными постами Таррагоны, Лилибеума и Мессины, итальянскою береговой линией близ Генуи и союзными крепостями в Марселе и других пунктах; если бы при этом римляне располагали также вооруженной силой, способной пересекать эту пустынью по желанию, а их противник, будучи значительно слабее их в отношении такой силы, вынужден был именно поэтому на большой обходный путь для сосредоточения своих войск, то весь смысл такого военного положения был бы сразу понят, и не было бы слов, достаточно веских для выражения значения и влияния упомянутой силы римлян... В рассматриваемом случае флот играл роль силы, господствующей на предполагаемой пустынне, но так как эта сила действовала на стихии, незнакомой большинству писателей, и так как деятели ее с незапамятных времен стояли как бы в стороне, не имея проповедника своего значения и значения профессии своей, то ее огромное, решающее влияние на историю той эры, а вследствие этого и на историю мира, не было принято во внимание (Мэхэн 2002, с. 32).

Именно флот триер стал инструментом, превратившим для Афин Эгейское и Ионическое моря в такую «ровную пустынью», по которой они могли свободно перемещать товары, ресурсы и войска и не допускать появления в ней враждебных сил. Искусство морского дела, о котором говорил Перикл в цитированной выше речи, выходит далеко за пределы управления кораблем в бою. Постройка, финансирование и наиболее эффективное применение военно-морского флота, извлечение максимальных преимуществ из контроля над морем, поиск союзников и сдерживание потенциальных противников — все это очевидно выходит за пределы «донаучного» подхода к войне на море. Именно определенный способ применения насилия (и сохранение монополии на возможность его реализации) лежит в основе афинского благополучия; интеллектуальные силы и энергия полиса направлены на то, чтобы эта ситуация сохранилась и дальше. Афиняне, в терминах Клаузевица, более «цивилизованный» народ, чем пираты предшествовавших времен, — не потому, что разум велит им искать ненасильственные способы утверждения собственного господства, а потому, что это насилие обрело наиболее действенную форму для достижения своих целей.

Морская сила в действии

Первое морское сражение в описании Фукидида парадоксальным образом вполне соответствует как раз шмиттовскому образу «сухопутного сражения на кораблях». Битва при Сиботских островах (1.48.3–1.52.1) в 433 году до н.э. между керкирянами и коринфянами описывается наполненной страстью и порывом — но не умением, *epistēmē* (1.49.3). Ни одна из сторон не пыталась осуществить основной маневр триер — прорыв сквозь вражескую линию с последующим ударом в борт или корму, так называемый дикпл, *diekplous* (1.49.3; Каган 2023, с. 570). Корабли противников сцепляются друг с другом, и их экипажи сходятся в абордажном бою; шум и крики делают невозможной какую бы то ни было координацию и управление боем. Ни коринфяне, ни керкиряне сразу не поняли, кто, собственно, победил; лишь афинская эскадра, посланная на поддержку Керкиры, не понесла потерь (1.52.1), а само присутствие 30 аттических кораблей заставило на следующий день отступить коринфян, чей флот после битвы состоял не менее чем из 120 судов (см. 1.46.1 и 1.54.2 о потерях). Сложно не согласиться с оценкой современных историков (Hanson 2006, р. 255; Wallinga 1993, р. 24): между строк фукидидовского рассказа недвусмысленно прочитывается мысль о том, насколько оба сражавшихся флота были хуже афинского.

163

В полной мере уровень афинского морского искусства проявляется в 429 году до н.э., когда пелопоннесский флот, запертый в Коринфском заливе, предпринял две попытки прорваться сквозь афинскую эскадру, стоящую возле Навпакта (2.83–2.92). На первый взгляд внимание Фукидида к этому эпизоду кажется непропорциональным масштабу событий: девять глав сопоставимы по объему с одиннадцатью главами седьмой книги, посвященных битве в Большой гавани Сиракуз, которая решила исход Сицилийской кампании. В обоих случаях приводятся речи командующих к своим эскадрам, что, по общему мнению исследователей, обозначает особую важность эпизода с точки зрения Фукидида. Между тем первый бой у Навпакта ведут 47 пелопоннесских кораблей против 20 аттических (2.83.3) — по сравнению со сражениями у Сибот и Сиракуз, где участвуют сотни кораблей, это выглядит локальной стычкой. В повторном бою у Навпакта той же эскадре афинского наварха Формиона противостоят уже 77 пелопоннесских (в массе своей, очевидно, коринфских) кораблей (2.86.4)¹, и такое соотношение сил, даже при все еще относительно небольшом общем масштабе, делает внима-

¹ В переводе Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелева (Фукидид 1999, с. 121) ошибочно указано меньшее число — 57.

ние Фукидода вполне объяснимым. Историки, комментируя этот эпизод (Hanson 2006, p. 255; Каган 2023, с. 131), задаются вопросом: почему Формион вообще принял бой при таком соотношении сил? Здесь, помимо общих мыслей о престиже афинской державы и тактической угрозы быть заблокированным в Навпакте, следует иметь в виду стратегическую значимость этого пункта: прорыв значительной пелопоннесской эскадры из Коринфского залива открыл бы ей возможность атаковать афинские коммуникации в любой точке (для понимания, насколько существенной воспринималась такая угроза, достаточно вспомнить описанную Фукидидом панику, «какой не бывало за все время войны», от атаки всего нескольких пелопоннесских кораблей на Саламин и Пирей, 2.93–2.94) или поддержать восстания афинских союзников в Ионии (спартанские корабли своей поддержкой, пусть и преимущественно символической, восставшей Митилены «в весьма сильной степени вызвали возбуждение афинян», 3.36.2). Таким образом, у Формиона не осталось другого выбора, кроме как дать бой вчетверо превосходящей его силы эскадре в надежде задержать ее до подхода своих подкреплений или хотя бы нанести ей максимальный ущерб перед неизбежным поражением. Особое место занимает этот эпизод и в самом рассказе Фукидода: впервые в этой войне афинский флот должен на практике продемонстрировать качества, заложенные Фемистоклом и Периклом, в противостоянии с другими греками и без их поддержки.

Первый бой (2.83–2.84) фактически свелся к реализации афинянами преимущества в маневренности и инициативе. Коринфяне под руководством Махаона, Исократа и Агафархса (2.83.4), несмотря на более чем двукратное численное превосходство, выбрали пассивную оборону, выстроив корабли плотным кругом, чтобы не допустить прорыва своей линии диэхплом; эскадра Формиона, дождавшись попутного ветра, атаковала сгрудившиеся корабли противника. Несмотря на то что мачты с парусом в боевой обстановке убирались (Fields 2007, p. 17) и триеры двигались исключительно на веслах, попутный ветер, очевидно, должен был придать атакующим кораблям дополнительный импульс, а усилившиеся волны дезорганизовали непривычные к маневрам на открытой воде коринфские экипажи (2.84.3). Первой была затоплена триера одного из их командующих, после чего коринфяне потеряли еще 12 вместе с экипажами (2.84.4) и отступили. Афиняне, как следует из дальнейшего, потерю в кораблях не понесли.

По краткости описания видно, что эта часть сражения не вызвала у Фукидода особого интереса: произошло то, что и должно было произойти с неопытной эскадрой, которая к тому же полностью отдала инициативу противнику, не пытаясь реализовать собственное численное превосходство и в целом, видимо, не имела определен-

ного плана боя. Совсем иначе выглядит повторное сражение, для которого пелопоннессцы собрали подкрепления, делегировали в эскадру опытных полководцев, в том числе Брасида (2.85.1), и постарались учесть опыт первой неудачи. Повествование Фукидида в этом месте обретает драматические черты: афинская эскадра, посланная на помощь Формиону, отвлекается на второстепенную задачу у берегов Крита (2.85.5–2.85.6) и не может успеть вовремя; понимая важность момента, командующие обеих сторон выступают перед своими экипажами со воодушевляющими речами (2.87 и 2.89); в отличие от первого боя, пелопонесский флот начинает активный маневр (2.90.1), грозящий отрезать афинян от Навпакта. Все идет к тому, что афиняне столкнутся с последствиями своей самонадеянности и фатального рассредоточения сил по различным театрам войны.

Пелопоннессцы атаковали афинскую эскадру, которая отступала кильватерной колонной к Навпакту (2.90.4), смогли отрезать девять кораблей, прижать их к берегу и уничтожить (*diéphtheíran*, 2.90.5). Оставшаяся часть афинской эскадры добралась до Навпакта, когда отступавшая последней триера смогла неожиданным маневром вокруг стоящего у входа в бухту торгового судна развернуться, контратаковать и, прорвавшись вперед левкадийский корабль (2.91.3). Как впоследствии выяснилось, на нем находился один из командующих пелопонесской эскадрой Тимократ (2.92.3). С этого момента ход сражения перевернулся: афиняне ободрились и перешли в общую контратаку; пелопоннессцы, не успев перестроиться и пребывая в смятении от неожиданного поворота событий, потеряли шесть своих кораблей и большинство захваченных ранее афинских и отступили сначала в Панорм, а затем в Коринф (2.92.2, 2.92.7).

Данный эпизод является не просто свидетельством афинской доблести, стойкости в тяжелых обстоятельствах и умения использовать удачный случай. Он содержит в себе два момента, характерных для стиля Фукидида, требовательного к читателю, многое сообщающего между строк и избегающего избыточной пропедевтики в области стратегии и политики.

Первый такой момент: несмотря на сопоставимые потери сторон и далекое от разгрома состояние пелопонесского флота (потерявшего всего 6 кораблей из 77¹), в стратегическом отношении сражение явилось однозначной победой афинян: флот противника не смог

¹ Стоит уточнить, что, вероятно, основные (если не все) потери понес авангард из 20 лучших кораблей, предназначенный отсечь Формиона от Навпакта, и в этом случае тяжесть материальных и моральных потерь для пелопонесского флота оказывается существенно выше простого количества утраченных кораблей. См.: (Wallinga 1993, p. 25).

прорвать блокаду и остался заперт в Коринфском заливе (Каган, 2023, с. 132). Фукидид утверждает однозначно: пелопоннесцы отступили в Коринф из страха перед победоносной афинской эскадрой, получившей к тому же дополнительные подкрепления (2.92.7)¹. При этом важность этой детали (по сути, определяющей стратегическую обстановку всей войны) никоим образом не подчеркивается, бесстрастное повествование сообщает о рутинном событии, значение которого читатель должен оценить самостоятельно.

Второй момент — в этом сюжете мы наглядно видим трудности, с которыми сталкиваются переводы Фукидida, и важность технических деталей для реконструкции содержания сказанного. Принципиальный для понимания хода и результатов сражения вопрос: какой именно ущерб был нанесен участвовавшим в бою кораблям? Фукидид использует терминологию вполне последовательно. Один и тот же глагол *diaphtheírō* встречается в этих главах трижды: при описании судьбы отрезанных афинских кораблей (2.90.5); в характеристике промежуточных итогов сражения — пелопоннесцы громят афинскую эскадру (2.91.1) и в рассказе о гибели корабля Тимократа (2.92.3). Словарное его значение — «уничтожать, губить» (Liddell Scott 1940) — в глазах переводчиков явно расходится с тем обстоятельством, что побежденные афинские корабли спартанцы пытаются отбуксировать, а афиняне в итоге отбивают обратно. Поэтому в переводе Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелева в первом случае: «сделали их [корабли] негодными к плаванию» (Фукидид 1999, с. 123), во втором — «вывели из строя» (Там же, с. 124), в третьем — «корабль [Тимократа] был поврежден» (Там же). Однако такой перевод расходится с прямым указанием на то, что корабль спартанского командующего затонул, причем сам Тимократ успел убить себя, его тело оказалось в воде и впоследствии было выброшено на берег волнами (то есть речь явно не просто о нежелании попасть в плен вместе с обездвиженным судном). В альтернативном варианте перевода Г. А. Стратановский, сохраняя перевод в первых двух случаях, о смерти Тимократа использует более сильную формулировку: «после гибели корабля» (Фукидид 1981, с. 106). В классическом английском переводе Ричарда Кроули в первом случае также говорится о повреждении, «*the rest [of the vessels] were... disabled*» (Thucydides 1950, p. 165); во втором — об уничтожении, «*the Athenian fleet destroyed*» (*Ibid.*, p. 166), в третьем — о затоплении, «*the ship was*

1 Последующее нападение Кнема и Брасида на Пирей (2.93–2.94), ради которого спартанские экипажи посуху добрались от Коринфа до мегарской гавани в Нисее, где сели на подготовленные корабли, выглядит разовой диверсией, а не попыткой всерьез изменить стратегическую ситуацию.

sunk» (*Ibid.*). Современный историк Дональд Каган, пересказывая ход боя (Каган 2023, с. 132), вообще игнорирует характер полученных кораблями повреждений и упоминает только о затонувшем корабле Тимократа.

Очевидные расхождения в переводах слаживаются обращением к деталям античного кораблестроения. Из-за небольшого веса и высокой плавучести триеры, получив пробоину, редко тонули полностью (Hanson 2006, р. 264) — что не избавляло экипаж от утопления, если своевременной помощи не было оказано (Fields 2007, р. 14). Можно резюмировать, что Фукидид использует *diaphtheirō*, когда говорит о невозвратной или долгосрочной потере корабля, но никак не о мелком повреждении, устранимом силами экипажа. То, что протараниенный корабль после боя может быть отбуксирован победителями, не отменяет его потерю. Произведенный здесь анализ будет важен для понимания последнего эпизода, которым завершится борьба за выход из Коринфского залива.

Сражение при Навпакте, помимо тактического мастерства и мужества афинской эскадры, демонстрирует еще одну важную черту афинского полиса: целеустремленность и последовательность в завоевании господства на море. Несмотря на усталость от войны и стремление части граждан к миру, которые проявлялись еще при жизни Перикла (2.59.1–2.59.2), даже после его смерти (2.65.6) важность позиции в Навпакте не вызывает каких-либо споров, при первой же угрозе Формиону направляются подкрепления, равные изначальной численности его сил, и сам его флот самоотверженно сражается против многократно превосходящих сил противника. Благодаря географии, внешней политике и накопленным ресурсам уже на момент начала войны Афины находятся в положении, которого в обычных условиях могли бы добиться, лишь победив в генеральном сражении. Однако сохранится ли это положение, будет зависеть исключительно от дальновидности и энергичности афинского полиса и его навархов. Меньше всего это соответствует известной характеристике Ганса Дельбрюка о том, что афиняне со стратегией Перикла выбрали не ведение, а «неведение» войны (Дельбрюк 1999, с. 110). На самом деле на море они активно ищут столкновения с противником, патрулируют возможные районы накопления его сил, навязывают сражения с решительными целями — в общем, делают все, чтобы не дать пелопоннесскому флоту накопить силы и даже попробовать выйти на оперативный простор открытого моря. Такой образ действий максимально далек от метафоры разобщенных и развращенных матросов из платоновского «Государства» (Платон 1994, с. 267), с которым соблазнительно сравнивать постперикловские Афины, и приближается к его же описанию благородного кормчего, способного прокладывать курс по звездам с учетом времени

года, неба и ветров (Там же, с. 268) — то есть умевшего созерцать целое для принятия частных решений.

Афинский полис может терпеть поражения на суше, поддаваться на речи демагогов, роптать под весом увеличивающихся тягот войны; но когда дело доходит до прямого столкновения эскадр, до определенного момента их действия выглядят безукоризненными. Владение искусством, дерзость в его реализации и пренебрежение к опасности — черты афинского характера, которые могут вызывать неодобрение Сократа и Платона, но делают афинян непревзойденными противниками на море.

Извращение искусства как путь к победе

Коринфяне же оказываются в положении, которое кажется безвыходным. Их флот по-прежнему заперт в заливе; предыдущие попытки прорыва закончились деморализующим поражением, которое однозначно продемонстрировало невозможность борьбы с афинянами в конвенциональном морском сражении. Спарта еще в рамках предварительных переговоров на пути к Никиеву миру пошла на унизительные условия — получить доступ к морю ценой полного отказа от военных кораблей (4.118.5; Wallinga 1993, p. 25). Отказ от противодействия, вероятно, приведет к падению осажденных афинской армией Сиракуз, без существенной помощи с Пелопоннеса постепенно теряющих волю к сопротивлению (6.103.3). За этим последует перенаправление необъятных ресурсов Сицилии на окончательный разгром Спарты и ее союзников.

Коринфянам остается небольшой выбор — или покориться судьбе, или попробовать в тех же условиях, что и раньше, усугубленных опытом прошлых поражений, сделать что-то по-новому. Отдельные корабли время от времени в летнюю-зимнюю кампанию 414–413 годов до н.э. прорывают афинскую блокаду: спартанец Гилипп крейсирует на юге Италии с четырьмя кораблями, собирая союзников (6.104.1, 7.42.3) и в конечном итоге не дает замкнуть кольцо афинской осады вокруг города; Гонгил приводит в Сиракузы корабль с помощью и обещанием более значительных подкреплений (7.2.1); наконец, коринфянин Эрасинид, обойдя афинские дозоры, приводит в сиракузскую гавань 12 кораблей (7.7.1; Каган 2023, с. 370). Однако неспособность этих сил переломить ситуацию очевидна для всех: афинский командующий под Сиракузами Никий игнорирует угрозу от Гилиппа, считая, что его силы годятся только для «пиратских набегов» (6.104.3). Для сравнения, корпус Демосфена, собранный на помощь Никию, идет на 30 кораблях (7.26.1), а исходный флот, отправленный в экспедицию, состоит из 134 триер и неизвестного числа транспортов (Каган 2023, с. 339). Без прорыва афинской блока-

ды у Навпакта и выхода коринфского флота на оперативный простор борьба за Сицилию так и будет носить односторонний характер. Афинский наварх Конон понимает это и, узнав о приготовлении коринфянами 25 триер для прорыва его эскадры, просит подкрепления, опасаясь не удержать их со своими 18 (7.31.4), — яркий контраст с тем, в каких условиях принимал бой Формион, и свидетельство того, что афинский флот к этому моменту не может быть сильным на всех театрах, а главным направлением остается Сицилия (Каган 2023, с. 381). Но то, что подкрепление он незамедлительно получает, столь же явно свидетельствует, что Демосфен и Евримедонт понимают важность этого направления (7.31.5) и делают все, чтобы новая попытка коринфян закончилась тем же, чем и предыдущие.

Фукидид не приводит имен авторов новой коринфской инициативы. В качестве наварха указан коринфянин Полианф (7.34.2), однако никаких дополнительных сведений о нем и указаний, что именно он был автором нового плана действий, нет. Сам план не изложен в виде речи, Фукидид не сообщает, сразу ли его приняли, какими могли быть возражения и ответы на них. Более того, технические детали, объясняющие суть предпринятых коринфянами новаций, излагаются позже собственно описанного события, когда «точно таким же образом, как коринфяне у Навпакта» (7.36.2) переделают свои корабли сиракузяне, готовясь к сражению в Большой гавани. И тем не менее именно этот план обращает морское искусство афинян против них самих и переворачивает ход всей войны.

169

Само описание последнего боя у Навпакта в 413 году до н.э. занимает у Фукидиса меньше одной главы (7.36.3–7.36.8). 33 афинских и «немного меньше» коринфских триер сошлись в лобовом столкновении; в итоге три коринфских корабля были потеряны, а около семи афинских — повреждены. Решительной победы не одержал никто, пленных не было, обе стороны установили трофеи, считая себя победителями. В чем же значимость столь небольшого по масштабу, малосодержательного тактически и по результатам боя? Или, говоря конкретнее, на что рассчитывали коринфяне, отказавшиеся как от правильного маневрирования, так и от попыток устроить абордажное сражение, подобного тому, которое произошло у Сиботских островов в начале конфликта?

Ключевые ответы содержатся во фрагменте 7.36.5 (перевод Г. А. Стратановского)¹:

¹ καὶ τῶν μὲν Κορινθίων τρεῖς νῆες διαφθείρονται, τῶν δ' Αθηναίων κατέδυ μέν οὐδεμίᾳ ἀπλῶς, ἐπτὰ δέ τινες ἄπλοι ἔγενοντο ἀντίπρωροι ἐμβαλλόμεναι καὶ ἀναρραγέσαι τὰς παρεξειρεσίας ὑπὸ τῶν Κορινθίων νεῶν ἐπ' αὐτὸ τοῦτο παχυτέρας τὰς ἐπωτίδας ἔχουσῶν. Автор выражает признательность А. В. Михайловскому за помощь в переводе и обсуждение данного фрагмента.

Три коринфских корабля было уничтожено; у афинян, хотя ни один корабль не был совершенно затоплен, однако семь кораблей вышли из строя, получив в носовой части пробоины от ударов коринфских кораблей (именно для этой цели якорные брусья-тараны коринфских кораблей были сделаны более массивными).

Повреждения коринфских кораблей Фукидид характеризует все тем же словом *diaphtheírō*, которое обсуждалось выше; в отношении афинских используется более конкретное обозначение — они утратили мореходность (*áploi egéronto*) вследствие лобового столкновения (*antíprōroi embállōmenai*), а также получили повреждения парексейресии — аутригера, то есть вынесенной за пределы борта опоры, увеличивающей эффективность гребли верхнего ряда весел без расширения корпуса судна (Fields 2007, p. 13; Wallinga 1993, p. 14; Каган 2023, с. 383). Отсутствие аналогичного урона у коринфских кораблей Фукидид объясняет изменением их конструкции: они имели специально утолщенные эпотиды — деталь корпуса, о которой следует сказать подробнее.

В обоих упомянутых переводах на русский этот кораблестроительный термин, не имеющий прямых аналогов на судах позднейших эпох, удовлетворительно не переведен: говорится о «толстых брусьях» (Мищенко, Жебелев) или о «якорных брусьях-таранах» (Стратановский) без какого бы то ни было объяснения их расположения или основной функции. Виктор Хансон упрощает картину, говоря, что противники афинян укрепили «тараны» (*ram*) своих судов (Hanson 2006, p. 218). Это принципиально неверно: для бронзового тарана у греков использовался совершенно иной термин — *embolos* (Fields 2007, p. 17), с которым связан и глагол *embállo* — «бросаться, таранить». Эпотиды отсутствуют на древних изображениях пентеконтер (Tzahos 2002, p. 776) и их появление связывается с развитием специализированной таранной тактики и дизклила (Wallinga 1993, p. 59). Они представляют собой поперечные брусья в носовой части корабля, защищающие парексейресию от повреждений при столкновении с судном противника на встречных курсах (Tzahos 2002, p. 785; Fields, 2007, p. 38); к ним же, как свидетельствует Еврипид, в качестве дополнительной функции действительно прикреплялся якорный канат (*Ibid.*, p. 776). Кроме того, на реплике «Олимпии», как и, например, на этрусской вазе из Британского музея, выполненной в форме носа триеры (Fields 2007, p. 22), хорошо видно, что эпотиды служат основанием продольных ребер жесткости, придающих корпусу в носовой части большую прочность при нагрузке от таранного удара. Коринфяне, согласно упомянутому выше указанию из рассказа о битве в Большой гавани (7.36.2), дополнительно укрепляют эпотиды подпорками изнутри корпуса, а также укорачивают

и утолщают сами носы своих триер, делая их более массивными, чем полые и слабые носы афинских судов (7.36.3).

Все эти изменения, разумеется, далеко не являются однозначным улучшением конструкции, как их оценивают некоторые авторы (Hanson 2006, p. 255), склонные видеть причину успеха коринфян против более искусных афинских экипажей в техническом превосходстве их судов. Неравномерное увеличение веса и смещение баланса судна к носу, равно как и придание корпусу менее обтекаемой формы за счет укорачивания носовой части неизбежно должны были радикально снизить скорость и маневренность — ключевые параметры для успешного тарана, — а также мореходность в открытом море. Большой вопрос, смогли бы такие корабли в нормальных условиях бороться даже с пиратскими пятидесятисельниками, не говоря уже о «правильном» сражении с триерами другого полиса. Характерно, что в описании последующего этапа войны, когда боевые действия перенеслись в открытые пространства Ионии, Фукидид ни разу не упоминает о том, чтобы какая-либо из сторон продолжала использовать подобные «улучшения».

Но в конкретной ситуации боя в узком проливе эти меры оказались оружием, которому Афины не смогли найти противодействия. От коринфских кормчих теперь не требовалось совершать сложных маневров или пытаться взять более быстрого и умелого противника на абордаж, как, например, римлянам в сражении при Мелах (Полибий 2005, с. 161–162). Действия коринфского флота здесь — отнюдь не недостаток *epistēmē*, как в сражении при Сиботах, а выполнение продуманного плана. Стремление к лобовому столкновению, которое раньше считалось недостатком искусства, «невежеством» (*amathiā*, 7.36.5) кормчего, позволило коринфянам действовать напористо и целеустремленно, не опасаясь разницы в опыте и навыках экипажей, и вывести из строя существенную часть судов противника, нанеся им некритичные, но требующие ремонта повреждения. Эпогиды — защитные по функции приспособления — стали средством прорыва блокады, так как в результате столкновения афинская эскадра потеряла, пусть и временно, более 20% своего состава, отказалась от продолжения боя и не препятствовала дальнейшим действиям коринфян. Их же задача в этом бою, как Фукидид несколько раз подчеркнул до этого (7.17, 7.19), заключалась вовсе не в уничтожении противника, а в обеспечении прорыва для транспортных судов, чтобы переправить на Сицилию подкрепления. Удалось ли коринфянам в итоге выполнить эту миссию, мнения расходятся (Штенцель 1916, с. 304; Каган 2023, с. 383), однако есть по крайней мере два основания считать общую операцию коринфского флота успешной. Во-первых, Фукидид совершенно определенно привязывает последующие переделки

сиракузских кораблей к положительному опыту боя при Навпакте (7.36.2), соответственно, хотя бы некоторые из его участников смогли в короткое время добраться до Сицилии и передать союзникам рецепт своего успеха (что и привело в итоге к гибели афинского флота). Во-вторых, следует обратить внимание не только на то, о чём говорится в дальнейшем тексте «Истории», но и о чём *перестает упоминаться*.

Фукидид, который, по выражению Лео Штрауса, пишет для «Никиев будущих поколений» (Strauss 1964, p. 202), то есть учит будущих военных и политических деятелей опираться на собственное суждение при понимании причин и следствий описываемых событий, не сопровождает такие фигуры умолчания проясняющим комментарием. Так что читателю остается самому делать выводы из того обстоятельства, что Навпакт, ключевой пункт афинского господства над Коринфским заливом (и, соответственно, над наиболее существенной частью морских сил Пелопонесского союза), за который шла борьба с первых лет войны, начисто пропадает из дальнейшего повествования — за исключением единственного упоминания в контексте прошлого (7.57.8). Говорить это может только о том, что афинский флот оставил столь важную базу, а коринфяне получили свободу операций в открытом море — не отдельными кораблями, как раньше действовал Гиличипп, но целыми эскадрами. Так «неведение» (если вспомнить характеристику Дельбрюком стратегии Перикла) коринфянами правильного маневренного боя на тактическом уровне открыло им новые стратегические возможности и позволило повернуть в свою пользу, казалось бы, безвыходную ситуацию.

Неограниченная морская война, в которой любой транспортный корабль и любая точка побережья могут быть неожиданно атакованы — то, чего так стремился избежать Перикл, — становится реальностью для обеих сторон. Афиняне входят в эту новую стадию противостояния без своих лучших кораблей и экипажей, погибших в катастрофическом поражении на Сицилии, пелопонесцы — с новой уверенностью в своих силах, возможностью сообщаться по морю, поддерживать и получать ресурсы от всех недовольных афинским могуществом, будь то полисы Ионии или персидские сатрапы. Благодаря эпоптидам коринфских кораблей, сделавшим их неуклюжими и неповоротливыми, пелопонесцы пробиваются себе выход в море, не потопив ни одной афинской триеры. То, что поначалу кажется извращением искусства кормчего и самого предназначения триеры, оказывается более высокой его формой, сочетанием дерзости и духа новации: ведь задача любой стратегии и тактики не в том, чтобы нанести таран или совершить определенный маневр, а в том, чтобы добиться победы.

Заключение

Что же эта история позволяет нам понять о роли насилия в повествовании Фукидида и о насилии как таковом? Во-первых, именно изображение конкретных эпизодов вооруженного противостояния проявляет особенность фукидидовского стиля, в некоторых случаях изобилующего техническими подробностями, в некоторых — активно использующего фигуры умолчания. Какие именно повреждения получили корабли, в каком направлении отступила побежденная эскадра, каковы были стратегические последствия того или иного локального столкновения, имеет для понимания логики сюжета не меньшее значение, чем эксплицитные разъяснения хода событий в речах полководцев и политиков (анализ которых давно стал классическим сюжетом для политической философии — возможно, в ущерб вниманию к более приземленным деталям). На самом же деле насилие играет в «Истории Пелопоннесской войны» не менее важную роль, чем публичная речь или перипетии судьбы, — оно обладает собственным языком и логикой; при его описании Фукидид придерживается строгой последовательности, через добавление ключевых деталей или, наоборот, редуцирование ненужных подробностей расставляет смысловые акценты, при этом оставляя читателю задачу по их интерпретации.

Во-вторых, именно возможности общества по осуществлению насилия оказываются для Фукидида главным критерием при оценке значительности той или иной эпохи. Столкновение двух эскадр у Навпакта не поражает воображение масштабом гомеровского «списка кораблей», но уровень организации, тактической и технической изощренности, горизонт планирования, сделавшие возможным это событие, и его далеко идущие последствия не имеют аналогов в древности или у варварских народов. Так воевать умеют только греки, и греки — это те, кто умеют так воевать.

Наконец, в этих нескольких на первый взгляд разрозненных эпизодах классической истории впервые настолько отчетливо проявляются черты «злого, т.е. опасного и динамического существа» (Шмитт 2016, с. 338), каковым человека видела обширная политико-философская традиция, от Макиавелли и Гоббса до самого Шмитта. Потерпевшие унизительное поражение, запертые географией и афинским флотом в ловушке залива, коринфяне не перестают быть «злыми и опасными»; они упорно продолжают искать возможности помешать врагу реализовать его преимущества и ударить туда, где будет больнее всего. На страницах Фукидида — беспристрастно описывающего решения и действия как своих сограждан, так и их врагов, старательно избегающего любых творческих преувеличений и приукрашиваний, — создается портрет человека как существа, выражают-

щего собственную человечность именно через насилие. Это описание не просто наделяет насилие разумным характером, но впервые сообщает ему поистине творческую мощь — которая отнюдь не снижается и в тех случаях, когда направлена чисто на разрушение творчества противника. Такое отношение к насилию не может не внушать тревогу: на второй план уходят как человеческие страдания и смерть, так и любые ненасильственные формы деятельности. И тем не менее, как кажется, именно такой взгляд на связь насилия и политической жизни высвечивает определенные черты человеческого существа, остающиеся в тени при любом другом подходе. «В беде и опасности, когда животное и растение беспомощно гибнут, он [человек] способен возродиться к новой жизни путем интеллектуального усилия, волевого решения, уверенного анализа ситуации и умозаключения. Он располагает свободным пространством для своей власти и своего исторического могущества» (Шмитт 2016, с. 338).

Список источников / References

174

- Гегель Г. В. Ф. (1993) *Лекции по философии истории*. СПб.: Наука.
— Hegel G. W. F. (1993) *Lectures on the Philosophy of History*. St. Petersburg: Nauka. (in Russ.)
- Гэддис Д. Л. (2021) *О большой стратегии*. М.: Издательство Института Гайдара.
— Gaddis J. L. (2021) *On Grand Strategy*. Moscow: Gaidar Institute Publishing House. (in Russ.)
- Дельбрюк Г. (1999) *История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1: Античный мир*. СПб.: Наука, Ювента.
— Delbrück H. (1999) *History of the Art of War. Vol. 1: Ancient World*. St. Petersburg: Nauka, Juventa. (in Russ.)
- Каган Д. (2023) *Пелопоннесская война*. М.: Альпина нон-фикшн.
— Kagan D. (2023) *The Peloponnesian War*. Moscow: Alpina Non-Fiction. (in Russ.)
- Клаузевиц К. (1998) *О войне*. М.: Логос, Наука.
- Clausewitz C. (1998) *On War*. Moscow: Logos, Nauka. (in Russ.)
- Мэхэн А. Т. (2002) *Влияние морской силы на историю, 1660–1783*. СПб.: Terra Fantastica.
— Mahan A. T. (2002) *The Influence of Sea Power upon History: 1660–1783*. St. Petersburg: Terra Fantastica. (in Russ.)
- Платон (1994) *Государство. Платон*. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 3. М.: Мысль, с. 79–420.
— Plato (1994) *The Republic*. Plato, Collected Works. Vol. 3. Moscow: Mysl, pp. 79–420. — in Russ
- Полибий (2005) *Всеобщая история*. Т. 1. Кн. I–V. СПб.: Наука.
— Polybius (2005) *The Histories*. Vol. 1. Book I–V. St. Petersburg: Nauka. (in Russ.)

Псевдо-Ксенофонт (2020) *Афинская полития. Аристотель*. Афинская полития. М.: Академический проект, с. 142–151.

— Pseudo-Xenophon (2020) *Constitution of the Athenians. Aristotle*. The Athenian Constitution. Moscow: Academical Project, pp. 142–151. (in Russ.)

Фукидид (1981) *История* / Под ред. Г. А. Стратановского, А. А. Нейхардт, Я. М. Боровского. Л.: Наука.

— Thucydides (1981) *History*. Leningrad: Nauka. (in Russ.)

Фукидид (1999) *История* / Пер. Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелева; под ред. Э. Д. Фролова. СПб.: Наука, Ювента.

— Thucydides (1999) *History*. St. Petersburg: Nauka. Juventa. (in Russ.)

Шмитт К. (2008) *Номос земли*. СПб.: Владимир Даль.

— Schmitt C. (2008) *The Nomos of the Earth*. St. Petersburg: Vladimir Dal. (in Russ.)

Шмитт К. (2016) *Понятие политического*. СПб.: Наука.

— Schmitt C. (2016) *The Concept of the Political*. St. Petersburg: Nauka. (in Russ.)

Штенцель А. (1916) *История войны на море в ее важнейших проявлениях с точки зрения тактики: в 5 т. Т. 2*. СПб.: Типография Морского адмиралтейства.

— Stenzel A. (1916) *The History of War at Sea in Its Most Important Manifestations in Terms of Naval Tactics*. Vol. 2, St. Petersburg: Naval Admiralty Publ. (in Russ.)

Fields N. (2007) *Ancient Greek Warship: 500–322 BC (New Vanguard 132)*, Oxford: Osprey Publishing.

Forde S. (1986) Thucydides on the Causes of Athenian Imperialism. *The American Political Science Review*. Vol. 80. No. 2, pp. 433–448.

Gabrielsen V. (2010) *Financing the Athenian Fleet: Public Taxation and Social Relations*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Hanson V. D. (2006) *A War Like No Other: How the Athenians and Spartans Fought the Peloponnesian War*. New York: Random House.

Jaffe S. N. (2017) *Thucydides On the Outbreak of the War: Character and Context*. Oxford: Oxford University Press.

Liddell H. G., Scott R. (1940) *A Greek-English Lexicon*. Oxford: Clarendon Press.

Morrison J. S., Coates, J. F. (1986) *The Athenian Trireme: The History and Reconstruction of an Ancient Greek Warship*. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt C. (2015) *Land and Sea: A World-Historical Meditation*. Candor, NY: Telos Press Publishing.

Strauss L. (1964) *The City and Man*. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Thucydides (1950) *The History of the Peloponnesian War*. NY.: E. P. Dunton & Co.

Tilley A. (2004) *Seafaring on the Ancient Mediterranean*. Oxford: BAR Publishing.

Tzahos E. (2002) The Athenian Trireme: Form and Function of the “Epotides”. *Tropis VII: 7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity 2*, pp. 775–790.

Wallinga H. T. (1993) *Ships and Sea-Power Before the Great Persian War: the Ancestry of the Ancient Trireme*. Leiden: E. J. Brill.

Об авторе / About the author

Гуляев Роман Владимирович — кандидат философских наук, старший преподаватель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Научные интересы: история философии, политическая философия, философия войны.

<https://orcid.org/0000-0002-2558-1847>. E-mail: rgulyaev@hse.ru

Roman V. Gulyaev — CSc in Philosophy, senior lecturer in School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities, Higher School of Economics University. Research interests: history of philosophy, political philosophy, philosophy of war.

<https://orcid.org/0000-0002-2558-1847>. E-mail: rgulyaev@hse.ru

Влияние раскола элит на успех неооруженных революционных выступлений начала XXI века

АЛЕКСАНДР А. ИЖОГИН

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0002-3451-3790>

АНДРЕЙ В. КОРОТАЕВ

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»;

Институт Африки РАН, Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0003-3014-2037>

Рекомендация для цитирования:

Ижогин А. А., Коротаев А. В. (2025)

Влияние раскола элит на успех неооруженных революционных выступлений начала XXI века.

Социология власти, 37 (3): 177-213

EDN: SHGWYS

For citation:

Izhogin A. A., Korotayev A. V. (2025)

Impact of the Split of Elites on the Success of Unarmed Revolutionary

Episodes of the Early 21st Century.

Sociology of Power, 37 (3): 177-213

Поступила в редакцию: 18.01.2025;

прошла рецензирование: 03.04.2025;

принята в печать: 20.08.2025

Received: 18.01.2025; Revised:

03.04.2025; Accepted: 20.08.2025



© Authors, 2025

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: Существующие по расколу элит дают основания предполагать его значимость для революционного успеха, а также значимость для успеха революционного выступления перехода на сторону революционной оппозиции прежде всего силовых элит. Авторы, с опорой на современные политологические концепции и сравнительно-качественный анализ (QCA), протестирували соответствующие гипотезы. Использовались следующие переменные: разнообразие протестующих по социально-демографическим признакам; разнообразие протестующих по политическим признакам; разнообразие протестующих по этнорелигиозным признакам; поддержка режима извне; поддержка протестующих извне; раскол гражданских элит; раскол силовых элит; число участников революционного эпизода на пике события. В качестве кейсов были выбраны революционные эпизоды, произошедшие в период с 2000 по 2013 год, по которым имеется достаточно информации для проведения анализа. Результаты QCA показали, что одновременный раскол обоих видов элит является значимым предиктором успеха большинства неооруженных революционных эпизодов, попавших в выборку, однако

речь идет о достаточном, но не необходимом условии революционного успеха. При этом если имеется раскол лишь одного из видов элит, то невооруженное революционное выступление может победить, только если присутствует разнообразие протестующих по политическим признакам (что является индикатором наличия широкой революционной коалиции). В целом широкая революционная коалиция показывает себя в качестве очень мощного фактора успеха невооруженного революционного выступления, близкого по своей силе к фактору раскола элит. Другим достаточно важным предиктором революционного успеха оказалось сочетание внешней поддержки участников невооруженного революционного выступления с отсутствием внешней поддержки режима.

Ключевые слова: революция, факторы успеха, раскол элит, переход силовиков, сравнительно-качественный анализ (QCA), «арабская весна», цветные революции

Impact of the Split of Elites on the Success of Unarmed Revolutionary Episodes of the Early 21st Century

178

Alexander A. Izhogin

HSE University; Moscow, Russian Federation
<https://orcid.org/0000-0002-3451-3790>

Andrey V. Korotayev

HSE University; Moscow, Russian Federation
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences; Moscow,
Russian Federation
<https://orcid.org/0000-0003-3014-2037>

Abstract: Existing data on elite splits suggest their significance for revolutionary success, as well as the significance of the defection of primarily security elites to the side of the revolutionary opposition for the success of a revolutionary uprising. The authors, relying on modern political science concepts and qualitative comparative analysis (QCA), tested the corresponding hypotheses. The following variables were used: diversity of protesters by socio-demographic characteristics; diversity of protesters by political characteristics; diversity of protesters by ethnoreligious characteristics; external support for the regime; external support for protesters; splits in civilian elites; splits in security elites; the number of participants in the revolutionary episode at the peak of the event. The cases selected were revolutionary episodes that occurred between 2000 and 2013 for which there is sufficient information for analysis. The QCA results show that simultaneous splits in both types of elites is a significant predictor of success for the majority of unarmed revolutionary episodes

included in the sample; however, this is a sufficient but not a necessary condition for revolutionary success. Moreover, if only one type of elite is split, then an unarmed revolutionary uprising can only succeed if there is a diversity of protesters along political lines (which is an indicator of the presence of a broad revolutionary coalition). Overall, a broad revolutionary coalition has proven to be a very powerful factor in the success of an unarmed revolutionary uprising, similar in strength to the factor of elite splits. Another significant predictor of revolutionary success turns out to be the combination of external support for the participants in the unarmed revolutionary uprising and the absence of external support for the regime.

Keywords: revolution, nonviolent revolutions, success factors, split of the elites, security forces defection, qualitative comparative analysis (QCA), Arab Spring, color revolutions

Введение

Практически с момента зарождения социальных наук (и политической социологии в частности) революции и их исследования занимали в них важную роль. При этом, вопреки широко распространенным представлениям о революциях как о явлении прошлого, они продолжают происходить. Только за два первых десятилетия XXI века мы стали свидетелями нескольких десятков революционных и квазиреволюционных эпизодов (Голдстоун и др. 2022, 2023). При этом новые выступления нередко предлагают новые тактики революционного протеста, новые способы организации протестующих, новые варианты влияния различных экономических, социальных и политических факторов на возникновение революции и новые способы борьбы с революционерами со стороны режима (Beissinger 2022).

С момента начала изучения революций исследователей больше волновали скорее их причины (об этом см.: Медведев и др. 2022; Коротаев и др. 2025; Korotayev et al. 2025). Однако с каждым новым поколением исследователи обращали внимание и на другие аспекты революций. Со второй половины XX века после успеха ненасильственных революций они оказались под пристальным вниманием исследователей, многие видели в ненасильственных методах, используемых протестующими, практически идеальную тактику революционного успеха. И хотя последующие события значительно поколебали это убеждение, ненасильственные тактики ввиду их распространенности по-прежнему активно изучаются учеными и продолжают находиться в фокусе внимания исследователей, занимающихся изучением революций.

Со временем внимание многих исследователей переключилось на изучение факторов, приводящих к революционному успеху

(Chenoweth, Stephan 2011; Cunningham 2023; Gleditsch et al. 2023). Провал многих революционных движений, использующих ненасильственные тактики, активизировал изучение таких факторов. Многие факторы, в частности, уровень мобилизации протестующих, влияние иностранной поддержки (как поддержки инкумбента, так и поддержки протестующих), тактики протестующих, в целом хорошо изучены, по ним собрана довольно богатая эмпирическая база, при помощи которой сформированы определенные теоретические наработки. Однако фактор раскола элит, не оставаясь без внимания в исследовательской литературе, оказывается недостаточно изученным.

Объект нашего исследования — раскол элит как фактор революционного успеха, где под расколом понимается переход части гражданских или силовых (военных или сил безопасности) элит на сторону протестующих, либо же их нейтралитет, что равнозначно отказу от поддержки инкумбента и фактически означает переход на сторону протестующих.

Предметом нашего рассмотрения являются революционные события, произошедшие в период с 2000 по 2013 год. Данный временной промежуток был выбран по нескольким причинам. Во-первых, революционные события данного периода достаточно хорошо изучены, большая часть революционных эпизодов завершена, накоплена хорошая эмпирическая база. Во-вторых, в период с 2000 по 2013 год прошло две революционные волны XXI века, в частности, волна так называемых цветных революций и «арабская весна» (Goldstone et al. 2022a), потому данный временной промежуток богат на примеры интересующих нас событий. В качестве исследовательского метода использовался качественный сравнительный анализ (QCA), изобретенный в 1980-х Ч. Рэджином, который сочетает элементы качественных (case-study) и количественных методов, делая при этом особый акцент на анализе достаточных и необходимых условий для наступления желаемого исхода (Ragin 2008), а потому максимально подходящего для анализа факторов, ведущих к успеху революции при условии наличия малой и средней выборки, так как при значительном расширении кейсов эффективность данного метода снижается и применение «чистых» количественных методов было бы оправданнее.

В качестве источника данных использовалась база данных революционных эпизодов за период ХХ–ХХІ вв., подготовленная в Гарвардском университете группой под руководством Э. Ченовет, — *Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes/NAVCO 2.1* (Chenoweth, Shay 2019a, 2019b, 2022).

Отметим, что сама Ченовет предпочитает называть объекты описания в своей базе данных не «революциями», а «максималист-

скими кампаниями». При этом, вслед за П. Акерманом и М. Крюглером (Ackerman, Kruegler 1994), Э. Ченовет и М. Стивен определяют «кампанию» как «серию наблюдаемых, непрерывных, целенаправленных массовых тактик в преследовании политической цели» (Chenoweth, Stephan 2011, p. 14). Более того, в NAVCO дается формализованное описание кампаний «с целями, которые воспринимаются как максималистские (фундаментальное изменение политического порядка); ...мы намеренно выбираем только кампании с целями, которые воспринимаются как максималистские по своей природе: смена режима или национальное самоопределение» (Chenoweth, Stephan 2011, p. 68). Таким образом, в вышеупомянутых работах изучаются «серии наблюдаемых, непрерывных, целенаправленных массовых тактик, преследующих фундаментальные изменения политического порядка: смену режима или национальное самоопределение» (см. также: Chenoweth, Shay 2020a, pp. 1–2, 4).

Важно отметить, что данное определение практически не отличается от тех определений революции, которые используются в рамках пятого поколения исследований революций: «революция — это коллективная мобилизация, которая пытается быстро и насилием свергнуть существующий режим с целью трансформации политических, экономических и символьических отношений» (Lawson 2019, p. 5); «революция — антиправительственные (очень часто противозаконные) массовые акции (массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены в течение определенного времени существующего правительства; (2) захвата власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; (3) существенного изменения режима, социальных или политических институтов» (Гринин, Коротаев 2020, с. 855), или «попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» (Goldstone 2006, с. 61)¹. Сопоставление этих определений показывает, что «максималистские кампании» — это не что иное, как революции (в том числе национально-освободительные); следовательно, вышеупомянутые работы действительно изучают революции (довольно причудливо обозначенные как «кампании»). В пользу этого говорит и тот факт, что в базе данных Эрики Ченовет NAVCO: Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes 1.3 «кампаниями» названы все бесспорные революции с 1900 года — включая российские революции 1905–1907 и 1917 годов, Конституционную революцию в Иране, Синь-

¹ Подробный обзор определений революции см. в: (Goldstone et al. 2022b).

хайскую революцию в Китае, Мексиканскую революцию 1910–1917 годов и так далее (Chenoweth, Shay 2020b). Таким образом, база данных NAVCO оказывается вполне релевантной и для нашего анализа факторов успеха революций.

Теоретико-методологическая часть

Теоретическая рамка

В современной науке исследования революций принято делить на несколько поколений, начиная с нулевого и заканчивая пятым (см., например: Голдстоун 2006; Коротаев, Жданов 2023а, 2023б; Коротаев и др. 2025; Abrams 2019; Beissinger, 2022; Krotayev et al. 2025; Lawson 2019).

Особенно серьезный вклад в исследование фактора раскола элит и его роли в революционной нестабильности удалось внести исследователям четвертого поколения (1990–2000-е гг.). В отличие от предыдущих поколений, исследователи четвертого поколения переключились на анализ внутриэлитных конфликтов, показав важность не только раскола элит непосредственно перед революцией, но и во время нее, указывая на это как на важный фактор препятствования функционирования государства и потенциальной победы революции. Более обширные исследования большого количества кейсов также привели исследователей к возможности сделать некоторые выводы о роли элит в революциях. Так, Дж. Голдстоун утверждал, что раскол элит, понимаемый как поляризация элиты с выделением ряда крупных групп, готовых создать или возглавить уже существующий протест, в сочетании с массовой мобилизацией приводит к революционному успеху. Без массовой мобилизации элиты могут совершить государственный переворот, либо принудить инкумбента к реформам. К причинам, которые могут сподвигнуть элиты на переход в оппозицию к режиму, Голдстоун относит неспособность инкумбента обеспечивать потребности элиты, будь то материальные или культурные потребности (Голдстоун 2006). К аналогичным выводам пришли также Ш. Непштед (Nepstad 2011) и М. Бейссингер (Beissinger 2022), отметившие неудовлетворенность силовых элит своим положением как важный фактор их перехода на сторону протестующих.

В конце 2000-х и в 2010-е годы формируется пятое поколение исследований революций, главными отличительными чертами которого являются опора на глобальные базы данных революционных событий, широкое использование современных методов количественного анализа, а также принципиальное представление о том, что для вооруженных и невооруженных революционных

событий характерны принципиально разные факторы, структура и последствия (Коротаев, Жданов 2023а, 2023б; Коротаев и др. 2024, 2025; Grinin, Korotayev 2024; Korotayev et al. 2025)¹.

Ряд работ представителей пятого поколения изучения революций по революционному успеху также интересны для нашего исследования. Так, в работе Ч. Батчера и соавторов исследовалось влияние национальных профсоюзов на ненасильственные революционные выступления (Butcher et al. 2018). Авторы пришли к выводу, что профсоюзы имеют влияние на краткосрочный успех ненасильственной революции, а также улучшают шансы на демократизацию страны впоследствии. В работе Э. Ченовет и К. Шока было показано, что насильственные действия, проходящие параллельно с ненасильственными революционными выступлениями, обычно не увеличивают вероятность успеха последних (Chenoweth, Schock 2015). Д. Гледхилл с соавторами обращали внимание на роль творческих, юмористических и других положительных эмоциональных факторов, используя которые революционное выступление может увеличить число участников и добиться большего успеха (Gledhill et al. 2022). М. А. Кадивар и Н. Кетчли отмечали связь между применением невооруженного насилия участниками невооруженного революционного выступления и последующей демократизацией страны (Kadivar, Ketchley 2018). И. Калин с соавторами обращает внимание на связь между стратегической важностью страны — мишени революции для внешних акторов и их поддержкой революционных движений в данных странах, а также делает наблюдение, что поддержка протестующих внешними акторами может повлиять на решение сил безопасности оставить инкумбента и тем самым улучшить шансы протестующих на успех (Kalin et al. 2022). М. Кириши и Э. Демирхан в своем исследовании подтверждают гипотезу о положительном влиянии наличия большого количества природных ресурсов (особенно нефти) на вероятность поражения невооруженного революционного выступления (Kirisci, Demirhan 2021). Р. Ю.-Л. Лиу с соавторами отмечают влияние экономических санкций на успех ненасильственных вооруженных выступлений (Liou et al. 2023). М. Д. Себул и С. Грэвэл находят связь между наличием в стране призывной армии и вероятностью перехода солдат на сторону протестующих (Cebul, Grewal 2022). М. Д. Стефан и Э. Ченовет совместно на большом наборе данных исследовали преимущество ненасильственных революционных выступлений/«максималистских кампаний» над вооруженными (Stephan, Chenoweth

¹ О пятом поколении теорий революции см. также: (Abrams 2019; Allinson 2019).

2008; Chenoweth, Stephan 2011). С другой стороны, в более позднем совместном исследовании Э. Ченовет и К. В. Шайа на большом объеме данных отмечалось снижение доли успешных ненасильственных революционных выступлений после 2001 года (Chenoweth, Shay 2022).

Таким образом, можно отметить довольно широкий размах теорий четвертого и пятого поколений, наиболее ясно выраженный мыслью Голдстоуна о том, что процессы и результаты революций определяются групповой идентификацией, сетями и коалициями; лидерством и конкурирующими идеологиями; а также взаимодействием между правителями, элитами, народными группами и иностранными державами в ответ на продолжающиеся конфликты (Голдстоун 2006). Подобный размах теории и большое число изучаемых кейсов также привели представителей четвертого и пятого поколений к идею, что любое, даже незначительное, изменение в начальных условиях или последовательности событий может привести к другому результату, отчего революции имеют разную траекторию.

Таким образом, основной теоретической предпосылкой являются идеи четвертого и пятого поколений изучения революций, в частности основные определения и теоретические наработки. Выше мы уже дали те определения революции, на которые мы опираемся. Раскол элит понимается как ситуация поляризации элит с образованием двух или более элитных групп, выступающих против действующего режима путем создания массового протеста или же присоединяясь к уже существующему протесту против него. Определение ненасильственной революции в данном исследовании совпадает с конвенциональным определением большинства исследователей, в частности ситуации использования протестующими тактик, близких к описанным Джином Шарпом в его работе «198 ненасильственным методам» (Sharp 1973). Революционным успехом считается захват власти протестующими и свержение инкумбента, без учета дальнейших событий, то есть простая победа революционеров.

Методы

На заре изучения революций и еще долгое время после фактически единственным и безальтернативным методом было детальное изучение каждого конкретного случая в отдельности, известное как кейс-стади (*case-study*) и неформализованное сопоставление этих кейсов (Голдстоун 2006). Кейсом служил конкретный революционный эпизод. Практически все исследователи до сих пор единодушно считают этот метод эффективным, хотя отмечаются и некоторые

его недостатки. В частности, кейс-стади тяжело поддаются генерализации результатов, с их помощью сложно выявить связи между различными факторами.

Другим методом исследования был микроуровневый анализ мотивов революционеров на основе моделей рационального выбора. Исследования с применением данного метода серьезно продвинули понимание процессов массовой мобилизации (Голдстоун 2006).

Первые попытки использования количественных методов начали предпринимать уже исследователи второго поколения (см., например: Davies 1962; Feierabend, Feierabend 1972; Gurr 1968). Однако если рассматривать глобальную ситуацию, то их применение было крайне ограничено и широко они не использовались ввиду недостаточного развития необходимых для этого информационно-вычислительных технологий. Позднее, с кардинальным совершенствованием этих технологий, применение количественных методов в рассматриваемой области получило второе рождение (Коротаев и др. 2025; Korotayev et al. 2025).

Количественные методы исследования революционных событий отошли от обычной регрессии и модели страна-год, значительно усложнившись, и добились убедительных результатов и очень широкого использования. В пятом поколении революционных исследований их роль стала особенно велика; она является ключевым отличием данного поколения от предыдущих (Коротаев, Жданов 2023а, 2023б; Коротаев и др. 2024, 2025; Grinin, Korotayev 2024; Korotayev et al. 2025).

185

Отдельным направлением в исследованиях революций стало использование качественного сравнительного анализа (*qualitative-comparative analysis*, QCA), иначе называемого булевым. Построенный на булевых переменных, где 0 означает нет, а 1 да, QCA особенно полезен для анализа достаточных и необходимых условий на маленьких и средних (обычно до 60) выборках, позволяя совместить преимущества классических количественных и качественных (кейс-стади) методов и минимизируя их недостатки (Ragin 2008). Однако данный метод сильно зависит от кодировки и не позволяет экстраполировать свои результаты на генеральную совокупность в необходимом объеме (Scott, Marshall 2009). Тем не менее метод достаточно эффективен в рамках допущений теории революций четвертого и пятого поколения, где делается особый акцент на значительной изменчивости траекторий революций в зависимости от наличия или отсутствия некоторых факторов.

QCA применялся Дж. Фораном (Foran 1997) и Т. Уэкхэмом-Краули (Wickham-Crowley 1992) в их исследованиях социальных революций с довольно высокой результативностью (Голдстоун 2006). Факторы, ведущие к успеху революции, включая раскол элит, как силовых,

так и гражданских, с помощью QCA исследовала Ш. Непштад, показавшая исключительную важность для победы невооруженных революций перехода на сторону оппозиции силовых элит (Nepstad 2011); однако возможность генерализации полученных ей выводов предельно ограничена ввиду крайне малых размеров использованной ей выборки (всего шесть случаев).

Источники данных

В качестве основного источника данных, как уже было упомянуто выше, используется база данных Гарвардского университета, описывающая ненасильственные и насильтственные кампании и их исходы (*Nonviolent And Violent Campaigns and Outcomes, NAVCO 2.1*) (Chenoweth, Shay 2019a, 2019b, 2022). Эта база данных содержит формализованное описание 384 революционных и квазиреволюционных эпизодов, произошедших в период со второй половины XX века по 2013 год. Также в NAVCO можно найти большое количество (77) уже закодированных переменных, которые готовы к использованию (к базе данных прилагается мануал с кодировкой и расшифровкой (Chenoweth, Shay 2019a)). Кодировка переменных разнообразна, есть как строго бинарные, так и ранжированные, а также числовые переменные, например, количество протестующих на пике революционного эпизода/кампании.

Нами была проведена дополнительная работа по уточнению характеристик некоторых кейсов. Одним из основных источников для этого послужила Глобальная база ненасильственных акций от Свартмор-колледжа (Swarthmore College 2011), где содержатся многочисленные кейс-стади по ненасильственным революциям. Мы также опирались на целый ряд исследований (Голдстоун и др. 2023; Гринин и др. 2016a, 2016b; Коротаев и др. 2015; Filin 2022; Filin et al. 2022; Grinin, Korotayev 2022; Ivanov 2022; La Jornada Virtu@l 2002; Khodunov 2022a, 2022b, 2022c; Korotayev et al. 2013, 2014, 2015, 2022; Кортаяев, Зинкина 2022; Кузнецов 2022 и др.).

Концептуализация переменных

В исследовании будут использоваться 8 переменных. Далее приведена их концептуализация. Отметим, что для корректного применения QSA нам пришлось провести их систематическую дихотомизацию.

Div_socdem — переменная, отражающая разнообразие протестующих по социальному-демографическим признакам, к которым относятся пол, возраст, классовая принадлежность и участие в революции как городских, так и сельских жителей. В NAVCO за дан-

ные показатели отвечают бинарные переменные cdivers_gender, cdivers_age, cdivers_class и cdivers_urbrural соответственно. Нами было принято решение для большей простоты при проведении анализа объединить эти переменные в одну, для которой значение «1» присваивается при положительном значении у хотя бы одной из четырех приведенных выше переменных.

Div_pol — переменная, отражающая разнообразие протестующих по политическим признакам, таким как идеологические предпочтения и партийная принадлежность. В NAVCO есть бинарные переменные cdivers_ideol и cdivers_party, отражающие данные характеристики. По аналогии с нашей предыдущей переменной, значение 1 переменная *Div_pol* принимает, если аналогичное значение имеет какая-либо из переменных cdivers_ideol и cdivers_party.

Div_ethnorelig — переменная, отражающая разнообразие протестующих по региональному происхождению, этничности и религиозности. В NAVCO за данные показатели отвечают переменные cdivers_regional, cdivers_ethnic и cdivers_religious соответственно. Если любая из этих переменных имеет значение 1, то созданная нами переменная аналогично принимает данное значение.

Reg_support — переменная, отражающая поддержку инкумбента извне. Данная переменная полностью соответствует переменной *regime_support* из NAVCO, которая является бинарной и принимает значение 1 при наличии поддержки режима извне и 0 при ее отсутствии. Аналогично закодирована и наша переменная.

Camp_support — переменная, отражающая поддержку протестующих извне. Переменная взята из NAVCO, где она используется под названием *camp_support* и принимает значение 1 при наличии поддержки революционеров извне и 0 при ее отсутствии. Все условия кодировки из NAVCO для нашей переменной также сохранены.

State_def — переменная, обозначающая наличие или отсутствие дезертирства гражданских элит на сторону протестующих. В NAVCO существует бинарная переменная *state_defect*, отражающая данный показатель, где 1 означает наличие перехода и 0 отсутствие. Аналогичные условия кодировки и у нашей переменной.

Sec_def — переменная, обозначающая наличие или отсутствие дезертирства силовых (военных, полицейских, иных сил безопасности) элит на сторону протестующих. В NAVCO есть бинарная переменная *sec_defect*, отражающая данный показатель, где 1 означает наличие перехода и 0 отсутствие. Условия кодировки нашей переменной совпадают с указанными в NAVCO.

Camp_size — переменная, обозначающая размер революционной акции по количеству протестующих. Как уже упоминалось выше, широкая мобилизация протестующих называлась одним из необходимых факторов революционного успеха. Нами было принято

решение включить данный фактор в анализ. В NAVCO имеется упомянутая выше в качестве критерия отбора кейсов ранжированная переменная camp_size, где 0 означает менее 1000 участников, 1 = до 9999 участников, 2 = до 99 999 участников, 3 = до 499 999 участников, 4 = от 500 000 участников и 5 = более миллиона участников. Нами было решено выбрать границу в 100 000 участников как разделяющую рассматриваемые кейсы на те, где протестующих было много и где их было меньше¹. Поэтому кодировка нашей переменной выглядит следующим образом — 1, если значение изначальной переменной в NAVCO от 3 до 5, и 0, если подобное значение меньше 3, но больше 0, для отсеивания случаев с очень небольшим числом участников (и, соответственно, не подпадающих под определение революционного эпизода).

Завершив концептуализацию, мы можем переходить к практической части нашего исследования, включающей непосредственно сам анализ.

Практическая часть

188

Анализ

Для проведения анализа будет использоваться программное обеспечение TOSMANA (Cronqvist 2019), предназначеннное для выполнения качественного сравнительного анализа.

Исходная таблица со всеми кейсами и переменными представлена ниже (см. табл. 1).

1 В дальнейших исследованиях, возможно, имеет смысл использовать в качестве соответствующей независимой переменной не число участников революционных протестов, а их долю в общей численности населения соответствующей страны.

Таблица 1. Перечень проанализированных революционных эпизодов с их формализованными характеристиками
Table 1. List of analyzed revolutionary episodes with their formalized characteristics

Революционные эпизоды	Разнообразие протестующих по социальным, ально-демографическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Поддержка гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Раскол гражданских элит (State_def)	Число участников на его пике (Camp_size)
«Оранжевая революция» на Украине (2004)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Попытка цветной революции в Армении (2008)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
«Зеленое движение» в Иране (2009)	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	Разнообразие протестующих по социально-демографическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этнорелигиозным признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима из-за реалий (Reg_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)	Успех революции (SUCC)
«Жасминовая революция» в Тунисе (2011)	1	1	1	0	0	0	1	1	1
«Тольколанговая революция» в Киргизии (2005)	1	1	1	0	1	1	0	0	1
«Революция роз» в Грузии (2003)	1	1	1	0	1	1	1	0	1
«Васильковая революция» в Белоруссии (2006)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
«Движение юристов» в Пакистане (2007–2008)	1	1	1	0	1	0	1	1	1

	Разнообразие протестующих по социальным-демократическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Поддержка гражданских элит (State_def)	Раскол гражданских элит (Sec_def)	Раскол участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)	Число участников революционного эпизода (SUCC)
Революционные протесты в Турции («Таксим») (2013)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
«Бульдозерная революция в Сербии (2000)	1	1	1	0	1	1	1	1	1
«Революция 25 января» в Египте (2011)	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Декабрьские выступления в Минске, Беларусь (2010)	1	0	1	1	0	0	0	0	0

	Разнообразие протестующих по социаль но-демо-графическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестую щих по полити ческим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестую щих по этно-религиозным признакам (Div_ethrelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих (Sec_def)	Раскол граждан ских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)	Успех революции (SUCC)
Сирийская революция (2011)	1	0	1	1	1	0	1	1	0
Бахрейнское восстание (2011)	1	0	1	1	0	1	0	1	0
Восстание 14 августа на Бахрейне (2013)	1	0	1	1	0	0	0	1	0
Протесты в Судане (2011-2013)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Вторая революция народной власти на Филиппинах (2001)	1	0	1	0	0	1	1	1	1

	Разнообразие протестующих по социальным-демократическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)
«Восстание преступников» в Эквадоре (2005)	1	0	0	0	0	1	1	1
Непальская Революция (2006)	1	1	1	1	1	1	1	1
Свержение президента М. Мурси в Египте (Революция 30 июня) (2013)	1	1	0	0	1	1	1	1
Восстание 1 мая на Филиппинах (2001)	1	0	0	0	0	1	0	0

	Разнообразие протестующих по социально-демографическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этнорелигиозным признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих по этническим и религиозным признакам (State_support)	Поддержка гражданских элит (Camp_support)	Раскол гражданских элит (Sec_def)	Раскол силовых элит (State_def)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)	Успех революции (SUCC)
Свержение премьера Ч. Таксина, Таиланд (2005-2006)										
Протесты против переворота президента Ф. Чилубы, Замбия (2001)	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
Протесты против государственного переворота в Венесуэле (2002)										

	Разнообразие протестующих по социально-демографическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)
Боливийский «газовый конфликт» (2003)	1	0	1	1	0	1	1	0
Свержение Ж.-Б. Аристиа, Гаити (2004)	1	0	1	0	1	0	0	1
Политический кризис в Бангладеш (2006-2008)	1	0	1	0	0	0	0	1
Кедровая революция в Ливане (2005)	1	1	1	1	1	0	1	1

	Разнообразие протестующих по социально-демографическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этнорелигиозным признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима из-за реалий (Reg_support)	Поддержка протестующих (Sec_def)	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Camp_support)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)	Успех революции (SUCC)
Революционный эпизод на Тонга (2006)									
Революционный эпизод на Тонга (2006)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Политический кризис в Таиланде (2008)									
Политический кризис в Таиланде (2008)	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Мадагаскарский политический кризис (2009)									
Мадагаскарский политический кризис (2009)	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Восстание Национального фронта народного сопротивления Гондураса (2010)									
Восстание Национального фронта народного сопротивления Гондураса (2010)	1	0	1	0	1	0	0	1	0

	Разнообразие протестующих по социально-демографическим признакам (Div_socdem)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Поддержка режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Поддержка протестующих (Camp_support)	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол гражданских элит (Sec_def)	Число участников революционного эпизода на его пике (Camp_size)
Кризис в Кот-д'Ивуаре (2010-2011)	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Революционные протесты в Таиланде (2010)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Революционный эпизод в Джибути (2011)	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Революционные события на Мальтивах (2013)	1	0	1	1	1	0	0	0	0

Далее выведем основные формулы успеха, используя программное обеспечение (полный список формул успеха см. в Приложении):

1. $\text{Div_pol}[1] + \text{State_def}[1]\text{Sec_def}[1] + \text{Div_ethorelig}[0]\text{Reg_support}[0]$
 $\text{Camp_support}[1] + \text{Div_ethorelig}[1]\text{Reg_support}[0]\text{Camp_size}[0]$
2. $\text{Div_pol}[1] + \text{State_def}[1]\text{Sec_def}[1] + \text{Div_ethorelig}[1]\text{Reg_support}[0]$
 $\text{Camp_support}[0] + \text{Reg_support}[0]\text{Camp_support}[1]\text{Camp_size}[0]$
3. $\text{Div_pol}[1] + \text{State_def}[1]\text{Sec_def}[1] + \text{Div_ethorelig}[1]\text{Reg_support}[0]$
 $\text{Camp_size}[0] + \text{Reg_support}[0]\text{Camp_support}[1]\text{Camp_size}[0]$

Как мы видим, наибольшее влияние на революционный успех, согласно полученным формулам, имеют разнообразие протестующих по политическим признакам (то есть широкая революционная коалиция) или одновременный раскол и гражданских, и силовых элит. В конфигурациях, покрывающих абсолютное большинство кейсов, именно эти факторы являются ключевыми.

Если рассмотреть другие конфигурации, которые описывают остальные кейсы (см. Приложение), то можно заметить следующие закономерности. Подтвердилось влияние на успех революции отсутствия поддержки правящего режима извне. Однако этот фактор присутствует либо в связке с поддержкой протестующих извне (в трех конфигурациях), либо с разнообразием по этнорелигиозному признаку (тоже в трех конфигурациях).

Визуализируем полученные нами результаты, построив таблицу с каждым из выведенных программой факторов (см. табл. 2), при этом для удобства восприятия перекодируем переменную, обозначающую фактор поддержки инкумбента извне. Поскольку, как было показано выше, для революционного успеха большее значение имеет именно отсутствие данной поддержки, новая переменная будет называться *No_Reg_support*, где 1 — отсутствие поддержки инкумбента извне, а 0 — присутствие поддержки инкумбента внешними силами.

Таблица 2. Сгруппированные предикторы успеха революционных выступлений
Table 2. Grouped predictors of revolutionary success

Революционные эпизоды	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Отсутствие поддержки режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих извне (Camp_support)	Успех революции (SUCC)
«Революция роз» в Грузии (2003)	1	1	1	1	1	1	1
«Революция 25 января» в Египте (2011)	1	1	1	1	1	1	1
«Бульдозерная революция» в Сербии (2000)	1	1	1	1	1	1	1
«Оранжевая революция» на Украине (2004)	1	1	1	1	0	1	1
Свержение премьера Ч. Таксина, Таиланд (2005-2006)	1	1	1	1	1	0	1
Непальская революция (2006)	1	1	1	0	1	1	0
Свержение президента М. Мурии в Египте/«Революция 30 июня» (2013)	1	1	1	0	0	1	1
Вторая «революция народной власти» на Филиппинах (2001)	1	1	0	1	1	0	1

Революционные эпизоды	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Отсутствие поддержки режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих извне (Camp_support)	Успех революции (SUCC)
				Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Отсутствие поддержки режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих извне (Camp_support)	Успех революции (SUCC)
Боливийский «газовый конфликт» (2003)	1	1	0	1	0	0	1
«Восстание преступников» в Эквадоре (2005)	1	1	0	0	1	0	1
Выступление против государственного переворота в Венесуэле (2002)	1	1	0	0	1	0	1
Мадагаскарский политический кризис (2009)	1	1	0	0	0	1	1
«Тюльпановая революция» в Киргизии (2005)	1	0	1	1	1	1	1
«Выступление юристов» в Пакистане (2007-2008)	0	1	1	1	1	1	1
Жасминовая революция в Тунисе (2011)	0	1	1	1	1	0	1
Выступление против переизбрания президента Ф. Чилубби, Замбия (2001)	0	1	1	1	0	1	1
«Кедровая революция» в Ливане (2005)	0	1	1	1	0	1	1

Революционные эпизоды	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethnic)	Отсутствие поддержки режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих извне (Camp_support)	Успех революции (SUCC)
Свержение Ж.-Б. Аристида, Гаити (2004)	0	0	0	1	1	1	1
Политический кризис в Бангладеш (2006–2008)	0	0	0	1	1	0	1
Политический кризис в Таиланде (2008)	0	0	0	1	1	0	1
Кризис в Кот-д'Ивуаре (2010–2011)	0	0	0	1	1	1	1
Бахрейнское восстание (2011)	1	0	0	1	0	0	0
Протесты в Судане (2011–2013)	1	0	0	1	0	0	0
«Восстание 1 мая» на Филиппинах (2001)	1	0	0	0	1	0	0
Сирийская революция (2011)	0	1	0	1	0	1	0
Восстание Национального фронта народного сопротивления Гондураса (2010)	0	0	0	1	1	1	0

	Раскол гражданских элит (State_def)	Раскол силовых элит (Sec_def)	Разнообразие протестующих по политическим признакам (Div_pol)	Разнообразие протестующих по этническим признакам (Div_ethorelig)	Отсутствие поддержки режима извне (Reg_support)	Поддержка протестующих извне (Camp_support)	Успех революции (SUCC)
Революционные события на Мальдивах (2013)	0	0	0	1	0	1	0
«Восстание 14 августа» на Бахрейне (2013)	0	0	0	1	0	0	0
Попытка цветной революции в Армении (2008)	0	0	0	0	1	0	0
«Зеленое движение» в Иране (2009)	0	0	0	0	1	0	0
«Васильковая революция» в Белоруссии (2006)	0	0	0	0	1	0	0
Революционные протесты в Турции («Таксим») (2013)	0	0	0	0	1	0	0
Революционные протесты в Таиланде (2010)	0	0	0	0	1	0	0
Революционный эпизод в Джибути (2011)	0	0	0	0	1	0	0
Декабрьские выступления в г. Минске, Беларусь (2010)	0	0	0	0	0	1	0
Революционный эпизод на Тонга (2006)	0	0	0	0	0	0	0

Как мы видим, в нашей выборке 21 случай успеха. При этом тот или иной раскол элит наблюдается в подавляющем большинстве (17) успешных случаев. Раскол гражданских элит присутствует в 13 положительных кейсах, при этом в 12 из них вместе с расколом силовых элит, то есть имеет место одновременный раскол элит обоих типов. Раскол силовых элит присутствует в 16 положительных кейсах, при этом только в четырех случаях революционного успеха он не сопровождается расколом гражданских элит. Следующим по значимости предиктором успеха оказалось наличие широкой революционной коалиции. Наконец, вполне серьезным предиктором революционного успеха в период 2000–2013 гг. оказалось сочетание присутствия внешней поддержки протестующих с отсутствием внешней поддержки режима.

Дополнительно протестируем влияние одновременного раскола элит с помощью статистического теста, для чего используем SPSS (см. табл. 3).

Таблица 3. Корреляция между одновременным переходом на сторону протестующих гражданских и силовых элит и успехом революционного выступления

203

Table 3. Correlation between the simultaneous defection of civilian and security elites and the success of revolutionary uprisings

	Успех революционного выступления		Всего
	<i>отсутствует</i>	<i>присутствует</i>	
	15	9	24
Одновремен- ный переход на сторону протестую- щих граждан- ских и сило- вых элит	<i>отсутствует</i>	<i>присутствует</i>	
	62,5%	37,5%	100%
	0	12	12
	0%	100%	100%

Примечания: $p < 0,001$ (точный тест Фишера)

$\phi = \rho = r = 0,6$, $p < 0,001$

$\gamma = 1,0$ $p < 0,001$

Как мы видим, данный тест подтвердил, что одновременный переход на сторону протестующих гражданских и силовых элит является, безусловно, сильным и значимым предиктором революционного успеха. При этом речь идет о достаточном¹, но не необходимом условии победы невооруженного революционного выступления.

Также мы можем проверить эффект сочетания двух близких факторов — одновременного отсутствия поддержки инкумбента извне при внешней поддержке протестующих (см. табл. 4).

Таблица 4. Корреляция между сочетанием отсутствия внешней поддержки режима с наличием внешней поддержки революционеров и успех революционного выступления

Table 4. Correlation between the combination of the absence of external support for the regime with the presence of external support for revolutionaries and the success of the revolutionary uprising

204

	Успех революционного выступления		Всего
	отсутствует	присутствует	
Сочетание отсутствия внешней поддержки режима с наличием внешней поддержки революционеров	14 50%	14 50%	28 100%
	1 12,5%	7 87,5%	8 100%

Примечания: $p = 0,064$ (односторонний точный тест Фишера)

$\phi = \rho = r = 0,316$, $p = 0,058$

Как мы видим, в случае сочетания отсутствия внешней поддержки режима с наличием внешней поддержки революционеров мы для периода 2000–2013 гг. имеем дело с не столь сильным, но все-таки маргинально значимым фактором революционного успеха.

¹ Формально об этом свидетельствует максимальное значение коэффициента гамма.

Выводы

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что наиболее сильным предсказательным фактором революционного успеха для рассматриваемого периода оказывается одновременный раскол как гражданских, так и силовых элит, что подтверждают и результаты тестирования.

За ним следует разнообразие протестующих по политическим взглядам, что может рассматриваться в качестве свидетельства наличия широкой революционной коалиции, что уже неоднократно отмечалось в качестве важного предиктора революционного успеха (Goldstone 2011; Dahlum 2023). При отсутствии одновременного раскола элит революционная коалиция, включающая максимально широкий спектр политических сил, вместе с поддержкой только силовых или только гражданских элит вполне может привести к революционному успеху.

Далее идет разнообразие протестующих по этнорелигиозному признаку, что может также свидетельствовать о широкой мультиэтнической, мультирелигиозной или мультирегиональной коалиции. В нашей выборке данный фактор особенно актуален для азиатских кейсов, вероятно, из-за высокого этнического разнообразия в странах данного региона, так как он может при определенных обстоятельствах смягчить отсутствие широкой политической коалиции, направленной против инкумбента, при условии, что сам инкумбент не пользуется поддержкой извне. Отсутствие поддержки режима извне является важной переменной, без которой наличие разнообразия по этнорелигиозному признаку и поддержка протестующих извне не приводят к успеху революции.

В целом сочетание внешней поддержки протестующих с отсутствием внешней поддержки режима оказалось достаточно важным предиктором революционного успеха в период 2000–2013 гг.

Итак, гипотеза о расколе элит как о достаточном условии революционного успеха подтвердилась, в большинстве кейсов именно одновременный раскол и гражданских, и силовых элит был достаточным фактором успеха революции. Однако мы не можем говорить о полном расколе элит как о необходимом условии революционного успеха, так как даже при переходе на сторону участников невооруженного революционного выступления только силовых или только гражданских элит в сочетании с политически широкой революционной коалицией или при наличии других упомянутых выше переменных революционный успех тоже возможен, пусть и в меньшем количестве случаев и при особых условиях.

Гипотеза о большей важности для революционного успеха поддержки со стороны силовых элит (в сравнении с одним только пере-

ходом гражданских элит) более или менее подтвердилась, так как раскол гражданских элит без связки с расколом силовых элит приводил к революционному успеху только при наличии широкого политического разнообразия протестующих.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общий список формул успеха, выявленных QSA

Div_socdem[1]*Div_pol[1]*Div_etnorelig[1]*Reg_support[0]*Sec_def[1]*Camp_size[1] (Украина, Сербия+Тунис+Пакистан+Египет(2011), Таиланд) +

Div_socdem[1]*Div_pol[1]*Div_etnorelig[1]*Camp_support[0]*Sec_def[1]*Camp_size[1] (Украина, Сербия+Пакистан+Непал+Ливан) +

Div_socdem[1]*Reg_support[0]*Camp_support[0]*State_def[1]*Sec_def[1]*Camp_size[1] (Египет (2011), Таиланд+Филиппины+Эквадор, Венесуэла+Египет (2013))

Div_socdem[1]*Div_pol[1]*Div_ethorelig[1]*Reg_support[0]*Camp_support[1]*State_def[1]*Camp_size[0] (Киргизия+Грузия («Революция роз»)) +

Div_socdem[1]*Div_pol[1]*Div_ethorelig[1]*Reg_support[1]*Camp_support[1]*State_def[0]*Sec_def[0]* Camp_size[0] (Замбия+Ливан) +

Div_socdem[1]*Div_pol[0]*Div_ethorelig[1]*Reg_support[0]*State_def[0]*Sec_def[0]* Camp_size[0] (Гаити+Бангладеш, Таиланд (2008)) +

Div_socdem[1]*Div_pol[0]*Reg_support[0]*Camp_support[1]*State_def[0]*Sec_def[0]* Camp_size[0] (Гаити+Кот-д'Ивуар) +

Div_socdem[1]*Div_pol[0]*Div_ethorelig[1]*Reg_support[1]*Camp_support[0]*State_def[1]* Sec_def[1]* Camp_size[0] (Боливия) +

Div_socdem[0]*Div_pol[0]*Div_ethorelig[0]*Reg_support[1]*Camp_support[1]*State_def[1]* Sec_def[1]* Camp_size[0] (Мадагаскар) +

Финансирование / Funding

Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2025 г. при поддержке Российской научного фонда (проект № 24-18-00650).

The study was carried out within the framework of the HSE Fundamental Research Program in 2025 with the support of the Russian Science Foundation (project No. 24-18-00650).

Список источников / References

Голдстоун Д. (2006) К теории революции четвертого поколения, *Логос*, (5), с. 58–103. EDN: VOZILZ.

- Goldstone J. (2006) Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory, *Logos*, (5), pp. 58-103. (in Russ.)
- Голдстоун Дж. А., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2022) Волны революций XXI столетия. *Полис. Политические исследования*, (4), с. 108-119. EDN: DVNOBB. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.04.09>
- Goldstone J. A., Grinin L., Korotayev A. (2022) Waves of revolutions in the 21st century. *Polis. Political Studies*, (4), pp. 108-119. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.04.09>. (in Russ.)
- Голдстоун Дж. А., Гринин Л. Е., Устюжанин В. В., Коротаев А. В. (2023) Революционные события XXI века: предварительный количественный анализ. *Полис. Политические исследования*, (4), с. 54-71. EDN: FSMFMK. <https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.05>
- Goldstone J. A., Grinin L. E., Ustyuzhanin V. V., Korotayev A. V. (2023) Revolutionary events of the 21st century: a preliminary quantitative analysis. *Polis. Political Studies*, (4), pp. 54-71. <https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.05>. (in Russ.)
- Гринин Л. Е., Исаев Л. М., Коротаев А. В. (2016а) *Революции и нестабильность на Ближнем Востоке*. Волгоград: Учитель.
- Grinin L. E., Isaev L. M., Korotayev A. V. (2016a) *Revolutions and instability in Middle East*. Volgograd: Uchitel. (in Russ.)
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2020) Методологические пояснения к исследованию революционных событий. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 11, с. 853-861.
- Grinin L. E., Korotayev A. V. (2020) Methodological explanations for the study of revolutionary events. *Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov = Systemic Monitoring of Global and Regional Risks*, 11, pp. 853-861. (in Russ.)
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Мещерина К. В. (Ред.). (2016б) *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*. Волгоград: Учитель.
- Grinin L. E., Korotayev A. V., Meshcherina K. V. (Eds.). (2016b) *Systematic monitoring of global and regional risks*. Volgograd: Uchitel. (in Russ.)
- Коротаев А., Гринин Л., Устюжанин В., Файн Е. (2025) Пятое поколение исследований революции. Систематический обзор. *Логос*, 35(1), с. 191-316. <https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-1-193-296>
- Korotayev A., Grinin l., Ustyuzhanin V., Fain E. (2025) The Fifth Generation of Revolution Studies. A Systematic Review. *Logos*, 35(1), pp. 191-316. <https://doi.org/10.17323/0869-5377-2025-1-193-296>. (in Russ.)
- Коротаев А. В., Исаев Л. М., Васильев А. М. (2015) Количественный анализ революционной волны 2013-2014 гг. *Социологические исследования*, 8 (376), с. 119-127.
- Korotayev A., Isaev L., Vasilev, A. (2015) Quantitative Analysis of 2013-2014 Revolutionary Wave. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*, 8(376), pp. 119-127. (in Russ.)
- Коротаев А. В., Жданов А. И. (2023а) Количественный анализ политических факторов революционной дестабилизации. Опыт систематического обзора. *Поли-*

тия: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики), (3), с. 149–171. EDN: NAZUCB. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2023-110-3-149-171>

— Korotayev A. V., Zhdanov A. I. (2023a) Quantitative analysis of political factors of revolutionary destabilization. A systematic review. *The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*, (3), pp. 149–171. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2023-110-3-149-171>. (in Russ.)

Коротаев А. В., Жданов А. И. (2023б) Качественный анализ экономических факторов революционной дестабилизации: результаты и перспективы. *Социология власти*, 35 (1), с. 118–159. EDN: VKRMWA. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2023-1-118-159>

— Korotayev A. V., Zhdanov A. I. (2023b) A Quantitative Analysis of Economic Factors of Revolutionary Destabilization: Results and Prospects. *Sociology of Power*, 35 (1), pp. 118–159. <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2023-1-118-159>. (in Russ.)

Коротаев А. В., Мусиева Д. М., Жданов А. И. (2024) Качественный анализ социально-демографических факторов революционной дестабилизации: результаты и перспективы. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 27 (3), с.106–145. EDN: HMHOAS. <https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.3.4>

— Korotayev A., Musieva J., Zhdanov A. (2024) Quantitative analysis of socio-demographic factors of revolutionary destabilization: results and prospects. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii = The Journal of Sociology and Social Anthropology*, 27(3), pp. 106–145. EDN: HMHOAS. <https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.3.4>. (in Russ.)

Медведев И. А., Устюжанин В. В., Жданов А. И., Коротаев А. В. (2022) Применение методов машинного обучения для ранжирования факторов и прогнозирования невооруженной и вооруженной революционной дестабилизации в афразийской макрозоне нестабильности. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 13, с. 131–210. DOI: https://doi.org/10.30884/978-5-7057-6184-5_06

— Medvedev I. A., Ustyuzhanin V. V., Zhdanov A. I., Korotayev A. V. (2022). Application of machine learning methods to rank factors and predict unarmed and armed revolutionary destabilization in the Afrasian macrozone of instability. *Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov = Systemic Monitoring of Global and Regional Risks*, 13, pp. 131–210. (in Russ.)

Abrams B. (2019) A fifth generation of revolutionary theory is yet to come *Journal of Historical Sociology*, 32(3), pp. 378–386.

Ackerman P., Kruegler C. (1993) *Strategic nonviolent conflict: The dynamics of people power in the twentieth century*. Westport, CT: Praeger.

Allinson J. (2019) A fifth generation of revolution theory? *Journal of Historical Sociology*, 32(1), pp. 142–151. <https://doi.org/10.1111/johs.12220>

Beissinger M. R. (2022) *The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of Rebellion*. Princeton: Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2175r9q>

Butcher C., Gray J. L., Mitchell L. (2018) Striking it free? Organized labor and the outcomes of civil resistance. *Journal of Global Security Studies*, 3(3), pp. 302–321: <https://doi.org/10.1093/jogss/ogy010>

- Butcher C., Svensson I. (2016) Manufacturing Dissent: Modernization and the Onset of Major Nonviolent Resistance Campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, 60(2), pp. 311–339. <https://doi.org/10.1177/0022002714541843>
- Cebul M. D., Grewal S. (2022) Military conscription and nonviolent resistance *Comparative Political Studies*, 55(13), pp. 2217–2249: <https://doi.org/10.1177/00104140211066209>.
- Chenoweth E., Schock K. (2015) Do contemporaneous armed challenges affect the outcomes of mass nonviolent campaigns? *Mobilization: An International Quarterly*, 20(4), pp. 427–451: <https://doi.org/10.17813/1086-671X-20-4-427>
- Chenoweth E., Shay C. W. (2019a) *NAVCO 2.1 Codebook*. Cambridge, MA: Harvard Dataverse.
- Chenoweth E., Shay C. W. (2019b) *NAVCO 2.1 Dataset*. Cambridge, MA: Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/MHOXDV>
- Chenoweth E., Shay C. W. (2020a) *NAVCO 1.3 Codebook*. Cambridge, MA: Harvard Dataverse.
- Chenoweth E., Shay C. W. (2020b) *List of Campaigns in NAVCO 1.3*. Cambridge, MA: Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/ON9XND>
- Chenoweth E., Shay C. W. (2022) Updating nonviolent campaigns: Introducing NAVCO 2.1. *Journal of peace research*, 59(6), pp. 876–889: <https://doi.org/10.1177/00223433221092938>.
- Chenoweth E., Stephan M. J. (2011) *Why Civil Resistance Works: the Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. New York: Columbia University Press.
- Cronqvist L. (2019) Tosmana (Version 1.61). *University of Trier*: <https://www.tosmana.net>
- Cunningham K. G. (2023) Choosing tactics: The efficacy of violence and nonviolence in self-determination disputes. *Journal of Peace Research*, 60(1), pp. 124–140. <https://doi.org/10.1177/00223433221145961>
- Dahlum S. (2023) Joining forces: Social coalitions and democratic revolutions. *Journal of Peace Research*, 60(1), pp. 42–57. <https://doi.org/10.1177/00223433221138614>
- Davies J. C. (1962) Toward a theory of revolution. *American Sociological Review*, 27(1), pp. 5–19.
- Feierabend I. K., Feierabend R. L. (1972) Systemic conditions of political aggression: An application of frustration-aggression theory. *Anger, Violence, and Politics: Theories and Research*/Ed. by I. K. Feierabend, R. L. Feierabend, T. R. Gurr, pp. 136–183. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Filin N. (2022) The green movement in Iran: 2009–2010. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 571–592). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_22
- Filin N., Khodunov A. & Koklikov V. (2022) Serbian “Otpor” and the color revolutions’ diffusion. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 465–482). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_17
- Foran, J. (Ed.). (1997) *Theorizing revolutions*. London: Routledge.

- Gledhill J., Duursma A., Shay C. (2022) Glee and Grievance: Emotive Events and Campaign Size in Nonviolent Resistance *Journal of Global Security Studies*, 7(4). ogac011. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogac011>
- Gleditsch K. S., Olar R. G., Radean M. (2023) Going, going, gone? Varieties of dissent and leader exit. *Journal of Peace Research*, 60(5), pp. 729–744.
- Goldstone J. A. (2011) Cross-class Coalitions and the Making of the Arab Revolts of 2011. *Swiss Political Science Review*, 17(4), pp. 457–462: <https://doi.org/10.1111/j.1662-6370.2011.02038.x>
- Goldstone J. A., Grinin L. & Korotayev A. (2022a) Introduction. Changing yet Persistent: Revolutions and Revolutionary Events. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (pp. 1–34). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_1
- Goldstone J. A., Grinin L. & Korotayev A. (2022b) The Phenomenon and Theories of Revolutions. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (pp. 37–68). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_2
- Grinin L. & Korotayev A. (2022) The Arab spring: Causes, conditions, and driving forces. In: J. A. Goldstone, L. Grinin, & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 595–624). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_23
- Grinin L., Korotayev A. (2024) Is the Fifth Generation of Revolution Studies Still Coming? *Critical Sociology*, 50(6), pp. 1039–1067: <https://doi.org/10.1177/08969205241245215>
- Gurr T. R. (1968) A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices. *American political science review*, 62(4), pp. 1104–1124.
- Ivanov E. (2022) Revolutions in Kyrgyzstan. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 517–547). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_20
- La Jornada Virtu@l (2002) *Insurrección civil y militar termina con el golpe; Chávez, en Miraflores*. Mexico, D.F. <https://www.jornada.com.mx/2002/04/14/019n1mun.php?origen=index.html>
- Kadivar M. A., Ketchley N. (2018) Sticks, Stones, and Molotov Cocktails: Unarmed Collective Violence and Democratization. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 4, pp. 1–16.
- Kalin I., Lounsberry M. O., Pearson F. (2022) Major power politics and non-violent resistance movements *Conflict Management and Peace Science*, 39(3), pp. 241–265: <https://doi.org/10.1177/07388942211062495>
- Khodunov A. (2022a) The Bulldozer revolution in Serbia. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of*

- revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 447–463). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_16
- Khodunov A. (2022b) The Orange revolution in Ukraine. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 501–515). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_19
- Khodunov A. (2022c) The Rose revolution in Georgia. In: J. A. Goldstone, L. Grinin, & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 483–499). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_18
- Kirisci M., Demirhan E. (2021) Resource wealth as leverage: Natural resources and the failure of non-violent campaigns. *Government and Opposition*, 56(1), pp. 102–120: <https://doi.org/10.1017/gov.2019.10>
- Korotayev A., Grinin L., Ustyuzhanin V., Fain E. (2025) The Fifth Generation of Revolution Studies. Part I: When, Why and How Did It Emerge. *Critical Sociology*, 51(2), pp. 257–282. <https://doi.org/10.1177/08969205241300596>
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A. (2013) Developing the methods of estimation and forecasting the Arab Spring events. *Central European Journal of International and Security Studies*, 7(4), pp. 28–58.
- Korotayev A. V., Issaev L. M., Malkov S. Yu., Shishkina A. R. (2014) The Arab Spring: A Quantitative Analysis. *Arab Studies Quarterly*, 36(2), pp. 149–169: <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.36.2.0149>
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015) Center-periphery dissonance as a possible factor of the revolutionary wave of 2013–2014: A cross-national analysis. *Cross-Cultural Research*, 49(5), pp. 461–488: <https://doi.org/10.1177/1069397115595374>
- Korotayev A., Shishkina A., Khokhlova A. (2022) Global echo of the Arab Spring. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 813–849). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_31
- Korotayev A., Zinkina J. (2022) Egypt's 2011 revolution: A demographic structural analysis. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 651–683). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_25
- Kuznetsov V. (2022) The Jasmine Revolution in Tunisia and the birth of the Arab Spring uprisings. In: J. A. Goldstone, L. Grinin & A. Korotayev (Eds.), *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 625–649). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_24
- Lawson G. (2019) *Anatomies of Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108697385>
- Liou R. Y.-L., Murdie A., Peksen D. (2023) Pressures From Home and Abroad: Economic Sanctions and Target Government Response to Domestic Campaigns *Journal of Conflict Resolution*, 67(2-3), pp. 297–325: <https://doi.org/10.1177/00220027221118249>

Nepstad S. E. (2011) *Nonviolent revolutions: Civil resistance in the late 20th century*. Oxford: Oxford University Press.

Ragin C. C. (2008) *What is Qualitative Comparative Analysis?* Tucson: University of Arizona Press.

Scott J. & Marshall G. (Eds.). (2009) *A dictionary of sociology*. Oxford: Oxford University Press.

Sharp G. (1973) *The politics of nonviolent action*. Boston: Porter Sargent.

Stephan M.J., Chenoweth E. (2008) Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict *International Security*, 33(1), pp. 7–44. <https://doi.org/10.1162/isec.2008.33.1.7>

Swarthmore College (2011) *Global Nonviolent Action Database*. Swarthmore, Pennsylvania: <https://nvdatabase.swarthmore.edu/>

Wickham-Crowley T. (1992) *Guerillas and Revolutions in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Об авторах / About the authors

212

Ижогин Александр Александрович — стажер-исследователь, Центр изучения стабильности и рисков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). Научные интересы: политическая социология, социология революции, силовые элиты, гражданские элиты, раскол элит, социально-политическая дестабилизация, качественный сравнительный анализ.

<https://orcid.org/0000-0002-3451-3790>. E-mail: aaizhogin@edu.hse.ru

Alexander A. Izhogin — Junior Research Fellow, Center for Stability and Risk Analysis, HSE University (Moscow, Russia). Research interests: political sociology, socio-political destabilization, forecasting, computational social sciences, machine learning, sociology of revolution.

<https://orcid.org/0000-0002-3451-3790>. E-mail: semyonkot@yandex.ru

Коротаев Андрей Витальевич — д.и.н., директор, Центр изучения стабильности и рисков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; г.н.с., Институт Африки РАН (Москва, Россия). Научные интересы: политическая социология, политическая демография, социология революции, социально-политическая дестабилизация, прогнозирование, вычислительные социальные науки, социальная эволюция, универсальная эволюция, Большая история.

<https://orcid.org/0000-0003-3014-2037>. E-mail: akorotayev@gmail.com

Andrey V. Korotayev — Doctor of Historical Sciences, Director, Center for Stability and Risk Analysis, HSE University; Chief Researcher, Institute for African Studies of the

Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). Research interests: political sociology, political demography, sociology of revolution, socio-political destabilization, forecasting, computational social sciences, social evolution, universal evolution, Big History.

<https://orcid.org/0000-0003-3014-2037>. E-mail: akorotayev@gmail.com

В Москве живут славяне и южане? Исследование vernakulärных категоризаций с применением элициитационных методов

Рекомендация для цитирования:

Варшавер Е. А., Орлова А. А.,
Гупалова Ю. В. (2025) В Москве живут
славяне и южане? Исследование
вернакуллярных категоризаций
с применением элициитационных
методов. *Социология власти*, 37 (3):
214–240
EDN: UFPDTD

ЕВГЕНИЙ А. ВАРШАВЕР*

<https://orcid.org/0000-0002-5901-8470>

АНАСТАСИЯ А. ОРЛОВА*

<http://orcid.org/0009-0001-4245-5113>

For citation:

Varshaver E. A., Orlova A. A., Gupalova
Yu.V. (2025) Are There Only Two
Ethnic Groups in Moscow: Slavs and
Southerners? Research on Vernacular
Categorization Using Elicitation
Methods. *Sociology of Power*, 37 (3):
214–240

Поступила в редакцию: 20.04.2025;
прошло рецензирование: 02.06.2025;
принята в печать: 24.08.2025
Received: 20.04.2025; Revised:
02.06.2025; Accepted: 24.08.2025



© Authors, 2025

This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ЮЛИЯ В. ГУПАЛОВА*

<http://orcid.org/0009-0004-0909-0046>

* Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация

Резюме: В данной статье представлены результаты исследования этнических категорий, используемых в ходе повседневных категоризаций в Москве. Исследование было проведено на стыке классических и инновационных методов, «вдохновленных» когнитивными науками, к которым относятся видеоэлициитация и совместные прогулки с информантами. В ходе исследования было проведено 41 интервью. Информанты различались по разнообразию характеристик, включая миграционную историю (и срок проживания в Москве), этническую категорию по идентификации, гендер, возраст и прочее. Исследование показало, что категоризация в московской повседневности происходит на основании двух классификаций: официальной классификации по национальностям, корни которой уходят в советскую национальную политику, и вернакуллярной классификации, в которую входит две или три категории: «славянин» и «южанин», при-

том что последняя категория включает в себя разделение на «Кавказ» и «Азию». Классификация по национальностям является, с одной стороны, слишком подробной для «пользователей», и такая подробность является излишней с практической точки зрения, с другой — категориям внутри нее не хватает индикаторов для того, чтобы она использовалась в повседневности. Бинарная/тернарная классификация, в свою очередь, базируясь на важных с практической точки зрения различиях, является слишком неформальной и не имеет достаточных оснований для того, чтобы вытеснить классификацию по национальностям. В результате каждый акт категоризации является, по сути, компромиссом между двумя этими классификациями и использует их обе, тяготея все же к бинарной/тернарной категоризации.

Ключевые слова: этничность, категоризации, когнитивный поворот, Москва, национальности

Are There Only Two Ethnic Groups in Moscow: Slavs and Southerners? Research on Vernacular Categorization Using Elicitation Methods

Evgeni A. Varshaver*

215

<https://orcid.org/0000-0002-5901-8470>

Anastasia A. Orlova*

<http://orcid.org/0009-0001-4245-5113>

Yulia V. Gupalova*

<http://orcid.org/0009-0004-0909-0046>

* Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russian Federation

Abstract: This article presents the results of a study of ethnic categories used in everyday categorizations. The study was conducted at the intersection of classical and innovative cognitive science-inspired methods, including video elicitation and the walk-along method. During the study, 41 interviews were conducted. Informants differed based on a variety of characteristics, including migration history/length of residence in Moscow, their ethnic category of identification, gender, age, etc. The study showed that categorization in everyday Moscow occurs on the basis of two classifications: the official classification by nationality, the roots of which go back to Soviet national policy, and the vernacular classification that includes two or three categories: “Slav” and “Southerner”, while the latter category includes “Caucasus” and “Asia”. The classification by nationalities is both too detailed for its “users” and lacks practical meaning — the categories within it lack indicators for it to be used in everyday life. The

binary/ternary classification, in turn — while being based on meaningful categories — is too informal and does not have its own imaginaries to displace a classification by nationalities. As a result, each classificatory act is essentially a compromise between these two classifications and uses them both, prioritizing binary and ternary classification.

Keywords: ethnicity, categorizations, cognitive turn, Moscow, nationalities

Введение

Современные конструктивистские исследования этничности, находящиеся в рамках так называемого когнитивного поворота (Brubaker, Loveman, Stamatov 2004), рассматривают этничность прежде всего как классификаторный феномен, являющийся общим знаменателем для постоянных актов категоризации, которые осуществляют люди и различного рода институции. Первое время подход этот предполагал первостепенное внимание к формальным, институционализированным классификациям, осуществляемым «большими» коллективными акторами, прежде всего государствами (Appadurai 1993; Kertzer, Arel 2001; Simon, Piche, Gagnon 2015). Происходило это отчасти из-за доступности данных в виде государственной статистики, отчасти — из-за признания безусловной важности административной категоризации в жизни обществ. В рамках этого подхода имплицитно предполагалось, что люди идентифицируют себя и других прежде всего с категориями, определенными именно в ходе «бюрократической» классификации населения (Appadurai 1993; Kertzer, Arel 2001), осуществляющей посредством переписи населения, паспортизации, музеиных экспозиций, картографических материалов и др.

Но действительно ли это так, и повседневная категоризация в полной мере совпадает с «официальной», заданной государственной оптикой в отношении этнического состава населения? В той мере, в какой абсолютное большинство актов категоризации происходит на неформальном уровне, и именно эти категоризации де-факто детерминируют отношение и поведение, по сравнению с категоризацией, осуществляющей официальными институциями, вернакулярные категории и категоризации оказываются в фокусе внимания ученых значительно — и незаслуженно — реже. В России же, хотя имеется несколько исследований, посвященных этничности в повседневности российских городов, где затрагивается и категориальный аспект (Sahadeo 2019; Зайончковская, Полетаев, Флоринская, Доронина 2014), исследований, которые были бы непосредственно посвящены этническим категориям, посредством которых люди классифицируют окружающих, до настоящего момента не проводилось.

Поскольку классические социологические методы ориентированы прежде всего на языковую, дискурсивную реальность, а способы говорить о мире и фактический взгляд на мир, однако, не находятся в соотношении один к одному, обозначенные соображения требуют пересмотра и расширения «линейки» методов, которые обычно используются в социальных науках для изучения этничности. Логичным ходом в рамках разработки таких методов для исследований, находящихся в русле когнитивного поворота, является обращение за вдохновением к когнитивным наукам, которые могут предложить инструментарий для приближения к уровню спонтанных, обыденных категоризаций. Таким методом, в дополнение к классическим полуструктурированным глубинным интервью, в работе являются «элицитационные» техники, предполагающие использование стимулов из окружающей реальности для обращения к непосредственному опыту восприятия информантами этничности.

В этой статье на основании полевого материала, собранного в Москве, описывается, как и на основании каких категорий на самом деле осуществляется категоризация людьми в повседневности. То, что в России живут представители разных национальностей, а Москва — столица России и город, в котором можно встретить представителей всех российских национальностей — элемент устоявшихся представлений об этническом разнообразии, а также безусловный факт для большинства жителей Москвы и разного рода экспертов. В то же время фактический взгляд людей на этничность, будучи связанным с контекстом социализации, может значительно отличаться от официально декларированных представлений об этническом разнообразии. Являются ли в конечном счете национальности также и рамкой для спонтанных классификаций в городском пространстве Москвы, не редуцируется ли все разнообразие национальностей в таком случае до ограниченного набора категорий? И кроме того — не является ли эта категоризация более важной и в большей степени организующей социальную жизнь, чем классификация по «официальным» национальностям? На эти вопросы позволяет ответить данное исследование.

Теоретическая рамка и обзор литературы

Наиболее разработанным направлением в связи с изучением этничности как классификаторного феномена является обращение конструктивистских исследований к официальным институциям, которые данную классификацию осуществляют. Парадигмальной работой в этой связи стала книга «Воображаемые сообщества», вышедшая в 1983 году, где Б. Андерсон описывает ключевую роль таких инструментов государственного регулирования, как перепись

населения, музеи и картографические материалы, в представлении людьми себя в качестве членов единого сообщества (Anderson 2006).

Этот ход мысли был поддержан рядом исследователей, и, например, в работе 1987 года У. Петерсен прослеживает изменение перечня этнических категорий в переписях населения США, а также роль различных групп интересов, претендующих на формирование новой «социальной реальности», в этом процессе (Petersen 1987). Важной работой для исследований официальных классификаций также стала статья А. Аппадураи, где он показал, как классификаторная логика британского колониального режима, стремление к систематизации населения, привела к формированию особого типа воображаемого сообщества, основой которого стала кастовая система (Appadurai 1993).

В 2001 году под редакцией Д. Керцера и Д. Арея был опубликован сборник статей, в котором авторы предприняли попытку охватить разнообразие страновых случаев в части этнической категоризации населения государством, а также, подытожив результаты работы в этой тематической области, выдвинули тезис, согласно которому государства почти повсеместно занимаются формированием и поддержанием этнической реальности (Kertzer, Arel 2001). Своего рода смысловым продолжением этого сборника стал сборник статей, вышедший под редакцией П. Симона, В. Пише, А. Гагнона (Simon, Piche, Gagnon 2015). В нем на примере отдельных стран и на основании количественного анализа используемых этнических категорий в переписях населения демонстрируются прагматики изменения государственной рамки этнической категоризации. Особый интерес, однако, здесь представляет работа Ж. Петручелли, который на примере изучения этнической классификации в Бразилии показал, что этническая самоидентификация людей и категоризация других людей, будучи связанной с множеством атрибутов (например, религией, происхождением человека, акцентом и др.), в значительной степени может отличаться от официальной, предложенной статистическим учетом, несмотря на «политическую силу» последней (Petrucelli 2015). Таким образом, государство посредством различных инструментов статистического учета категоризирует население, конструируя тем самым этнические категории (Kertzer, Arel 2001; Valentine, Valentine 1971), однако то, насколько такая классификация совпадает с повседневной категоризацией, все еще остается дискуссионным вопросом.

Что касается вернакулярного измерения этнических категорий в определенных контекстах, то в социологических и антропологических исследованиях эксплицитно такая постановка вопроса встречается не так часто. В целом общей чертой исследований повседневной классификации является признание того факта, что

люди обычно имеют значительное пространство для маневра в том, как они используют категории, даже в том случае, если имеется перечень категорий, «предзаданный» государственной риторикой. Одна из первых работ в этой области — статья М. Харриса 1970 года, в которой на основании результатов элицитационного исследования делается вывод о том, что этническая категоризация жителей Бразилии характеризуется внутренним разнообразием, и участники исследования «соглашаются» друг с другом на предмет лишь небольшого количества «общих» категорий (Harris 1970). К аналогичным выводам относительно бразильского контекста пришел и Р. Санджек в статье 1971 года (Sanjek 1971). На примере иных страновых случаев исследователи также обнаруживают значительную вариативность в интерпретации этнической реальности и классификации (Sanjek 1977; Starr 1978; Gravlee 2005). Так, в исследовании, контекстом которого являлась урбанизированная Гана, Р. Санджек подтвердил, что этнические схемы¹ хотя и могут иметь общий базис в виде, например, существующих языковых групп, в значительной степени отличаются от человека к человеку (Sanjek 1977). Кроме того, при изучении вернакулярной этнической структуры Бейрута П. Стэрр показал, что не существует единой или полной схемы категорий, которая была бы универсально применяема всеми жителями Бейрута, но, что является общим — из вернакулярной этнической классификации чаще всего оказываются исключены малочисленные этнические категории (Starr 1978).

219

Описанные до этого момента работы в целом сходились на том, что категории, которые люди используют при спонтанной этнической категоризации, в значительной степени различаются у разных людей. При этом вопрос о том, являются ли эти категоризации вариациями одной этнической схемы, или разделемой всеми членами некоторого сообщества этнической схемы и вовсе не существует, оставался открытым. Интересной в данной связи представляется работа Дж. Санкоффа (Sankoff 1971). На полевом материале, собранном в Новой Гвинее, он сделал вывод о том, что хотя различия в том, как разные люди говорят об этнических категориях и как с помощью них интерпретируется социальная реальность, действительно существуют, эти различия могут быть изучены в двух аспектах. Первая точка зрения предполагает анализ вариаций используемых в повседневности категорий с точки зрения ряда ситуативных или контекстуальных факторов, и, в общем смысле, основана на том, что все люди разделяют одну модель этнической классификации и просто по-разному ее выражают. Вторая же

¹ В общем смысле — представления об этнических категориях, сосуществующих в одном пространстве, и их атрибуатах.

точка зрения утверждает наличие различий в самих классификаторных моделях и невозможность создания универсальной схемы. Хотя, как правило, исследования этнический классификаций фокусируются на одном из уровней изучения — официальном или вернакулярном — сравнение их соотношений может выступать в качестве одного из сторонних сюжетов. Так, в уже упомянутой работе Дж. Санкоффа отмечается, что многие люди в действительности используют официальную классификацию (Там же). Однако, по данным различных исследований, соотношение данных категоризаций более чем вариативно (Petrucelli 2015; Piekut, Valentine 2016).

Наиболее поздними работами по этнической категоризации в повседневности являются работы, связанные с именем В. Рот (Roth 2012; Roth 2015). В них автор концептуализирует понятие «этнической схемы», анализирует методологические подходы для их выявления, которые применялись ранее, в частности метод фотоэлицитации. Эмпирическая часть исследований была посвящена изучению этнических схем, которые используют доминиканцы и пуэрториканцы в США и в Пуэрто-Рико, и по ее результатам была определена «американская этническая схема», разделяемая мигрантами в США и состоящая из трех категорий — «белые», «черные» и «латиноамериканцы», и более сложная и многосоставная схема, используемая в родном для информантов Пуэрто-Рико. Анализ В. Рот того, как люди категоризируют окружающих в разных контекстах, показал, что каждый человек может обладать знанием нескольких этнических схем, которые оказываются уместны и полезны в разных ситуациях. Что касается российского контекста, то, насколько известно авторам статьи, исследований, посвященных вернакулярным категоризациям и, кроме того, их сравнению с категоризациями, тяготеющими к официальным, до настоящего момента не проводилось. Внести вклад в это тематическое и методологическое направление и призвано настоящее исследование.

Методология

Итак, каковы категории, которые используют люди для этнической классификации других в повседневности? Для ответа на этот вопрос было проведено исследование, комбинирующее несколько методов. С одной стороны, было важно использовать методы, которые позволили бы исследователю обратиться к непосредственному опыту восприятия информантами этничности, так называемым спонтанным классификациям, а с другой стороны — проверить, отлична ли эта классификация от того, как человек говорит об этничности и какие категории использует, если непосредственной задачи по классификации окружающих не стоит.

Исходя из данной установки, ключевые инструменты, которые были применены в исследовании, были условно разделены на два типа — «элициитационные», предполагающие использование стимулов, и инструменты без стимулов. «Элициитационные» инструменты, в свою очередь, делились на «видеоэлициитацию»¹, демонстрацию видеостимулов, предварительно заснятых в разных повседневных контекстах Москвы, и на «классификаторные прогулки»² с информантами, предполагавшие совместное пребывание исследователя и информанта в повседневном контексте и обсуждение находящихся вокруг людей, то есть работу с «естественными» стимулами из окружающей реальности. Общий запрос, адресованный информантам в ходе «элициитационной части», состоял в том, чтобы определить, к какой «этнической категории» относятся люди, представленные на видео или находящиеся/проходящие мимо, а также — по каким признакам они, информанты, это поняли. Дополнительно к «видеоэлициитации» или «классификаторной прогулке» информантам было предложено, уже без использования визуальных стимулов, ответить на вопрос о том, какие этнические группы постоянно или временно проживают в Москве. Данный инструмент был использован в интервью как контрольный относительно основных — «элициитационных» — методов, призванных ответить на вопрос о том, какие категории используются для спонтанной категоризации людей в городской повседневности.

В каждом фактическом интервью описываемые инструменты комбинировались так, что в нем обязательно присутствовал один из «элициитационных» инструментов (видео или прогулка), инструмент без стимулов, и кроме того, биографическая часть. Для снижения вероятности воздействия каждого отдельного инструмента на результаты исследования в интервью они размещались в разном порядке, а пропорции каждого типа интервью (выбор между «видеоэлициитацией» и «классификаторной прогулкой»), очередность

-
- 1 Относительно новый метод, находящийся на стыке визуальной и когнитивной социологии и наследующий в этом смысле фотозицитационным методикам. Применительно к другим темам видеоэлициитация использовалась в ряде исследований (Henry, Fettler 2012; Keesman 2022; Karahan 2023). Более распространенной элициитационной техникой является фотоэлициитация, которая для изучения этнических явлений использовалась в нескольких социологических и антропологических работах (Roth 2015; Gold 1991). Видеоэлициитация для изучения этничности, насколько известно авторам, ранее не использовалась.
 - 2 Вариация метода walk-along или go-along interviews, относительно распространенного в рамках изучения как этничности, так и других тем (Warren 2017; Lornic, Kilkey, Ryan, Tawodzera 2022).

«элицитационных» инструментов и инструментов без стимулов) в общем массиве данных были приблизительно равны.

Информанты для интервью были рекрутированы разными способами — через интернет, методом «снежного кома», в торговых центрах и через платформу для размещения вакансий YouDo. В выборку вошли как постоянные, так и временные жители Москвы, в качестве минимального критерия выделялось проживание или регулярное пребывание в Москве не менее двух лет¹. Отбор информантов осуществлялся на основании квот по полу, возрастной группе, месту рождения — Москве, ином регионе или другой стране, и этнической категории по самоидентификации. Квоты «перекрещивались», в результате чего формировалось конкретное требование по количеству информантов, соответствующих определенным характеристикам. Всего было собрано 41 интервью, средняя продолжительность которых составила 60 минут.

Интервью записывались на диктофон, а затем были транскрибированы. На основании имеющихся транскриптов, во-первых, выделялись этнические категории, которые встречались в «элицитационной» части интервью и части без стимулов, во-вторых, указывались индикаторы — признаки, по которым люди категоризировались в качестве представителей тех или иных категорий, в-третьих — на основании всего интервью — делались предположения о том, почему именно такие категории и такие индикаторы фигурировали в интервью.

В той мере, в какой разные инструменты исследовательского дизайна, включенные в одно фактически проводимое интервью, позволяют сравнить между собой два уровня этнических классификаций, первым делом внимание будет уделено «метакатегориям» — словам, обозначающим всю совокупность этнических категорий, которые стандартно используют информанты. Затем будут описаны категории, которые информанты перечисляют, когда рассуждают об этническом разнообразии в Москве без демонстрации стимулов, и, наконец, описано то, как люди классифицируют окружающих в повседневности. В конце раздела, посвященного результатам исследования, будут прослежены взаимосвязи между двумя наборами категорий — перечисляемыми в ходе разговора и используемыми при спонтанной классификации, и будет получен ответ на вопрос, как и на основании чего происходит этническая категоризация в московской повседневности.

¹ Такой порог был установлен в связи с тем, что в фокусе исследования находятся представления об этнических различиях, которые носят социальный характер и передаются в процессе социализации в те или иные городские среды. Однако, чтобы воспринять и усвоить эти представления, человеку требуется хотя бы некоторое время.

Метакатегории: какие слова привычны информантам для разговора об этническом разнообразии?

Ответ на вопрос о том, на чем строится этническая категоризация в московской повседневности, предполагает понимание того, какие термины вообще используются людьми при разговоре об этничности — «народы», «национальности», «этнические группы» или что-то иное? Выбранные термины могут быть описаны как «метакатегории», которые, предположительно, имеют воздействие и на то, как этническое разнообразие воображается людьми.

Для подавляющего большинства информантов таким ключом к пониманию этнического разнообразия стало слово «национальность». В тот момент, когда исследователи, как следовало из методологии, задавали вопрос про «этнические группы», представители которых проживают в Москве, информанты могли не понять этот вопрос и уточнить — что именно понимается под этнической группой? Если предлагаемый исследователями термин и понимался информантами, то затем они реинтерпретировали его в привычном для себя ключе — через «национальности»:

223

Интервьюер: А вообще, представители каких других этнических групп жили в Калмыкии?

Информант: Других национальностей?

Интервьюер: Да, можно так сказать.

(Женщина, 55 лет, Элиста, калмычка)

Для некоторых информантов, однако, привычные «национальности» и предлагаемые «этнические группы» не были полностью синонимичны, и — когда им предлагалось отрефлексировать различия — их версии могли быть разными. Например, этнические группы могли связываться с большими, чем привычные национальности, категориями:

Информант: Ну, как, я подумала о том, что скорее вы подразумеваете, наверное, какую-то более укрупненную группу, нежели отдельные национальности <...> Предкавказье, Закавказье, если я поняла.

(Женщина, 61 год, Москва, русская)

Чаще всего информанты почти автоматически «переводили» вопрос с использованием слова «национальности» и затем говорили уже о них или, без такого перевода, использовали термин, который предлагался исследователями.

Категории без стимулов: официальный перечень национальностей

Ранее была описана терминология, которую использовали информанты для описания этнического разнообразия. Для контраста и последующей фокусировки на результатах интервью со стимулами в этой части статьи будет показано, какие категории информанты используют, когда рассуждают об этническом разнообразии в Москве умозрительно, без демонстрации стимулов.

В значительной части случаев информанты — вне зависимости от происхождения — на вопрос «кто проживает в Москве постоянно или временно» приводили то, что условно можно обозначить как «список национальностей». Такого рода «список» — это способ воображения этнического разнообразия через ссылку к существовавшему в дискурсе представлению о текущем статус-кво этнического разнообразия. В качестве подобных источников могут выступать данные переписи населения или, например, более популярный формат их изложения — данные из Википедии. Иногда информанты в разговоре утверждали, что в Москве таких категорий или групп — очень много (например, «170, которые существуют, все здесь живут»), тем самым указывая на сложность их перечисления, но чаще всего все же «вспоминали» известные национальности. Этот список предсказуемо никогда полностью не воспроизводил условный статистический сборник, описывающий национальный состав Москвы, однако такой список, как правило, представлял собой некоторый «общий знаменатель» из 10–15 национальностей, примерно отсортированных по числу их представителей, проживающих в Москве:

Интервьюер: Тогда вот следующий вопрос у меня будет. Можешь, пожалуйста, назвать, как тебе кажется, люди какой этнической принадлежности живут в Москве? Постоянно или временно. Можешь прямо перечислить, а я запишу.

Информант: Я думаю, узбеки.

Интервьюер: Узбеки?

Информант: Да. Белорусы. Украинцы. Таджики. Ну русские. Ну, думаю, это самые распространенные, которые живут здесь.

Интервьюер: То есть все?

Информант: Ну, вообще, каждый же может жить.

(Женщина, 20 лет, Москва, русская)

Несмотря на то что в большинстве случаев перечень называемых информантами категорий действительно имел много пересечений, в него могли включаться довольно неожиданные категории, которые не вписывались в логику описания по числу представителей соответ-

ствующей категории в Москве в порядке убывания. Как можно предположить, такой способ модификации может быть связан с опытом информанта, заимствованным из других контекстов, например, из опыта проживания в национальном регионе — в таком случае в общем «списке» встречаются упоминания категорий, в других интервью не встречавшихся, например дагестанцев, марийцев, калмыков и других. Более того, часто инкорпорируемой в этот перечень национальностей оказывается категория идентификации информанта. Например:

Информант: Ну самые разные живут. Это русские. Кого у нас много? Татар, башкир. Татары, башкиры, что еще. Немного белорусов, украинцев немногого... Я к категории буряток отношусь, но у нас тоже есть наша диаспора здесь.

(Женщина, 53 года, п. Колотовка, бурятка)

Иногда, впрочем, встречаются другие типы категорий, которые отчасти «разбавляют» список, отчасти — задают иную логику описания разнообразия. Например, информанты, отвечая на вопрос об этнических группах в Москве и иллюстрируя тезис о ее разнообразии, упоминают категории, которые можно обозначить как «пределевые» — задающие наиболее широкие границы разнообразия. К таковым могут быть отнесены такие категории, как «китайцы», «афроамериканцы», «арабы» и некоторые другие:

225

Информант: Ну на Люблинском (рынке) там все нации. Ну вот Люблинский вот это, Москва. Там все есть. Там даже эти негры есть. Диаспора негров. Очень большая в Кузьминках.

(Женщина, 53 года, п. Колотовка, бурятка)

Таким образом, в основном на вопрос о том, представители каких этнических категорий присутствуют в Москве, информанты отвечали в ту или иную сторону модифицированным списком, заимствованным из дискурса, закрепленного в статистических сборниках и их популярных вариантах изложения перечня национальностей, представленных в Москве. Можно ли, однако, «увидеть» эти категории на улицах Москвы и как информанты решали задачу по категоризации «стимулов» в ходе спонтанной классификации?

Категории со стимулами: бинарная и тернарная категоризации

В тот момент, когда перед информантами ставилась задача определить этническую принадлежность людей в ходе демонстрации видео или классификаторных прогулок, категории, которые они

использовали, существенным образом менялись. В общем случае применялась категоризация, состоящая только из двух (бинарная) или трех (тернарная) категорий.

Бинарная категоризация такого рода обычно подразумевала противопоставление «славян», «русских», «людей со славянской внешностью» таким категориям, как «неславяне», «нерусские», «люди с неславянской внешностью», «восточные», «иностранцы», «мигранты»:

Информант: Я думаю, русский. То есть нужно спросить человека, чтобы узнать. Так не получится. Если он ярко выраженный, то можно не спрашивать. Но конкретно откуда, мне кажется, это уже нужно уточнять. Потому что так непонятно.

Интервьюер: Вот смотри, вот этот, например.

Информант: Ну вот сразу понятно, что это нерусские. Какие-нибудь Узбекистан или Таджикистан, что-нибудь из этого. Вот я между собой их уже плохо включаю, но это точно что-то из этого. <...>

Интервьюер: Хорошо. Женщина в зеленой шапочке.

Информант: Ну, естественно, это нерусская. А вот конкретно обозначить ее национальность вот почему-то сложновато.

(Мужчина, 30 лет, Москва, русский)

В рамках тернарной категоризации вторая категория из «бинарной» («нерусские», «восточные» и проч.) делилась на две категории, которые обозначали нечетко ограниченные множества людей, происходящих из стран и республик Кавказа («с Кавказа», «люди с кавказской внешностью») и из Центральной Азии («из Азии», «среднеазиатские республики», «люди с азиатской внешностью»):

Интервьюер: То есть у нас вообще может быть разброс от киргиза до вьетнамца, чисто теоретически.

Информант: Окей, у него... вот он типа азиат. Именно глаза. Глаза и формы лица у него такие щекастые бывают. <...> Мне кажется, это русская. Почему не кавказская девочка? Потому что на Кавказе так не одеваются. Кавказские девушки более собранные. <...> Кавказский мужчина в возрасте более солидно одевается, а тут эпатажно, что-то для подростков.

(Мужчина, 29 лет, Махачкала, аварец)

Важно, что эта бинарная и тернарная категоризации воспроизво-дились как у тех, кто в той или иной степени относил себя к условным «славянам», так и у тех, кто мог быть в рамках того же задания классифицирован в качестве «кавказца» или «азиата», что позволяет выдвинуть предположение о едином основании классификаторной схемы, «работающей» в московской повседневности.

Именно эта схема, предполагающая редукцию всего множества категорий до двух-трех, оказывается фактической, реальной альтернативой списку, который используется в случае, если перед человеком не стоит задачи определять этническую принадлежность людей, которых он видит¹.

Индикаторы

На что обращают внимание люди при «решении» описанной ранее задачи по спонтанной классификации окружающих? Сталкиваясь с такой необходимостью, информанты неизбежно обращались к индикаторам — признакам, за счет которых связываются между собой этнические категории и конкретные люди. Ключевыми индикаторами, посредством которых осуществлялась категоризация, оказывались фенотипические: цвет кожи, цвет волос, цвет глаз, разрез глаз, форма лица, форма носа, рост, телосложение. Хотя используемые информантами для классификации индикаторы категорий не всегда озвучивались напрямую, по результатам анализа были выделены некоторые «типичные» для редуцированных категорий индикаторы. «Славяне»/«русские»/«люди со славянской внешностью» обычно связывались с такими фенотипическими чертами, как светлые волосы, светлая кожа, голубые глаза, а в категорию «небелые»/«нерусские»/«восточные» записывались, соответственно, те, кто под эти индикаторы не подходил (имеющие темные волосы, темную кожу и иного цвета глаза).

В качестве индикаторов могли выступать не только отдельные фенотипические черты лица/тела/др., но и некоторый гештальт, целостность внешности. Так, в связи с категорией «русские» и ее противопоставлением категории «нерусские» иногда назывался такой индикатор, как «стандартность», «типичность» внешности, отсутствие каких-либо ярко выраженных черт. При отсутствии каких-либо видимых индикаторов, по которым стимул мог быть отнесен к какой-либо иной категории, информанты применяли к таким людям категорию «русский»:

Интервьюер: Чем мордва отличается от русских?

Информант: У него такое лицо тоже какое-то немножко странное для русского. Оно как-то более чуть смугловатое, но, мне кажется, все-таки

¹ Именно такая задача и стояла перед информантами. В соответствии с методологией им задавался вопрос «К какой этнической группе относится человек, заснятый на видео/проходящий мимо?».

оно какое-то не тюркское, то есть у него какие-то формы лица тоже, мне кажется, какая-то такая. <...> Мне кажется, это русские.

Интервьюер: Почему?

Информант: Выглядят как-то обычно.

(Мужчина, 20 лет, Ухта, коми, белорус, немец)

Что касается тернарной категоризации, то учитывая отсутствие таких индикаторов, как светлые волосы и светлая кожа (индикаторы категории «славяне») у обеих категорий, для первой категории («с Кавказа») оказывалось важно наличие у человека бороды, для второй («из Азии») — узкий разрез глаз.

Реже, по сравнению с фенотипическими индикаторами, использовались такие индикаторы, как стиль одежды, манеры поведения или контекст происходящего. Скорее, они работали в связке с индикаторами внешности и использовались информантами в тех случаях, когда на основании лишь фенотипических индикаторов трудно было дать однозначный ответ. В контексте бинарной категоризации, например, к манерам поведения могут быть отнесены нормы «снимать головной убор в общественном месте» и «сдержанно вести себя в общественных местах». Тех, кто не соблюдает данные нормы, некоторые информанты классифицировали как «нерусских», «мигрантов», противопоставляя их «русским», «славянам». Важно, что часто такие индикаторы назывались первыми в силу сложившейся стереотипной связки «носит головной убор в помещении» — «так в Москве делают только мигранты» (и другие аналогичные), но, безусловно, без считывания индикаторов внешности (которые могли и не проговариваться) ответ об этнической принадлежности человека едва ли был бы возможен.

Фактические классификаторные акты: между бинарной/тернарной категоризацией и списком

Возвращаясь к вопросу двух типов категоризаций, важно понять, как в реальности сочетаются между собой редуцированная категоризация и категоризация по национальностям из «списка»? Бинарную/тернарную категоризацию, которая, по всей видимости, является ведущим способом категоризации в повседневности, полезно рассматривать как идеальный тип, к которому фактические категоризации информантов тяготеют. В фактических актах категоризации категории из «списка» в той или иной степени (для разных информантов — разной) могут использоваться для повседневной категоризации, соседствуя с категориями редуцированными. Можно проследить, как информанты, пытаясь справиться с заданием по классификации людей, иногда сначала стараются применить

«списочную» национальность, затем, не сумев подобрать «нужную», используют обобщенную категорию:

Интервьюер: Хорошо. Самое последнее видео. Кассирша. Кто она по этнической группе?

Информант: Ну вот я бы это записала вот в эти вот Таджикистан, Узбекистан, Раскосый Кавказ. <...> Это, знаете, это вот этот вот южный восточный регион. То есть исламское население, Кавказ... <...>

Интервьюер: То есть восточные и кавказские это одно и то же?

Информант: Я это просто таким блоком пишу. Я их не отличаю вообще. Я не могу. Для меня все начинается ниже Ставрополья и заканчивая Ташкентом, для меня это все...

Интервьюер: А слушайте, в чем трудность? Что не дает определить?

Информант: Они для меня все на одно лицо. Это стыдно мне признаться. У них для меня у всех очень такие... Ну вот условно как спроси китайца, отличит ли он русского от американца, он не отличит. Для меня их внешность, если их разделить, десять если их поставить в ряд, я смогу вот сказать, этот, наверное, южнее, а вот этот, наверное, севернее. Но если мне их сказать вычленить из толпы, я их не отличу.

(Женщина, 28 лет, Балашов, отсутствует самоидентификация)

229

Случались и — в некотором смысле — обратные ситуации, когда информанты использовали «списочные» категории синонимично категориям из бинарной категоризации или для тех же целей использовались две «списочные» категории, идущие через условную косую черту или дефис:

Информант: Ой, господи, узбек-таджик. Явно строители. Или эти чернорабочие, которые... Ну вот по лицу ты что, не видишь?

(Женщина, 62 года, Москва, русская)

Впрочем, даже те информанты, для которых бинарная/тернарная категоризация была основной, описывали с ее помощью не всех. В частности, «не вписывались» в нее те категории, которые ранее описывались в качестве «предельных», задающих границы разнообразия, в том числе «арабы», «индусы», «евреи», «цыгане», «афроамериканцы». Иными словами, хотя категоризация стимулов — в сравнении с интервью без стимулов — действительно тяготеет к бинарности/тернарности, категоризации, осуществляемые каждым отдельным информантом сочетают «редуцированные» и «списочные» категории довольно «творческим» образом. Можно заключить, что именно в контексте этих двух категоризаций — более эмпирической и более дискурсивной, будучи производной от официально декларируемого представления об этническом разнооб-

разии, — и осуществляются конкретные классификаторные акты, производимые в повседневности.

Не является тривиальным вопрос, как соотносятся между собой «списочные» категории и категории из бинарной/тернарной категоризации. Номинальная «укрупненность» одних категорий по отношению к другим является всего лишь представлением о соотношении между категориями, достаточно, впрочем, укорененным среди информантов. О соотношении категорий и о том, насколько «списочные» категории однозначным образом «переводятся» информантами в категории из бинарной/тернарной категоризации или эти категоризации несводимы одна к другой, и первая существует только в дискурсивном пространстве, а вторая — в ситуациях повседневных категоризаций, также можно судить на основании собранных данных.

В целом можно говорить о том, что «списочные» категории и категории из бинарной/тернарной категоризации действительно «переводятся» одни в другие, и вторые действительно чаще всего являются общими по отношению к частным «списочным»¹. Это отчетливо видно по тому, как «решается» проблема неуверенности при категоризации — информанты сначала называют «списочные» категории, затем — когда понимают, что у них не хватает индикаторов для категоризации — используют более общую категорию, в которую входит несколько «списочных»:

Информант: Ну по крайней мере, ну нет, почему, ну по крайней мере, у армян я такого не видела. У меня друзья есть армяне. Я у них такого не видела. Ну, может быть, чеченец, может быть, ну тоже, в общем-то, из восточных. Вы что там, на восточные народы у вас вопросы? <...> Ну это тоже. Это либо, ну, тебе возможные варианты. Армянин, азербайджанец, может быть, и чеченец. То есть понятно, что человек с Востока. (Женщина, 62 года, Москва, русская)

Тем не менее этот «перевод» может осуществляться в довольно необычном режиме. В частности, «списочные категории» могли оказываться в неожиданных для наблюдателя, знакомого с конвенциональными таксономиями, «укрупненных» категориях. Одним из подобных нарративов являлось исключение категории «чечен-

¹ Отметим, что такое соотношение категорий, при котором все «списочные» категории однозначным образом входят в редуцированные категории, не является единственным возможным вариантом в схемах информантов. Некоторые списочные категории могут быть рядоположены укрупненным, а некоторые — не входить ни в одну из укрупненных категорий (например, евреи, афроамериканцы и др.).

цы» из категории «Кавказ» в связи с «отличной» культурой, или — более распространенный вариант — исключение категории «грузины» из категории «Кавказ», в связи с атрибутируемой последней наиболее распространенной религией — исламом.

Возвращаясь к вопросу о том, как категоризация осуществляется (а осуществляется она преимущественно с использованием редуцированных — бинарных или тернарных — категорий), важно описать и очевидные исключения из этого «правила», а также попытаться их объяснить. В ходе полевой работы встретилось три случая, когда информанты использовали для категоризации стимулов «списочные» категории. Двою из них родились в другой стране (мужчина из Армении и женщина из Казахстана), третий — мужчина из Ульяновска с богатым опытом взаимодействия с представителями различных этнических категорий на основании «списочных» категорий и довольно необычных индикаторов (армяне «более уверенные и у них вот этот крючковатый нос и уши маленькие», узбечка «будет похожа на кавайную мишку», «отличить таджика очень просто — смотрите, кто больше из них из всех разговаривает по телефону») категоризировал прохожих, вообще не используя категории, отсылающие к бинарной или тернарной категоризациям:

Информант: Нет, вот для меня они сразу пальются грузины. А армянин вообще другой.

Интервьюер: По сравнению с грузинами?

Информант: Да. Во-первых, они всегда ходят по-другому, более расслаблены, так как они... Как итальянцы на фиесте. Они более уверенные и у них вот этот крючковатый нос и уши маленькие. <...> Блин, в Одинцово на рынке АКОС я просмотрел, там, получается, больше 600, пока работал в охране, больше 600 ларьков, все армяне.

Интервьюер: Ого, и все похожи более-менее с этими ушами. <...>

Информант: Ну это 100%. Блин, даже мне тяжело отличить ее. Маленький рост, маленькие уши, большой нос, но при этом ходит как узбечка. Но нет, это киргизка. Скорее всего, где-нибудь поближе к Иссык-Кулю. Поэтому что там горы, и там киргизы более светлые.

(Мужчина, 28 лет, Ульяновск, русский)

Во всех случаях, однако, такому положению вещей находилось объяснение. В частности, в последнем из случаев именно этническая категоризация является для информанта «ключом» к людям, понимать которых для него — жизненная необходимость. В случае с мужчиной из Армении детальная категоризация кажется информанту осмысленной в контексте его работы в строительстве — от контрагентов и сотрудников он ждет того или иного поведения

в зависимости от этнической принадлежности, и они в целом не «обманывают его ожиданий». В случае с женщиной из Казахстана информант бравирует перед интервьюером своей «насмотренностью» (при этом она не могла назвать конкретных индикаторов, исходя из которых она категоризирует). Важно, что во всех случаях у информантов был реальный — у каждого свой — «опыт разнообразия», и такие категоризации являются фактически его проекцией на конкретные случаи. Важно отметить, что «достоверность» подобных классификаций остается за рамками исследования и проверка соответствия классификаций информантов с самоидентификацией прохожих/людей (которая не выяснялась) на видео не является его целью. Ключевым моментом здесь является осознаваемая людьми потенциальная «полезность», связанная с возможностью догадаться, представитель какой этнической категории находится перед ним. Эти три случая, впрочем, скорее являются девиацией, и большая их часть при фактической классификации лавирует между «списочными» категориями и категориями из бинарной/тернарной категоризации.

232

Подводя итог, важно обозначить ключевой для исследования момент. В Москве — в представлениях ее постоянных и временных жителей — существует две этнических категоризаций. Одна носит преимущественно дискурсивный характер и является «списком», по всей видимости, заимствуя способ воображения разнообразия, а также конкретные категории из официальной категоризации. «Списочная» категоризация, однако, лишь ограниченно может быть использована для спонтанного категорирования людей в повседневности. Фактическая категоризация, включая в той или иной степени «списочные» категории, тяготеет к схеме из двух или трех категорий, в которых, во-первых, противопоставляются по-разному называемые славяне/москвичи/русские и иностранцы/южане/восточной внешности, во-вторых, последняя категория делится на две — условные «Кавказ» и «Азию». Отдельным вопросом исследования является вопрос, связанный с объяснением причин подобной редукции.

Дискуссия и заключение

Как следует из результатов исследования, схема этнической классификации жителей Москвы строится одновременно на двух категориальных рамках: одна из них — это вернакуляризированная официальная классификация по национальностям, вторая — это бинарная/тернарная классификация. При этом важно, что информанты с разным опытом проживания в Москве более или менее

сходным образом категоризируют людей¹. Это говорит о том, что эта категоризация в части категорий и индикаторов является устойчивым «социальным фактом», который, как демонстрируют интервью с иностранцами, вошедшими в выборку исследования, в ходе социализации в московские среды довольно быстро «осваивается». Данное наблюдение в некоторой степени отличается от наблюдения В. Рот за доминиканцами и пуэрториканцами, приезжающими в Нью-Йорк и привносящими изменения в существующую бинарную этническую схему (предлагая взамен ей «испаноязычную американскую схему» из большего числа категорий²) (Roth 2012). Возможно, московская редуцированная конструкция этничности является, в отличие от случая, описанного В. Рот, более «укорененной» и универсально работающей, а потому — быстро осваиваемой приезжими, что, впрочем, требует дальнейшего сравнительного исследования в иных контекстах.

Каково происхождение категорий в категоризациях? Истоки первой, «официальной» категоризации могут быть обнаружены в советской национальной политике, поместившей национальности в основание государственного устройства и за счет паспортной системы «привязавшей» людей к этим категориям. Национальности за счет этого получили «вторую жизнь» и укоренились в коллективных представлениях жителей СССР, а затем и России, о том, представители каких категорий живут в стране. Почему же такая списочная категоризация, о которой все информанты, с той или иной степенью детализации, знают и которая, по всей видимости, продолжает бытование благодаря разного рода авторитетным источникам информации (статистические справочники, учебники, Википедия), не является ведущей в повседневной категоризации?

-
- 1 Возможно, кроме того, и в других российских локациях это в той или иной степени так, но в той мере, в какой данное исследование является инновационным в области изучения этнических схем в российском контексте, сравнение с другими локациями только предстоит сделать. Одним из авторов статьи, кроме того, было проведено пилотное элицитационное исследование в городе Бишкеке (Кыргызстан), которое показало, с одной стороны, схожий принцип работы индикаторов при идентификации человека и бинарных категорий «местные» или «русские», с другой — довольно сильно отличающуюся номенклатуру базовых категорий, нередуцируемых к обнаруженной в Москве оппозиции (Варшавер 2024).
 - 2 В своей работе В. Рот описывает этнические схемы местных и приезжих из Латинской Америки в Нью-Йорке. В то время как жителями Нью-Йорка вполне усвоена классическая расовая схема «черные-белые», мигрировавшие в страну более склонны использовать схему, включающую латиноамериканцев — «испанализированную» расовую схему США.

Для ответа на этот вопрос важно принимать во внимание, что любая схема категоризации, для того чтобы быть востребованной и применимой, неизбежно должна отвечать двум требованиям. Во-первых, она должна иметь «различительную силу», то есть обеспечивать возможность различать представителей разных категорий. Во-вторых, она должна быть релевантной, то есть это различие должно быть зачем-то нужно.

Что касается «различительной мощности», в той мере, в какой восприятие этнической принадлежности другого человека связано с визуальными составляющими (Roth 2015), важную роль в осуществлении категоризации играют индикаторы. Для категорирования используются разнообразные индикаторы — связанные с чертами лица/строением тела, одеждой/стилем, языком/акцентом, контекстом, при этом результаты исследования подтверждают первостепенную важность одного из указанных типов индикаторов — фенотипических, включая цвет кожи, цвет волос — отмеченного и в зарубежных исследованиях повседневных категоризаций (Sanjek 1971; Burgne, Forline 1997; Zuijderwijk, Burgers 2015). Остальные же индикаторы, будь то одежда или манера поведения, скорее помогают человеку определить национальность в том случае, если каких-то из фенотипических индикаторов оказывается недостаточно. Здесь, однако, можно отметить, что индикаторы, которые проговариваются и даже как будто используются для категорирования на глазах у интервьюера, могут быть не теми индикаторами, на которые люди обращают внимание на самом деле, но которые выпадают из нарратива об этнических различиях. Предположительно, большую роль в сравнении с фенотипическими индикаторами могут играть индикаторы контекста, которые как бы настраивают человека на определенную категоризационную «модальность» (применительно к этничности в Москве такими контекстами могут быть рынки, стройки и т.д.). Чтобы ответить на этот вопрос, однако, требуются другие исследовательские методы. Возвращаясь же к вопросу о том, почему люди практически не используют списочную категоризацию, можно предположить, что у человека, перед которым стоит задача классифицировать кого-либо, не хватает различительной мощности, то есть способности «считывать» индикаторы при использовании списочных, дискурсивно существующих категорий. А кроме того, слишком большое число категорий, существующих в официальном дискурсе, делает затруднительным наделение уникальными, различимыми визуально, атрибутами каждую из национальностей. Это видно, например, при анализе индикаторов, которые использовали информанты для отнесения человека к категории «русские» — зачастую речь шла о некоторой обыденности, типич-

ности и стандартности внешности человека¹, то есть невозможности выделить конкретные индикаторы.

Что же касается релевантности, одним из ходов мысли в существующих исследованиях является объяснение редуцированных этнических схем в мегаполисах через особенности социального взаимодействия, необходимости быстро, и потому довольно «общо», классифицировать людей в условиях мимолетных контактов (Вегтман 1972). Хотя жители Москвы знают классификацию по официальным национальностям, в жизни она оказывается им не очень нужна. Является ли человек бурятом, якутом, аварцем, белорусом или татарином — такая категоризация для жителя Москвы не имеет почти никакого практического значения в ситуации быстрого и отстраненного взаимодействия, в то время как практическое значение имеет категоризация «русские»/«славяне» — «нерусские»/«южане», поскольку именно она связана с выстраиванием человеком своего поведения во взаимодействии с незнакомцами. Первые, то есть условные «русские», согласно общественным представлениям, в совершенстве говорят на русском языке, являясь для них родным, а вторые, по-разному описываемые «нерусские», — нет, в связи с чем стандартные схемы взаимодействия здесь могут различаться. Кроме того, согласно существующим стереотипам, взаимодействие именно с такой общей категорией, как «нерусские», «мигранты», оказывается сопряжено для «русских», «местных» с различного рода рисками, преступлениями, антисанитарией и другими негативными феноменами². Такое редуцированное различение оказывается релевантным, например, в контексте важности понимания, возможна ли и насколько легка (и безопасна) будет коммуникация с другим человеком.

Примерно по тем же причинам категория «неславяне» может разделяться на «Кавказ» и «Азию». Представители первой категории часто воспринимаются как вспыльчивые, но инициативные предприниматели, с которыми нужно вести себя осторожно, вторые — как бесправные, безответственные «гастррабайтеры», которых можно «ис-

-
- 1 Атрибутирование «русским» стандартной внешности, по всей видимости, происходит из регулярного взаимодействия информантов с представителями данной категории в Москве, из-за чего и возникает связка «русский» — « тот, кого вижу постоянно и к кому уже привык».
 - 2 Действительно ли мигранты причиняют много дискомфорта местным жителям? Большой вопрос. URL: <https://www.bolshoyvopros.ru/questions/3957258-dejstvitelno-li-migranty-prichinjajut-mnogo-diskomforta-mestnym-zhiteljam.html?ysclid=m8zr7iem24572603699>. Мешают ли России нерусские? Известия. URL: <https://iz.ru/588378/meshaiut-li-rossii-nerusskie>.

пользовать» на низкооплачиваемой работе¹. Такие представления распространены среди «славян», которые в этой категоризации оказываются «всеми остальными» или «обычными людьми», не имеющими культурной специфики, однако и «нерусские» впитывают и по-своему интерпретируют существующую в московской конструкции этничности категоризацию.

Важно, впрочем, и то, что эти категории связаны с «рабочими» индикаторами. Так, имеется набор индикаторов, позволяющих, пусть и с небольшими ошибками, отнести конкретного человека к категории «славяне», а «Кавказ» отличить от «Азии», в результате чего эта категоризация постоянно «тренируется» и становится одной из «рабочих» интерпретаций действительности. Однако эта категоризация, несмотря на циркуляцию в СМИ и некоторых практиках — например, объявлениях о сдаче квартир², не получила собственного одновременно авторитетного и популярного языка описания, и в результате, когда заходит речь об этнических различиях, житель Москвы оказывается между ней и значительно более авторитетной, однако менее «рабочей» классификацией по советским национальностям. И именно на стыке первой и второй он и говорит, и мыслит этнические различия, и — интерпретирует окружающую реальность.

Основными методологическими ограничениями исследования является то, что используемые методы позволяют только приблизить информантов к ситуации спонтанных категоризаций, а не поместить их в нее. Более того, в той мере, в какой интервью начиналось с вопросов про этнические категории, эти методы лишь ограниченно полезны в деле выявления фактической релевантности этнических категоризаций для информантов и того, когда и в каких ситуациях у них «включается» этническая категоризация, а в каких этого не происходит. В ряде случаев информант сначала транслировал подробную классификацию с одним набором категорий, однако после элиucidации признавался, что на самом деле ее не придерживается и в жизни пользуется иными — «укрупненными» — категориями, более релевантными в жизненных ситуациях. Стоит отметить, что далеко не все информанты осуществляли такую рефлексию, поэтому в некоторых случаях такого — дополнительного — способа выяснить, какие

1 Схожая категоризация прослеживается и в СМИ. См.: Откуда ждать опасности от мигрантов? LiveJournal. URL: <https://bulochnikov.livejournal.com/953317.html?ysclid=m8zr5lxv78984074922>.

2 Нигериец, таджик и кореянка: как жить в России с неславянской внешностью? Афиша Daily. URL: <https://daily.afisha.ru/relationship/2645-nigeriectadzhik-i-koreyanka-o-tom-kak-zhit-v-rossii-s-neslavjanskoy-vneshnostyu/>.

категории используются при классификации «на самом деле», исследователи были лишены. Тем не менее в той мере, в какой есть лишь ограниченное число исследований, которые задаются похожими вопросами, а тем более используют похожие методы, методология и результаты исследования обладают как научной новизной, так и важностью в объяснении «повседневного» бытования этничности.

Финансирование / Funding

Данная статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС.

The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research programme.

Список источников / References

Варшавер Е. А. (2024) Что именно исследуется, когда исследуется этничность? Дескриптивная модель для конструктивистских исследований этничности в контексте когнитивного поворота. *Социологическое обозрение*, 23(3), с. 94–126. EDN: IGULTR. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-3-94-126>

237

— Varshaver E. (2024) What Exactly is Studied When Ethnicity is Researched? A Descriptive Model for Constructivist Studies of Ethnicity in the Context of the Cognitive Turn. *The Russian Sociological Review*, 23(3), pp. 94–126. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-3-94-126>. (in Russ.)

Зайончковская Ж. А., Полетаев Д. В., Флоринская Ю. Ф., Доронина К. А. (2014) Мигранты глазами москвичей. *Демоскоп Weekly*, 605–606, с. 1–28. Доступен: <https://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/demoscope605.pdf>

— Zayonchkovskaya J., Florinskaya Y., Poletaev D., Doronina K. (2014) Migrants through the Eyes of Muscovites. *Demoscope Weekly*, 605–606, pp. 1–28. Available at: <https://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/demoscope605.pdf>. (in Russ.)

Anderson B. (2006) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso.

Appadurai A. (1993) Number in the Colonial Imagination (pp. 314–339). In Breckenridge C. & van der Veer P. (Eds.) *Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Berreman G. D. (1972) Social Categories and Social Interaction in Urban India. *American Anthropologist*, 74(3), pp. 567–586.

Brubaker R., Loveman M., Stamatov P. (2004) Ethnicity as Cognition. *Theory and Society*, 33, pp. 31–64. <https://doi.org/10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63>

Byrne B., Forline L. (1997) The Use of Emic Racial Categories as a Tool for Enumerating Brazilian Demographic Profiles: A Re-Analysis of Harris' 1970 study. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi (Antropologia)*, 13, pp. 3–25.

- Gold S. J. (1991) Ethnic Boundaries and Ethnic Entrepreneurship: A Photo-Elicitation Study. *Visual Studies*, 6(2), pp. 9-22. <http://dx.doi.org/10.1080/14725869108583688>
- Gravlee C. C. (2005) Ethnic Classification in Southeastern Puerto Rico: The Cultural Model of «Color». *Social Forces*, 83(3), pp. 949-970. <https://doi.org/10.1353/sof.2005.0033>
- Harris M. (1970) Referential Ambiguity in the Calculus of Brazilian Racial Identity. *Southwestern Journal of Anthropology*, 26(1), pp. 1-14. <https://doi.org/10.1086/soutjanth.26.1.3629265>
- Henry S. G., Fetters M. D. (2012) Video Elicitation Interviews: a Qualitative Research Method for Investigating Physician-Patient Interactions. *The Annals of Family Medicine*, 10(2), pp. 118-125. <https://doi.org/10.1370/afm.1339>
- Karahan E. (2023) Using Video-Elicitation Focus Group Interviews to Explore Pre-Service Science Teachers' Views and Reasoning on Artificial Intelligence. *International Journal of Science Education*, 45(15), pp. 1283-1302. <https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2200887>
- Keesman L. D. (2022) Action Accounts of Police-Civilian Interactions: Using Video Elicitation to Explore Police Officers' How-to Knowledge. *Poetics*, 91 (101561). <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101561>
- Kertzer D., Arel D. (Eds.) (2001) *Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses (New Perspectives on Anthropological and Social Demography)*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606045>
- Lorinc M., Kilkey M., Ryan L., Tawodzera O. (2022) «You Still Want to Go Lots of Places»: Exploring Walking Interviews in Research with Older Migrants. *The Gerontologist*, 62(6), pp. 832-841. <https://doi.org/10.1093/geront/gnab152>
- Petersen W. (1987) Politics and the Measurement of Ethnicity (pp. 187-234). In Alonso W. & Starr P. (Eds.) *The Politics of Numbers*. New York: Russell Sage Foundation.
- Piekut A., Valentine G. (2016) Perceived Diversity and Acceptance of Minority Ethnic Groups in Two Urban Contexts. *European Sociological Review*, 32(3), pp. 339-354. <http://dx.doi.org/10.1093/esr/jcw011>
- Roth W. D. (2015) Studying Ethnic Schemas: Integrating Cognitive Schemas Into Ethnicity Research Through Photo Elicitation (pp. 89-118). In Santos C. E., & Umana-Taylor A. (Eds.) *Studying Ethnic Identity: Methodological and Conceptual Approaches Across Disciplines*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Roth W. D. (2012) *Race Migrations: Latinos and the Cultural Transformation of Race*. Stanford: Stanford University Press.
- Sahadeo J. (2019) *Voices from the Soviet Edge: Southern Migrants in Leningrad and Moscow*. Ithaca, London: Cornell University Press.
- Sanjek R. (1977) Cognitive Maps of the Ethnic Domain in Urban Ghana: Reflections on Variability and Change. *American Ethnologist*, 4(4), pp. 603-622. <https://doi.org/10.1525/ae.1977.4.4.02a00020>
- Sanjek R. (1971) Brazilian Racial Terms: Some Aspects of Meaning and Learning. *American Anthropologist*, 73(5), pp. 1126-1143.

- Sankoff G. (1971) Quantitative Analysis of Sharing and Variability in a Cognitive Model. *Ethnology*, 10(4), pp. 389–408.
- Simon P., Piche V., Gagnon A. A. (Eds.) (2015) *Social Statistics and Ethnic Diversity: Cross-National Perspectives in Classifications and Identity Politics*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20095-8>
- Starr P. D. (1978) Ethnic Categories and Identification in Lebanon. *Journal of Contemporary Ethnography*, 7(1), pp. 111–142. <https://doi.org/10.1177/089124167800700106>
- Valentine C. A., Valentine B. L. (1971) *Missing Men: A Comparative Methodological Study of Underenumeration and Related Problems*. Contract No. 1510. Washington, DC: U. S. Bureau of the Census.
- Warren S. (2017) Pluralising the Walking Interview: Researching (Im) Mobilities with Muslim Women. *Social & Cultural Geography*, 18(6), pp. 786–807. <https://doi.org/10.1080/14649365.2016.1228113>
- Zuijderwijk L., Burgers J. (2015) Making Sense of Others in a Super-Diverse City: Ethnic Categorization in Public Space. *Studies in Symbolic Interaction*, 45, pp. 51–73. <https://doi.org/10.1108/S0163-239620150000045003>

Об авторах / About the authors

239

Варшавер Евгений Александрович — к.соц.н., руководитель Группы исследований миграции и этничности, и.о. директора Центра региональных исследований и урбанистики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия.

<https://orcid.org/0000-0002-5901-8470>. E-mail: varshavere@gmail.com

Evgeni A. Varshaver — PhD in Sociology, head of the Group for Ethnicity and Migration Research, acting head of the Centre for Regional Research and Urban Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia. <https://orcid.org/0000-0002-5901-8470>. E-mail: varshavere@gmail.com

Орлова Анастасия Анатольевна — исследователь Группы исследований миграции и этничности, стажер-исследователь Центра региональных исследований и урбанистики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия.

<http://orcid.org/0009-0001-4245-5113>. E-mail: aaorlova_10@edu.hse.ru

Anastasia A. Orlova — researcher at the Group for Ethnicity and Migration Research, research assistant at the Centre for Regional Research and Urban Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia. <http://orcid.org/0009-0001-4245-5113>. E-mail: aaorlova_10@edu.hse.ru

Гупалова Юлия Викторовна — магистр социологии, исследователь Группы исследований миграции и этничности, Москва, Россия.

<http://orcid.org/0009-0004-0909-0046>. E-mail: jgupalova@gmail.com

Yulia V. Gupalova — MA in Sociology, researcher at the Group for Ethnicity and Migration Research, Moscow, Russia.

<http://orcid.org/0009-0004-0909-0046>. E-mail: jgupalova@gmail.com

Рецензии

Рецензия / Book Review

Мимикрия под микросоциологию

Рецензия на книгу: Коллинз Р. (2025) Насилие. Микросоциологическая теория / Пер. с англ. Н. Проценко. М.: Новое литературное обозрение. — 1008 с.

Рекомендация для цитирования:
Чудина П. В. (2025) Мимикрия под микросоциологию. Рецензия на книгу: Коллинз Р. (2025) Насилие. Микросоциологическая теория. М.: Новое литературное обозрение. *Социология власти*, 37 (3): 241-251
EDN: UVLAXA

For citation:
Chudina P. V. (2025) Mimicry of Microsociology. Book Review: Collins R. (2025) Violence. A Micro-sociological Theory. Moscow: New Literary Review. *Sociology of Power*, 37 (3): 241-251

Поступила в редакцию: 07.09.2025;
принята в печать: 22.09.2025
Received: 07.09.2025; Accepted:
22.09.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Полина В. Чудина (ВРУБЛЕВСКАЯ)

Независимый исследователь, Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0000-0001-7005-9591>

241

В этом году на русском языке вышел солидный труд американского социолога Рэндалла Коллинза «Насилие: Микросоциологическая теория» (*Violence: A Micro-sociological Theory*) в отличном переводе Николая Проценко. Поскольку с момента первой публикации в 2008 году книга именного автора получила уже множество рецензий в лучших международных социологических журналах, включая *American Sociological Review*, всестороннее внимание и популяризацию в работе других авторов, а также признание в виде премии Американской социологической ассоциации в 2011 году и, более того, содержательное продолжение в следующих книгах Коллинза «Харизма. Микросоциология власти и влияния» (Collins 2020) и «Взрывной конфликт: Временная динамика насилия» (Collins 2022), теперь о ней невозможно писать вне контекста того, «что было дальше».

Более конкретно предлагаю разобраться, насколько интеллектуальный труд Коллинза стоит расценивать как проект именно *микросоциологической теории насилия*.

Относительно интеллектуального бэкграунда Коллинза важно иметь в виду, что его теория насилия развивалась поступательно, на перекрестке его магистральных исследовательских интересов и исходя из многочисленных эмпирических наблюдений — собственных и чужих, чаще всего студентов и коллег по университетской среде, — на протяжении десятилетий. Прежде всего, она несет в себе заряд социологии конфликта, где Коллинз последовательно придерживался неовеберианского подхода в макросоциологической перспективе. Именно отсюда в качестве базовой предпосылки он берет идею о насилии как системной производной социальных отношений, в ядре которых всегда находится конфликт (а не консенсус). Заметим, что проблематизация насилия у Коллинза исходит непосредственно из макросоциологической перспективы.

Вторым слоем следует социология эмоций Коллинза, насыщенная психологическим дискурсом в силу его первого профильного образования. Эта перспектива вынуждает обращать внимание на то, какой вклад в социальные отношения вносит эмоциональное состояние индивидов, вступающих в ситуационные взаимодействия. Из социологии эмоций Коллинз заимствует концептуальный аппарат под свое базовое определение насилия как «преодоления конfrontационной напряженности/страха».

Третьим компонентом становится микросоциологический анализ ритуалов взаимодействия, описанный им в книге «Цепочки ритуалов взаимодействия» (Collins 2004). В первом же предложении этой работы автор ясно сообщает свою позицию относительно микросоциологического подхода в целом: «Теория ритуалов взаимодействия — ключ к микросоциологии, а микросоциология — ключ ко многому, что гораздо масштабнее» (Collins 2004, р. 3). Таким образом, в «Насилии» Коллинз уже вполне прагматично использует (если не сказать — «utiлизирует») микросоциологический подход с целью добиться высокой степени детализации насилия, вместе с тем не отказываясь от стремления обнаружить закономерности, установить причинно-следственные связи и объяснить этот феномен через принципы генерализации, то есть вернуться на макроуровень. Такой подход Коллинза уже ранее имел успех в прославившей его работе «Социология философий: глобальная теория интеллектуальных изменений» (1998).

Автор убежден, что микросоциологический подход «вновь позволяет увидеть, что фоновые условия — бедность, расовая принадлежность, детские переживания — являются далеко не решающим фактором для динамики конкретных насильтственных ситуаций» (с. 36).

Теперь следите за руками: в этом утверждении Коллинз не отказывается от макросоциологической перспективы и соответствующих ей аргументов в пользу микросоциологической логики объяснения, а фактически сталкивает микро- и макроуровни рассмотрения феномена насилия, подразумевая, что помимо «фоновых» (то есть системных) факторов существуют другие, ситуационные, и они же — «решающие». Необходимость микросоциологического подхода к насилию Коллинз обосновывает непосредственно «от противного», риторически разрывая плотную ассоциацию насилия с определенными социальными категориями населения:

Большинство молодых мужчин, бедных, чернокожих или детей разведенных родителей, не становятся убийцами, насильниками, громилами или участниками вооруженных ограблений — и наоборот: среди тех, кто совершает перечисленные виды насилия, обнаруживается немало состоятельных людей, представителей белой расы или выходцев из полных семей (с. 35).

Вторым аргументом он релятивизирует фоновые факторы, включая в предметную область рассмотрения полицейское насилие, вооруженные действия и этнические чистки (с. 35), — так называемое «хорошее» насилие, «которое вообще не рассматривается как такое, если оно совершается уполномоченными государственными агентами» (с. 36). К слову, сам Коллинз остается заложником этого конвенционального различия и не уделяет этим видам насилия столько же места, сколько домашнему, уличному, спортивному — то есть «плохому» — насилию. Третий аргумент Коллинза направлен на критику деконтекстуализации фактов насилия из цепочки ситуаций повседневной жизни, на протяжении большей части потока времени которой «присутствие насилия очень незначительно» (с. 37).

243

Однако само по себе распознавание ситуационных факторов на микроуровне еще не делает их более значимыми на фоне системных — и в своей книге Коллинз не преодолевает этот методологический разрыв, а скорее маскирует его. Свойственное автору переключение с уровня этнографического описания точечных наблюдений на уровень теоретического обобщения ключевых паттернов дается ему столь ловко, что увлеченный читатель легко поддается иллюзии, будто между этими уровнями анализа и объяснения действительно нет логического разрыва. В этом, пожалуй, очарование и величие Коллинза. Он виртуозно смешивает пестрый, разрозненный, когнитивно неудобоваримый массив эмпирии в непротиворечивый, без комочеков, стройный нарратив из социально-психологических терминов, который затем подается читателю на блюдечке в виде нормативной теории макросоциологического пошиба.

То, что Коллинз играет только по своим правилам и на знакомой территории, подтверждается изоляцией его теоретического проекта от множества социологических теорий и исследований в предметной области насилия. И хотя среди литературных источников встречаются криминологи и теоретики конфликта, масштабные исторические труды и узкоспециализированные эмпирические работы, в совокупности они лишь создают впечатляющие декорации без действующих лиц и оппонентов. Все же Коллинз явным образом отмежевывается от бурдьевистской концепции «символического насилия», называя ее сугубо «теоретической игрой слов», которая не имеет ничего общего с природой реального насилия (с. 79). Принципиальное противопоставление насилия социальному порядку — идея не новая, и именно вокруг нее, через Ирвинга Гоффмана, Коллинз выстраивает свою теорию. Американский социолог обнаруживает для себя лазейку, через которую выходит из пространства дебатов о насилии: во-первых, он решает сконцентрироваться именно на микроуровне ситуационных взаимодействий лицом-к-лицу, где философские концепции насилия предшественников оказываются неприменимы, а во-вторых, в то время как многие прежде объясняли, почему индивиды вступают в конфликты, Коллинз принимается за ситуационные механизмы, которые в одних случаях выпускают насилие наружу, а в других — сдерживают его.

Исходя из вышеизложенного, Коллинз выбирает своим объектом исследования «насильственные ситуации»:

Если же как следует сосредоточиться на самой ситуации взаимодействия — представим себе разъяренного друга молодой матери с плачущим младенцем, вооруженного грабителя, который нажимает на спусковой крючок оружия, направленного на жертву налета, или полицейского, избивающего подозреваемого, — то мы сможем разглядеть паттерны конфронтации, напряженности и эмоционального потока, лежащие в основе конкретной ситуации, в которой совершается насилие (с. 36).

Как видно, автор прямиком переводит эмпирические наблюдения в аналитические категории, не считая нужным приоткрыть перед читателем процесс интерпретации. Именно поэтому складывается впечатление, что Коллинз не разработал свой категориальный аппарат в процессе анализа эмпирического материала, а скорее подобрал подходящие иллюстрации под заранее сформированную терминологию. Ключевым концептом в анализе Коллинза является «конфронтационная напряженность и страх», то есть такое физиологическое и эмоциональное состояние участников взаимодействия, преодоление которого возможно только посредством насилия. Коллинз утверждает, что насилие случается редко и совершается

неумело потому, что людям, как правило, трудно преодолевать напряженность и страх. В этом утверждении содержатся сразу два допущения, заслуживающих последовательного и скрупулезного обоснования в анализе. Как объясняет автор, преодоление состояния конфронтации требует дисбаланса эмоциональной энергии (или, по-другому, «асимметрии вовлеченности») между взаимодействующими сторонами. Для малочисленного круга людей, осуществляющих насилие профессионально и не ввиду личных мотивов, дополнительно работают более специфические механизмы, которые Коллинз затрагивает в Главе X («Элита насилия», с. 697–769), а для условного большинства он описывает два основных сценария того, чем оборачивается дисбаланс эмоциональной энергии: «наступательная паника» и «нападение на слабого». Первый характерен для тех, кто в большей степени эмоционален и стремительно атакует, поддавшись импульсу. Второй сценарий разворачивается при оценке сил самими участниками как неравных: толпа на одного, взрослый против ребенка и тому подобное. В обоих случаях ключевую роль играет успешное доминирование в пространстве эмоционального внимания агрессора над жертвой. Это достигается вербальными средствами вроде пререканий и бахвальства, причем «слабая» сторона тоже вносит свой вклад, поддаваясь «нытью». Вообще сложно не заметить, как просто — и оттого спорно — Коллинз работает с понятиями «жертвы» и «виктимности» (с. 294–307, 361–367):

245

Те, кто совершает насилие, чем-то напоминают легендарных вампиров, которым придает поддержку кровь их жертв. Однако вампир от насилия получает кровь, необходимую ему для того, чтобы оставаться в живых не потому, что его жертвы — здоровые существа. Он проникает в их вены именно потому, что они являются социально слабыми. Эта метафора одновременно является и шокирующей, и неточной. Перед нами интеракционный симбиоз: тот, кто стал специалистом по насилию, обнаруживает нишу, где наживу может приносить чья-то слабость во взаимодействии (с. 367).

Если же баланс удерживается, то состояние напряженности/страха сходит на нет во взаимной перепалке, которая, как считает Коллинз, заменяет насильтственные действия. В противном случае, то есть по факту реализации насилия, агрессор получает дополнительный прилив энергии, который может ввести его в «туннель насилия». В ряде случаев, которые Коллинз объединяет в главу «Насилие как забава и развлечение», «туннель» превращается в «моральные каникулы».

Также Коллинз рассматривает эффекты, которые производит «аудитория», то есть наблюдатели и свидетели конфронтации: они могут либо вносить свой вклад в эскалацию насилия, подбадри-

вая и поддерживая эмоциональный заряд действующих лиц, либо, наоборот, препятствовать его реализации, удерживая оппонентов в рамках «нормального» социального взаимодействия, в том числе переводя конфронтацию в форму «постановочного насилия», в частности поединка.

Подробное последовательное описание категорий анализа Коллинза приводится в другой свежей рецензии на книгу (Малахов 2025), а квинтэссенция его теории — такая:

Конфронтации вызывают напряженность и страх, которые препятствуют совершению реального насилия; эмоциональная напряженность разрешается насильственной атакой только при наличии слабой жертвы либо в тех случаях, где у конфликта имеются страховочные «костили» в виде поддержки публики, что позволяет превратить его в постановочный поединок, который ведется в пределах социально устанавливаемых ограничений (с. 690).

Я же хочу задаться вопросом, какими методологическими приемами Коллинз руководствуется в своем анализе, чтобы прийти к этим категориям. Начнем с того, как именно те или иные ситуации попали в выборку и могли быть маркированы как насильтственные, а не прочие. Большая часть наблюдений, вошедших в книгу, — это видеосюжеты и фотографии, произведенные не под исследовательские цели, но эту методологическую проблему Коллинз обсуждает исключительно в ключе (не)удобства анализа, (не)достаточной наглядности, (не)удачного ракурса и качества съемки (с. 42). В продолжении хотелось бы видеть более развернутую методологическую рефлексию об ограничениях самого исследовательского взгляда и прояснения аналитических алгоритмов, которые позволяют социологу совершать отбор таких эмпирических свидетельств и далее приходить к выводам в таком духе:

Около трети солдат (30%) испытывают либо сильный, либо легкий страх. Еще треть (32%) находятся в промежуточном состоянии напряженности и сосредоточенности. Четверть (26%) сохраняют спокойствие и нейтральные эмоции. Можно предположить, что именно последняя группа будет проявлять наибольшие умения в бою, однако солдаты, сохраняющие спокойствие, могут с одинаковой вероятностью обнаружиться как среди тех, кто не стреляет, так и среди тех, кто ведет огонь из своего оружия (с. 155–156).

Коллинз то и дело обращается к проблематике макросоциологического порядка, но реагирует на макросоциологические аргументы из плоскости ситуационного взаимодействия, где они, в силу законов социологии и только, неизбежно растворяются в ничто (становятся фоном). Сколь бы ни был внушителен в своих масштабах

перебор отдельных наблюдений, он никогда не сможет оспорить однажды установленную статистически значимую связь между двумя переменными, равно как обнаружение черного лебедя не списывает со счетов всех белых. Словно заячий уши из цилиндра, спекуляции отвлекают внимание от действий рук иллюзиониста. И все же в некоторых местах повествования разрывы между логическими порядками зияют более явно — например, когда Коллинз рассуждает о связи насилия и опьянения (с. 501–513). Он сразу преподносит эту тему в виде парадокса, формулируя вопрос предельно риторически: «Парадокс: почему наркотическое или алкогольное опьянение в большинстве случаев не приводит к насилию?» (с. 501). Такая постановка вопроса подразумевает как минимум статистический анализ корреляционной связи между какими-либо конкретными показателями, измеряющими «насилие» и «опьянение», а как максимум — комплекс аналитических процедур, выявляющих факторы, которые могли бы претендовать на объяснение («почему»), однако вместо этого Коллинз погружается в гущу эмпирических наблюдений разного рода, присовокупив к ним совершенно несопоставимые между собой вторичные данные из разных источников, где каждый раз искомой переменной выступает нечто новое. И уже несколько страниц спустя исследовательский вопрос звучит как бы наоборот: «Почему же так мало случаев, когда опьянение приводит людей к насилию?» (с. 508). Помимо эффекта перевертыша, по-прежнему смущает отсылка к количественному измерению («мало случаев»), поскольку едва ли этот вопрос подходит для микросоциологического исследования. Если тут имеет место парадоксальность, то не та, которую показывает автор, а методологическая.

Коллинз изначально заявляет, что не видит смысла искать объяснение насилию в чертах лиц, его совершающих (с. 34), — это вполне допустимый ход. Однако если потенциально стигматизирующие характеристики индивидуального порядка выносятся за рамки исследования вместе с макросоциологическими объясняющими моделями, то непонятно, зачем требуется дополнительно опровергать — в общем и целом — влияние состояний наркотического или алкогольного опьянения на факты насилия, да еще и так неубедительно. К тому же буквально спустя сотню страниц (в масштабах произведения это всего ничего) Коллинз прямым образом сравнивает насильтвенное поведение спортивных болельщиков с наркотическим «приходом» и подробно описывает, как футбольные фанаты творят беспредел, закономерным образом напиваясь в пабах (с. 607–609). И в других местах, вопреки собственной установке, Коллинз делает не что иное, как объясняет социальные механизмы ситуационного взаимодействия с конфронтационной напряженностью через индивидуальные характеристики, например:

Почему не произошла эскалация схватки? На тот момент Драйзеру был 61 год, но с его ростом шесть футов один дюйм [185 сантиметров] и весом более 200 фунтов [91 килограмм] он был крупнее и сильнее высокого и худощавого 46-летнего Льюиса — этот момент помогает объяснить как готовность Драйзера перейти к рукоприкладству, пусть и не очень серьезному, так и то, что Льюис ограничился лишь словесным ответом (с. 690).

Или здесь:

Приемы, позволяющие киллерам добиваться успеха, имеют психологический и интеракционный характер. Поэтому профессиональные киллеры часто имеют средний рост, а то и меньше, и не обязательно обладают значительной физической силой (с. 800).

В заключительной Главе XII («Эпилог. Практические выводы») совершенно неожиданно автор обращается к «реальным людям», проживающим ту жизнь, «которая существует в действительности, а не в риторике выступлений официальных лиц по формальным поводам» (с. 853). Это обращение и идущие следом десять рекомендательных пунктов сбивают с толку. Едва ли Коллинз, тут же упрекающий политиков в наивном упрощении социальных проблем вроде насилия до риторических лозунгов (с. 854), сам наивно полагает, что практические рекомендации этой книги дойдут до условных «обывателей» (в обоих смыслах: окажутся у них на глазах и окажутся ими поняты). Так или иначе, читаются они весьма странно:

Сталкиваясь с полицейскими, помните о том, что они способны впадать в наступательную панику. Ваша задача — снизить конфронтационную напряженность правоохранителей. Если вы видите в этом утрату собственного достоинства, не забывайте, что, успокаивая людей, вы берете на себя эмоциональную ответственность за ситуацию. Проявляйте к этому моменту особое внимание, если полицейских на месте происшествия становится все больше (с. 855).

Даже если дело в непреодолимом разрыве пространственно-временного континуума — из 2025 года в России уже невозможно представить, как читались эти строки в первое десятилетие после 9/11 в США, — когда читаешь подобное резюме непостижимого объема проделанной работы, открытым остается вопрос целесообразности микросоциологического анализа и выбора концептуальных средств. В другом пункте происходит то самое бесшовное прилаживание макросоциологической повестки к антропологическим наблюдениям, когда в одном предложении в узы причинно-следственных отношений попадают «тонкости восприя-

тия уличного кодекса» отдельными горожанами и «межрасовая напряженность», дескать, повышение первой должно (*sic!*) влиять на снижение второй:

Учитесь у «черного» уличного кодекса неблагополучных районов. Попытайтесь отличать вызывающее поведение, направленное на защиту и произведение эффекта, от тех вызовов, когда кто-то всерьез нарывается на драку, — как утверждает Элайджа Андерсон, демонстрация владения уличным кодексом по большей части относится к первому случаю. Подобная тонкость восприятия уличного кодекса белыми горожанами и другими группами должна оказать важное воздействие на снижение межрасовой напряженности (с. 856).

Проще говоря, теорию насилия Коллинза, описанную в книге, недостаточно назвать микросоциологической. Он и сам не пытается ограничивать себя в методологическом плане, когда формулирует свое методологическое правило «следующим образом: пусть процесс исследования сам определит свои границы» (с. 79). И судя по массиву текста, который явно превосходит границы даже целой книги, продолжаясь в последующих публикациях, Коллинз этого правила искренне придерживается. Правда, изначально позволив процессу исследования самоопределиться, в заключении он не считает нужным апостериори прояснить ограничения этого процесса, лишь констатируя, что множество разновидностей изучаемого феномена, «включая изнасилования (которые, в свою очередь, имеют собственные подтипы), пытки, геноцид, серийные убийства и расстрелы в школах, вообще остались за пределами рассмотрения в этой работе» (с. 853). К слову, эти темы не получают полноценного рассмотрения и в последующих работах (Collins 2020, 2022).

249

Итак, пафос теории Коллинза состоит в идее, что насилие идет вразрез с природой взаимодействия и поэтому дается индивидам трудно, а не легко. Тезис этот, однако, не обходится без исключений и уточнений. Коллинз вынужден признать существование так называемой «элиты насилия» — понятие, опять же, привнесенное в качестве готовой категории, нежели выращенное из эмпирических наблюдений. Коллинз признает, но еще не проблематизирует этот аспект в рамках этой книги, однако возвращается к нему в двух последующих: «Харизма» (2020) и «Взрывной конфликт» (2022). Далее, говоря о ситуациях, в которых условные «обычные люди» преодолевают затруднения в реализации насилия, Коллинз старательно демонстрирует, что в большинстве своем насилие протекает чрезвычайно стремительно и без значительных последствий, потому что, как правило, осуществляется неумело или остается в рамках социального порядка, принимая разнообразные формы вроде бахвальства, демонстрационного жеста и проч. Как соотносится это

с историческими свидетельствами и корпусом научной литературы о пытках, геноциде и проч., Коллинз не утруждается прояснить.

Безусловно, эта книга богата любопытными фактами и ценными наблюдениями, что делает ее востребованной в широком кругу читателей, однако в стремлении постичь эту работу как цельную микросоциологическую теорию насилия стоит не поддаваться уверенному стилю Коллинза и оставить за собой право на интерпретацию и объяснение происходящего у нас на глазах.

Список источников / References

Коллинз Р. (2002) *Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения*/Пер. с англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вергейм. Новосибирск: Сибирский хронограф. 2002. — 1280 с.

— Collins R. (2002) *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change* / N. S. Rozov & Yu. B. Vertgeym, trans. from English. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf. — 1280 p. (in Russ.)

Коллинз Р. (2025) *Насилие: микросоциологическая теория*/Пер. Н. Проценко. М.: Новое литературное обозрение. 978-5-4448-2594-5

— Collins R. (2025) *Violence. A Micro-sociological Theory*/N. Protsenko, trans. Moscow: New Literary Review. — in Russ.

Малахов В. (2025) Все, что вы хотели узнать о насилии, но боялись спросить. Рецензия на книгу: Коллинз Р. (2025) Насилие. Микросоциологическая теория/Пер. с англ. Н. Проценко. М.: Новое литературное обозрение. *Социологическое обозрение*, 24(2), с. 274–281. doi: 10.17323/1728-192x-2025-2-274-281

— Malakhov V. (2025) Everything you wanted to know about violence, but were afraid to ask. Book Review: Collins R. (2025) Violence. A Microsociological Theory/Trans. from English by N. Protsenko. Moscow: New Literary Observer. *The Russian Sociological Review*, 24(2), pp. 274–281. doi: 10.17323/1728-192x-2025-2-274-281. — in Russ.

Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*. Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0rs3.6>

Collins R. (2020) *Charisma: Micro-sociology of Power and Influence*. Routledge.

Collins R. (2022) *Explosive Conflict: Time-Dynamics of Violence*. Taylor & Francis Group.

Об авторе / About the author

Чудина (Врублевская) Полина Викторовна — магистр социологии РАНХиГС, МВШСЭН и Манчестерского университета, докторант Академии Або, независимый исследователь. Научные интересы: социология сообщества, community studies, теория сакрального, индивидуализм.

<https://orcid.org/0000-0001-7005-9591>. E-mail: pvrublevskaya@gmail.com

Polina V. Chudina (Vrublevskaya) — Master of Arts in Sociology (RANEPA and Manchester University), PhD candidate at Abo Akademi, an independent researcher. Research interests: sociology of community, community studies, theory of sacred, and individualism.

<https://orcid.org/0000-0001-7005-9591>. E-mail: pvrublevskaya@gmail.com

О дегуманизации

(и нелюбви к трампизму)

Рецензия на книгу: Смит Д. Л. (2025)
О бесчеловечности. Дегуманизация
и как ей противостоять. Ереван:
Fortis Press

Никита А. Кутявин

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Российская Федерация
<https://orcid.org/0000-0002-4244-2283>

252

Рекомендация для цитирования:
Кутявин Н.А. (2025) О дегуманизации
(и нелюбви к трампизму). Рецензия
на книгу: Смит Д. Л. (2025)
О бесчеловечности. Дегуманизация
и как ей противостоять. Ереван:
Fortis Press. Социология власти, 37 (3):
252-260
EDN: VYPWGI

For citation:
Kutyavin N.A. (2025) On
Dehumanization (and Hatred of
Trumpism). Book Review:
Smith D. L. (2025) On Inhumanity:
Dehumanization and How to Resist
It. Yerevan: Fortis Press. Sociology of
Power, 37 (3): 252-260

Поступила в редакцию: 29.09.2025;
принята в печать: 02.10.2025
Received: 29.09.2025; Accepted:
02.10.2025



© Author, 2025

This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Дэвид Ливингстон Смит (р. 1953) — известный американский философ, специалист по философии психологии, преподаватель Университета Новой Англии. В интервью он говорил о себе как «диком философе» (*feral philosopher*) — человеке, который до начала работы над диссертацией не имел к философии никакого отношения и не получал систематического философского образования. Сначала Смит стал магистром психоанализа в Университете Антиох. Диссертацию на степень по философии, посвященную теории Фрейда, он защитил в Королевском колледже Лондона (Leboeuf, Smith 2024). Ранние работы Смита были посвящены преимущественно философскому переосмыслению психоаналитической мысли. Это оказало свое влияние и на более поздние работы автора — например, на книгу «О бесчеловечности. Дегуманизация и как ей противостоять», которая недавно была переведена на русский язык силами ереванского издательства Fortis Press и которой посвящен этот обзор.

Дегуманизация — ключевая тема, над которой работает Смит. Он посвятил ей

уже три книги, но рецензируемая монография занимает здесь особое место — это краткое изложение взглядов автора на проблему, своего рода «выжимка», уложившаяся в русскоязычном издании в скромные 202 страницы текста, которые написаны, как признается автор, «для максимально широкой аудитории». Текст разбит на 26 небольших глав, включая введение и заключительную главу, которая носит недвусмысленное название «Сопротивление». Это уже само по себе служит неплохой иллюстрацией подхода Смита к написанию книги — академическое письмо здесь сочетается с активистским задором политически ангажированного и, заметим, абсолютно этого не стесняющегося левого социального критика. Как он утверждает в уже процитированном выше интервью: «Это прозвучит по-донкихотски, но я хочу изменить мир, и для меня занятия философией — лучший способ оказать на него влияние» (Leboeuf, Smith 2024). Трудно обсуждать творчество Д. Л. Смита вне политического контекста США, связанного с жесточайшей поляризацией общества по линии демократов и республиканцев, а также сторонников и противников президента Дональда Трампа. И хотя политическая позиция автора книги вполне очевидна (он левый, он сторонник Демократической партии, он ненавидит трампистов), тем интереснее следить за ходом его мысли и анализировать, насколько он последователен в стремлении изгнать дегуманизацию из социума.

253

Первая глава книги (она же Введение) носит во многом автобиографический характер. Д. Л. Смит подробно раскрывает, почему тема дегуманизации так сильно задевает его. Первый фактор — это детство на Юге США «на закате эпохи законов Джима Кроу» (с. 9). Смит наблюдал нищету, в которой существовали представители расовых меньшинств. Действовал запрет на посещение пляжа для всех, кроме белых. Черные заключенные трудились на общественных работах. Белые дети выходили с пневматическими ружьями на охоту на черных, а потом хвастались этим.

Второй фактор — происхождение. Его мать была дочерью еврейских беженцев (отец из Белоруссии, мать — из Румынии). Они оба сталкивались в Старом Свете с проявлениями антисемитизма. После переезда дед автора работал «на заводе по розливу кока-колы», а бабушка в 14 лет «трудилась в потогонном цехе на Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка» (с. 10). Отсюда, вероятно, и вырастает левая политическая ориентация самого Д. Л. Смита. При этом его отец был проповедником из типичной семьи «дикси» (американцев-южан), а прадед по отцовской линии и вовсе воевал в армии Конфедерации. Женитьба отца на еврейке была, судя по всему, принята не очень хорошо — Смит находил семейные фотографии, из которых родственники по отцовской линии вырезали лицо его матери (с. 11). Впрочем,

отец уже успел порвать с тлетворным наследием прошлого — в своих проповедях он, например, открыто критиковал Ку-клукс-клан и сталкивался из-за этого с угрозами.

Уже во введении Смит ставит вопрос, который, пожалуй, является самым сложным при изучении проблемы дегуманизации — как не впасть в ту же крайность, анализируя дегуманизирующие нарративы? Как избежать дегуманизации дегуманизаторов? Позиция автора поначалу видится достаточно трезвой и взвешенной:

Описание других людей как монстров препятствует серьезному решению проблемы. Неважно, насколько отвратительны или разрушительны их убеждения и поступки. Монстры — это вымысел, а дегуманизаторы реальны, и в большинстве своем это обычные люди, такие же, как вы и я (с. 13).

Смит выделяет два фронта противостояния дегуманизации, которые считает в равной степени важными, — психологический и социально-политический. Если первый связан с человеческой склонностью дегуманизировать тех, кто тебе не нравится, то второй — с инструментализацией этой особенности человеческой психики со стороны политической элиты, конструирующей идеологические нарративы, направленные на поддержание господства той или иной группы:

Те, кто пытается объяснить дегуманизацию, расизм и другие связанные явления психологически как естественную враждебность к «чужим группам», упускают из виду тот факт, что «свои» и «чужие» группы являются политическими конструктами, а не неизменными фактами природы. Невозможно осмысливать понятия «мы» и «они» — и тем более «человек» и «недочеловек» — если не включить пропаганду и идеологию как часть этого уравнения (с. 14).

Таким образом, рецензируемая работа написана целиком в русле социального конструктивизма, который и составляет ее теоретический фундамент. Также в книге присутствуют многочисленные ссылки к психологической, философской и социально-антропологической литературе, из которой Смит по необходимости заимствует те или иные концепции. Это и концепция идеологии как ложного сознания К. Маркса, религии как иллюзии З. Фрейда, «чистоты» и «загрязнения» М. Дуглас и многое другое.

Эмпирический материал, используемый в исследовании, достаточно обширен, хотя и анализируется по большей части не по первоисточникам — что для книги, не претендующей на статус исторической монографии, совершенно нормально. Здесь мы найдем свидетельства о геноциде в Руанде, антисемитские мифы от Средних веков до Третьего рейха, историю Холокоста, антияпонскую

пропаганду времен Второй мировой войны и одновременно воспоминания японских солдат о насилии над мирными жителями Китая, сведения о преследованиях мусульман-рохинджа в Мьянме со стороны буддистского большинства и, разумеется, жесткую критику миграционной политики администрации Дональда Трампа.

Дегуманизация, по Смиту, — восприятие другого человека как недочеловеческого существа (с. 25). Тем самым он стремится зарезервировать для этого термина особое место, не охватываемое такими терминами, как «расизм» или «объективизация». Впрочем, дальнейшее чтение показывает, что между дегуманизацией и расизмом есть связь. Расизм в его понимании — это «убеждение в существовании рас и в том, что некоторые расы по своей сути превосходят другие» (с. 47). Далее можно найти следующий сравнительный анализ терминов:

Расизм — это убеждение, что некоторые расы состоят из людей низшего сорта, а дегуманизация — это убеждение, что представители некоторых рас — существа ниже человеческого уровня. Понимание этого различия крайне важно, поскольку оно проясняет, почему группы почти всегда сначала расиализируются, а затем дегуманизируются, и почему расистские взгляды так легко трансформируются в дегуманизирующие. Дегуманизация — это расизм на стероидах (с. 54).

255

Вполне в русле американской конструктивистской традиции Смит считает, что биологических рас вообще не существует. В последней главе книги он отдельно говорит о противостоянии «расовой концепции» как о форме борьбы с дегуманизацией. Здесь, пожалуй, российский читатель может увидеть некоторую крайность — Смит без обиняков пишет, что «концепции расы имеют расизм, встроенный в самую их суть, поэтому помните: нравится вам это или нет — если вы придерживаетесь концепции расы, расизм неизбежно будет ее сопровождать» (с. 180). Представления о расе существуют, считает Смит, только для того, чтобы поддерживать власть одной группы над другой. Американский плантатор-южанин из времен, предшествовавших Гражданской войне, был расистом, даже если хорошо обращался со своими черными рабами и не испытывал к ним ненависти. Главное, что он считал, будто внутреннее свойство всех представителей их расы — в меньшей степени соответствовать статусу «человека», чем белые люди. И наоборот: если белый человек проявляет ненависть и агрессию по отношению к черным, но не считает, что они от природы хуже него, — он, как ни странно, не расист. Вообще, чувства и действия индивидов в этой коллективистской парадигме имеют мало значения. Гораздо важнее общая система угнетения и место человека в ней, а также то, поддерживает ли он идеологические нарративы, лежащие в ее основе.

Нетрудно заметить, что последовательное использование такой логики может привести к неожиданным результатам, особенно если мы перенесемся за пределы США. Например, с этой точки зрения авторы, занимающиеся физической антропологией и использующие термин «раса», автоматически становятся проповедниками расизма. В российской антропологии принято разделять «расоведение» (научное изучение популяционного разнообразия человечества) и «расологию» (псевдонауку, обосновывающую неравенство человеческих рас). Сравним определение «расизма» Смита с определением антрополога С. В. Дробышевского: «Расизм — представление о врожденной неравнотоценностии рас, неполнотоценностии одних и превосходстве других» (Дробышевский 2017, с. 17). В той же книге Дробышевский пишет, что «все признаки расы — только и исключительно биологические» (Там же, с. 4). То есть для российских антропологов абсолютно нормально утверждать, что расы существуют. Но, по словам Смита, расизм встроен в саму концепцию расы. Кажется, отечественная академическая среда плохо вписывается в это прокрустово ложе, ведь, во-первых, деление на расы, предлагаемое российскими антропологами, почти никак не связано с актуальной политической действительностью. Гораздо более конфликтогенным в России оказывается конструирование этнических и конфессиональных границ. Конечно, при этом этничность часто подвергается расиализации — но делается это, как правило, не благодаря, а вопреки трудам физических антропологов.

Смит выделяет два типа дегуманизации — демонизирующую и ослабляющую. Ослабление делает образ врага жалким и примитивным. Демонизация, в свою очередь, связана с ореолом физической и метафизической опасности, исходящим от дегуманизируемой группы. Физическая угроза — это, например, представления об особой склонности представителей той или иной этнической или расовой группы к криминальной деятельности. В этом случае Смит приводит в качестве примера стереотипы об афроамериканцах, евреях и цыганах. Метафизическая опасность связана с наделением группы монструозными чертами, которые создают у зрителя и читателя ощущение противоестественной сущности той или иной группы. Например, евреям приписывался сверхчеловеческий интеллект, а афроамериканцам — сверхчеловеческие физические способности. Это же находит отражение в пропагандистских карикатурах, описывающих власть евреев над миром как осьминога со звездой Давида, опутывающего все вокруг своими щупальцами (с. 160).

Книга завершается библиографическим разделом. Он разбит в соответствии с темами глав книги. В целом библиография не очень обширна, но зато снабжена подробными комментариями. Многие книги и авторы, упоминаемые Смитом, неизвестны или малоиз-

вестны в российской интеллектуальной среде, поэтому краткая характеристика, сопровождающая названия книг и имена авторов, может оказаться полезной.

Очевидно, что предложенную автором схему дегуманизации можно применять к разным обществам, в том числе и незападным. Однако ключевым объектом критики для Смита в течение всей книги будут, конечно же, сторонники Дональда Трампа и адепты идей «белого превосходства». Остается вопрос, насколько это справедливый подход? Ведь даже если эти сообщества и пересекаются, далеко не все условные «трамписты» подписались бы под идеями Ку-клукс-клана или криминального «Арийского братства» — как минимум потому, что очень многие из них сами являются представителями расовых и этнических меньшинств (Daniels 2025).

В то же время, хотя Д. Л. Смит предостерегает своих соратников от мышления, дегуманизирующего политических противников, он за всю книгу ни разу не приводит ни одного поучительного примера такого рода. Это тем более странно, что некоторые подобные примеры словно сами просятся на страницы монографии. Когда Смит справедливо критикует концепцию «суперхищников» политолога Джона Дилулио, которую последний применял в отношении юношей-преступников, собирающихся «в “волчьи стаи”, чтобы выслеживать, насиливать и убивать невинных жертв», он, разумеется, в первую очередь беспокоится о том, что этот термин был инструментализирован Дональдом Трампом. Но он также мог бы припомнить, что его активно использовала Хиллари Клинтон¹. Такой информации, однако, вы в книге не найдете.

257

Проанализируем, насколько хорош рецепт победы над дегуманизацией, предлагаемый Д. Л. Смитом в последней главе. Автор призывает противостоять проявлениям дегуманизации как в собственном сознании, так и в обществе, и критиковать тех, кто использует потенциально опасную риторику. Таких активистов он прямо называет «силой добра» (с. 117). Также Смит призывает изучать историю дегуманизации и других форм системного угнетения, поддерживать свободную прессу и свободу слова, искать единомышленников. Последнее, о чем он говорит в главе, посвященной сопротивлению, — это необходимость быть внимательным к «знакам», показывающим, что та или иная группа оказалась в зоне риска дегуманизации. При описании этой группы начинают использоваться образы паразитизма, хищничества, заразности, ее обвиняют в склонности к криминальному поведению, намекают на ее иноземное происхождение и при-

¹ 1996: Hillary Clinton on “superpredators” (C-SPAN). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jouCrA7ePno>

зывают покинуть территорию страны. Откуда берутся эти образы и обвинения? Ответ Смита довольно предсказуем: «Обычно именно доминирующая группа в обществе дегуманизирует уязвимое меньшинство, подвергшееся расиализации, и при этом изображает себя жертвой этого меньшинства» (с. 180–181).

Здесь стоит обратить внимание на некоторые вещи, которые прямо следуют из текста книги, хотя автором и не проговариваются. Если активисты, борющиеся с дегуманизацией, — это «силы добра», то «доминирующая группа» вполне очевидно — «силы зла». И это обесценивает все призывы Смита к тому, чтобы «не дегуманизировать дегуманизаторов». Пускай формально он оставляет своим противникам право на человеческое достоинство — их образ в книге от этого не становится более приятным. А ведь речь идет о людях, которые, как признает сам Смит, могут даже не отдавать себе отчет в своем привилегированном положении и действовать под влиянием ложного сознания. То есть «доминирующая группа» — это практически зомби, которые рефлекторно защищают свою власть и богатство через навязывание обществу дегуманизирующих нарративов, если только не очнутся от идеологического сна и не перейдут на сторону «сил добра». В этом якобы и заключается корень всех зол. Стоит ли удивляться, что в недавней статье, посвященной убийству американского консервативного политика Чарльза Кирка, Смит не нашел слов осуждения для того, кто совершил это насилиственное деяние, но зато пространно рассуждал, с кем лучше сравнить убитого — со штурмовиком SA Хорстом Весселем или с дипломатом нацистской Германии Эрнстом Эдуардом фон Ратом (Smith 2025).

Смит пишет, что «люди от природы склонны видеть в других людях людей» и что нужно «остерегаться тех, кто утверждает, что мы от рождения склонны к дегуманизации — что стремление дегуманизировать других заложено в наших генах» (с. 178), — но так ли это, если он сам на с. 109 приводит слова антрополога К. Леви-Стросса, что для представителей архаических племен «человечество ограничено границами племени, языковой группы или, в некоторых случаях, даже деревни»? Не обязательно при этом утверждать, что у человека есть «природная» склонность к насилию. В науке есть и более изящные объяснения, например миметическая теория Р. Жирара, который утверждал, что человеческая способность к подражанию помогает людям учиться, совершенствоваться и передавать культуру из поколения в поколение, но при этом она же создает потенциал для конфликтов, поскольку подражание может приводить к соперничеству. Чтобы избежать раскола сообщества в результате многочисленных миметических конфликтов, люди научились канализировать насилие через ритуалы жертвоприношения. В случае межгрупповых отношений жертвенным «козлом отпущения», спла-

чивающим сообщество, оказывается образ внешнего врага (Жирар 2016, с. 30–31). Таким образом, даже не обращаясь к биологическому редукционизму, мы можем признать, что насилие — не просто наязванная политиками парадигма поведения. Сторонники угнетенных меньшинств могут формировать образы врага не менее успешно, чем представители «доминирующей группы».

Во взглядах Смита есть некоторое внутреннее противоречие, связанное с описанием человеческой природы. С одной стороны, человек — существо, легко поддающееся соблазну дегуманизации, и здесь мы видим нечто вроде секулярной версии иудеохристианской идеи первородного греха. Но когда Смит заявляет, что дегуманизация никак не связана с нашим естеством, у него в голове явно берет верх руссоист, верящий в изначально добрую природу человека. Вся его книга наполнена примерами того, как много существует психологических трюков и когнитивных искажений, делающих нас уязвимыми для пропаганды дегуманизации. Может быть, дело и не в генах, но загадка человеческой деструктивности от этого проще не становится. В последней главе Смит, однако, делает вид, что такой проблемы просто не существует, а есть лишь ложное сознание элит, порожденное неравным распределением ресурсов между сообществами. Поэтому, чтобы решить проблему насилия, нужно всего-навсего добиться всеобщего равенства. Будем надеяться, что у автора найдется ответ на вопрос, как сделать это, попутно никого не дегуманизируя.

259

Финансирование / Funding

Исследование выполнено в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ FEWS-2024-0005 «Исследование и разработка методологических и теоретических подходов по формированию патриотизма и профилактике конфликтного и деструктивного поведения молодежи и в условиях современного кризиса в России».

The study was made within the framework of the state task of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation FEWS-2024-0005 “Research and development of methodological and theoretical approaches to the formation of patriotism and prevention of conflict and destructive behavior of young people in the context of the current crisis in Russia”.

Список источников / References

Дробышевский С. В. (2017) Расоведение. М.: Модерн.

— Drobyshevsky S. V. (2017) Racial Studies. Moscow: Modernity. — in Russ.

Жирар Р. (2016) Вещи, сокрытые от создания мира. М.: Издательство ББИ.

— Girard R. (2016) Things Hidden Since the Foundation of the World. Moscow: BTI Publishing House. — in Russ.

Daniels C. M. (2025) Donald Trump made big gains with Black voters in 2024. Can Republicans hold them in the midterms? URL: <https://www.politico.com/news/2025/09/21/trump-black-voters-2026-election-00568650>

Leboeuf C., Smith D. L. (2024) Why Philosophy? David Livingstone Smith. From Psychoanalysis to Philosophy. URL: <https://celineleboeuf.substack.com/p/why-philosophy-david-livingstone>

Smith D. L. (2025) The Assassination of Charlie Kirk. A warning from history. URL: <https://davidlivingstonesmith.substack.com/p/the-assassination-of-charlie-kirk>

Об авторе / About the author

Кутягин Никита Александрович — антрополог, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института социальных коммуникаций Удмуртского государственного университета (ИСК УдГУ), Ижевск, Российская Федерация.

<https://orcid.org/0000-0002-4244-2283>. E-mail: nikitakutyavin@yandex.ru

Немецкие дары и русские харизмы

Рецензия на книгу: Ячменик В. (2025) «Духовные вожди»: Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века. М.: Новое литературное обозрение.

Рекомендация для цитирования:
Благодаров К. С. (2025) Немецкие дары и русские харизмы. Рецензия на книгу: Ячменик В. (2025) «Духовные вожди»: Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века. М.: Новое литературное обозрение. *Социология власти*, 37 (3): 261-271
EDN: ZNXHBR

For citation:
Blagodarov K. S. (2025) German Graces and Russian Charismata. Book Review: Yachmenik V. (2025) "Spiritual Leaders." The Concept of Charisma and Figures of Religious Leadership in Early 20th-Century Russia. M.: Novoye Literaturnoye Obozreniye. *Sociology of Power*, 37 (3): 261-271

Поступила в редакцию: 30.08.2025;
принята в печать: 20.09.2025
Received: 30.08.2025; Accepted:
20.09.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

КИРИЛЛ С. БЛАГОДАРОВ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Москва, Российская Федерация

<https://orcid.org/0009-0001-0626-9495>

261

Выход книги В. Ячменика в серии *Studia Religiosa* — значимое событие для российского читателя. Работы исследователя и его коллег из ПСТГУ, посвященные проблематике харизмы и религиозного лидерства, выходят за пределы узкого религиоведческого поля и уже несколько лет привлекают внимание со стороны более широких сообществ социологов, социальных философов и историков интеллектуальной культуры¹. Изданье монографии, подготовленной на основе диссертации В. Ячменика (Ячменик 2023), знакомит с этим направлением исследований еще более широкую аудиторию.

Книга рассказывает о том, какую роль понятие харизмы сыграло в русской церкви конца XIX — начала XX века, причем монография призвана дать «необходимую начальную “точку опоры” в современных дискуссиях о власти в церкви» (с. 17), то есть

¹ См., напр.: Ячменик 2022; Борщ 2021; Крихтова 2022. Все эти статьи опубликованы в журналах нерелигиоведческой проблематики.

ее цель не является узкоисторической. Это сложная, комплексная тема, в рамках которой необходимо осветить и историю восприятия этого слова, связанного с протестантской мыслью (в православном богословии вместо «харизмы» чаще говорят, например, о «дарах Святого Духа» или «благодати» — выбор будет мотивирован тем, с каким понятием, передаваемым греческим словом *χάρισμα*, ведется работа), и те исторические перипетии, на фоне которых шла напряженная работа русских исследователей. Чтобы лучше понять, в чем сложность интеллектуального предприятия автора и почему оно в целом оказалось удачным, стоит кратко и в несколько огрубленном виде изложить историческую схему, предложенную в книге. После этого мы озвучим некоторые критические замечания.

Слово «харизма» привлекло пристальное внимание протестантских авторов XIX века, преимущественно в Германии. Поскольку в библейских текстах это слово имеет разные значения, его операционализация в качестве богословского понятия приводила к различным результатам. Наиболее значимым для протестантского контекста оказывается представление о личной «харизме» — дарах Святого Духа, которые получает каждый верующий, чтобы служить «совокупному христианству», экклесии (с. 41). Список этих дарований весьма разнообразен и восходит к посланиям апостола Павла. Некоторые из «харизм» (например, дар учительства как речь, почерпнутая из внутреннего божественного откровения) увязывались с властью харизматиков, а организация ранней церкви признавалась рядом протестантских авторов «харизматической», а не «правовой» (в терминологии Р. Зома). В таком виде оппозиция права и харизмы приводила к выводу, что между ранним, апостольским периодом и эпохой, когда епископы «заместили» первых харизматиков, существует разрыв. Обстоятельства, характер и масштаб этого разрыва могли описываться по-разному, но, за редкими исключениями, протестантские богословы эту линию рассуждения принимали. Разумеется, католическая теология отвергала подобные построения, защищая представление о тесной связи харизмы и должности, что ставило под вопрос противопоставление «харизматической» и «правовой», иерархической организации. В истории же светской мысли эта группа текстов осталась благодаря тому, что внимательным читателем авторов-протестантов был Макс Вебер, определивший «харизму» как одно из идеально-тиpических оснований господства¹.

1 См., в частности: Вебер 2019, с. 409–414, где он ссылается на «блестящее» описание Зома. Вебер, впрочем, указывает, что сам Зом не осознал, что писал о «типе» господства. Это замечание, кажется, нельзя игнорировать, если мы выстраиваем генеалогию понятия.

В России протестантские работы внимательно изучались и при необходимости пересказывались. Построения Зома привлекли внимание русских историков церкви. Слово «харизма», в 1880-е годы казавшееся подозрительным, за 30–40 лет своего бытования стало удивлять. Даже православные богословы, полемизировавшие с протестантскими авторами, были вынуждены использовать их терминологию. Вместо «харизмы» можно было писать о «дарованиях», можно снимать якобы значимое для истории церкви противопоставление «харизматической» и «правовой» организации, но проникновение этого слова и связанного с ним пучка понятий уже произошло.

В. Ячменник подчеркивает, что использование этой категории в России связано со спецификой церковной, философской и социально-политической жизни империи. В начале XX века звучали призывы к церковной реформе, восстановлению принципа соборности, расширению прав клира и мирян. На контуры полемики влияли опыт чтения славянофилов и знакомство с философией В. С. Соловьева. Напряженное желание вернуть церковь к общественной жизни могло сочетаться со стремлением вывести ее из-под опеки государства. Такие настроения заметны и в печальных сравнениях пастыря с лишенным харизмы «полицейским агентом» после реформ Петра Великого (с. 146), и во внимании к фигуре «учительствующего пророка» у В. С. Соловьева (таким «пророком» мог быть и человек без духовного сана, например художник, что заостряло вопрос об участии в церковной жизни верующей интеллигенции), и в напряженных дискуссиях о роли монашества, которые велись в стенах Московской духовной академии. Должны ли монахи приносить пользу обществу? Или же им следует уйти в то, что критики едко называли «святым эгоизмом», в обожение за закрытыми дверьми — которое, как замечает В. Ячменник, можно, не изменяя духу дискуссии, назвать «харизматическим эгоизмом» (с. 241)? Во всех этих случаях слово «харизма», употребляемое с оглядкой на тексты протестантских авторов, существовало в новом, причудливом контексте. Переплетение же интересов разных групп, выступавших тогда в русской церковной жизни, в книге показано мастерски. Увлекательно видеть, как пропагандисты церковной реформы, оживившиеся после 1905 года, находили неожиданных, хотя и временных союзников в преподавателях Московской духовной академии, занимавшихся, в общем, частными вопросами и не всегда разделявших активистский энтузиазм.

Кульминация рассказанной в книге истории — Всероссийский поместный собор 1917–1918 годов, на котором было восстановлено патриаршество и жребием выбран патриарх Тихон. В соборных обсуждениях слово «харизма» уже никого не смущало. Постепенно в полемике фигур, наследовавших дореволюционному периоду, вырисовывался

образ патриарха как харизматической фигуры — личности, которая должна была быть заступником, печальником и ходатаем. Это человек, который, как говорил один из участников собора, «призывал бы к исправлению и подвигу и сам первый шел бы впереди» (с. 223). Это фигура харизматика, наделенного особыми дарованиями, и должность его чрезвычайна. С точки же зрения «права» патриарх остался бы «первым среди равных», что успокаивало епископов, которые не хотели «монархии», антитетичной соборному началу.

После установления советской власти понятие «харизма» не ушло из православного дискурса. Например, критики курса на сотрудничество с новым режимом, проводимого митрополитом Сергием (Страгородским), могли обосновывать неприятие церковного лоялизма ссылкой на епископскую харизму, исключающую государственное участие в организации церковной жизни, или на личное духовное чувство верующего, на основе которого возможно непослушание духовным лицам, «изменившим Православию» (с. 230).

Такова в общих чертах канва этой аккуратной и ценной книги. Схема, воспроизведенная в ней, вполне ясна, доступна, хорошо обоснованна на каждом этапе и достаточно аргументированна, чтобы не было желания с ней спорить. Вместе с тем подобное изложение, как кажется, не является «естественным», представляя собой результат долгой и сознательной теоретико-исторической работы автора. Здесь и необходимо озвучить несколько методологических соображений, которые нужны для оценки книги.

Едва ли имеет смысл погружаться в тонкости философии языка, но для истории идей, пожалуй, важно, что понятие «не является чем-то неразрывно связанным с определенным словом» и представляет собой мысленное образование (Войшвилло 1979, с. 89). Эта формулировка, предложенная советским логиком, не похожа на изысканные построения в духе Кембриджской школы или традиции Р. Козеллека, но ее афористический характер позволяет нащупать твердую почву для характеристики работы, когда нужно сделать это кратко.

Как уже было сказано, в библейском корпусе слово «харизма» (а если быть точным, то слово *χάρις* и производное от него *χάρισμα*) используется в разных значениях. Читателя, желающего осознать масштаб проблемы, можно отослать к словарю под редакцией Битхама (Beetham 2021), основанному на фундаментальном пятитомнике Мойзеса Силвы (Silva 2014). В нем — как кажется, совершенно справедливо — говорится о «существительном» *χάρισμα*, а не о конкретном понятии, неразрывно связанном с этим словом¹. В посланиях Павла

¹ Разумеется, это не единственный способ смотреть на вещи, но, как кажется, он разумно ограждает от того, что в этой традиции называют *word*-

оно может означать как «индивидуальный дар» (например, в 1Кор 12:8–10 названы дары мудрости, знания, исцеления, чудотворения, пророчества, языков и истолкования языков), так и «благодать» в более общем смысле. Далее, даром Божиим может называться рукоположение во епископы (2Тим 1:6). Даже при работе с греческим текстом это вызывает вопросы, а когда мы переходим к исследованию текстов, написанных на других языках, ситуация дополнительно усложняется. Так, по-русски слово *χάρισμα* может быть передано как «дар», «дарование» или «благодать», и, хотя за этими вариантами, несомненно, «стоит общее семантическое поле» (с. 79), эта общность является достаточно неопределенной, чтобы затруднить историко-понятийную работу. Эта трудность, как замечает В. Ячменик, прекрасно осознавалась авторами начала XX века: так, в «Православной богословской энциклопедии» разделялась «благодать» общего характера и конкретные «дарования благодати», обычно обозначаемые словом *χαρίσματα* (2025, с. 80).

С учетом сказанного вызывает сомнения методологический раздел книги. Принципиально неполным кажется утверждение: «Выборка основных источников обусловлена тем, употребляли ли тот или иной автор понятие “характер” в своих текстах или нет» (с. 17). Понятно, как такая выборка могла быть построена на основании употребления слова «характер». Если же речь идет о понятии — то неясно, о каком именно. О «благодати» вообще? О «дарованиях Духа»? Если да, то о «личных» или связанных с рукоположением? Если же мы считаем, что есть «общее» понятие, объединяющее все прочие или какую-то их часть, то его тоже необходимо ясно и открыто идентифицировать. 22 автора, немецких и русских, которые заявлены как «основные источники данного исследования», не всегда понимали «характер» одинаково, а некоторые необходимые для изложения фигуры вроде митрополита Антония (Храповицкого) вовсе не использовали это слово, хотя без обращения к их трудам нельзя полноценно описать дискуссию тех лет. Дополнительно осложняют картину авторы, которые упоминаются мимоходом. Например, католик Иоганн Энгельманн, «осуществивший очевидный прорыв

study fallacies, которые заставляют из сходства слов (или даже из тождества лексической единицы, например, слова *χάρις*) переходить к «автоматическому» соотнесению стоящих за ними понятий, тогда как в реальности одно и то же слово могло быть связанным с разными понятиями в разных контекстах. Мойзес Силва, известный книгой о библейском языке (Silva 1995), здесь следует традиции Джеймса Барра (Barr 1962). Разумеется, акцент на том, что за одним греческим словом может стоять несколько разных понятий, — не нововведение американских библеистов, так как такая методическая проблема встает перед каждым, кто занимается экзегезой.

в своей работе о харизмах» (с. 30), предложил классификацию, которая делает ряд протестантских изысканий избыточными.

В книге есть много мест, которые заставляют сомневаться, что речь идет об одной и той же «харизме». Показательный пример можно найти в разделе, посвященном взглядам П. В. Гидулянова, чья брошюра «Сущность и юридическая природа церковного властовования» вышла в 1916 году, когда уже существовала богатая литература по вопросу о харизме, на которую можно было ориентироваться. Он пишет:

...так как харизма всегда связана с личным качеством харизматика, то все действия последнего нуждались в признании со стороны экклесии, которая тем самым указывала, что данное лицо — истинный харизматик и как таковой, действительно, является орудием Бога. <...> Свободному экстазу, всегда связанному с вопросом о личных качествах и достоинствах носителя Духа, была противопоставлена должность (с. 206).

Далее уже автор книги говорит: «Харизма проявляет себя через должность, получаемую в рукоположении, которое совершают епископат» (Там же). Предполагается, соответственно, что речь идет об «одной» харизме, которая и была передана, в силу чего утверждение, что церковь лишилась харизматического начала, беспочвенно. Если мы вновь обратимся к тексту П. В. Гидулянова, то увидим, что прямо говорится о передаче собором епископов лишь некоторых харизм, например «дара пророческого» (определения воли Божьей) (Гидулянов 1916, с. 23–24). Как с этим примирить, например, описываемый одним из героев книги «харизматизм монахов» с их же «монополией чудотворений», в число которых входит и призываение дождя? (Смирнов 1906, с. 213–216). Пожалуй, можно и на эти «харизмы» распространить признание со стороны экклесии, окрасив дискуссию в веберовские тона (для социолога было неважно, происходят ли чудеса харизматика «на самом деле»), но это кажется антитетичным для материала.

В этих условиях, по всей видимости, можно выбрать одну из двух стратегий. Можно попытаться «навязать» материалу общий язык, который позволит работать с ним ясно: например, исходить из того, что есть отдельные понятия «благодати» и ее «дарований», а уже в свете этого рассматривать все, что писалось отдельными авторами (несмотря на то, какие слова они использовали), или же говорить об общей «харизме» и отдельных «харизмах», указывая, о чем конкретно идет речь, на протяжении всего изложения. Это может обеднить материал (по всей видимости, не все герои книги приняли бы деление, сформулированное так жестко), но придаст изложению ясности. Либо же можно погружаться в разные контексты, выстраи-

ваяя диалог между противоречивыми позициями, помогать авторам договариваться, не отдавая предпочтения ни одному из авторских словарей, «искать общий язык и в конце концов находить его» (Гадамер 1991, с. 91). Вторая задача, как мне кажется, ближе темпераменту автора, но, чтобы ее решить, едва ли не каждый раздел книги пришлось бы расширять как содержательно, так и методологически.

Хотя В. Ячменик ссылается на Р. Козеллека и К. Скиннера (с. 23–24), в книге трудно найти ясные случаи применения *Begriffsgeschichte* или кембриджской методологии. Мы, безусловно, видим работу с большим количеством текстов, но часто они «повисают» в воздухе. Иногда в изложении видна историческая глубина, детализация происходящего: так, тексты И. В. Попова и С. И. Смирнова привлечены автором книги в контексте интереснейшей полемики в стенах Московской духовной академии (МДА), о которой В. Ячменик пишет с привлечением архивных материалов, с указанием институционального конфликта между профессорами-мирянами и монашествующими членами церковной корпорации, с характеристикой роли «Богословского вестника» — главного журнала МДА. Мы хорошо понимаем, что и как, говоря языком Кембриджской школы, «утверждали» эти авторы (Скиннер 2018, с. 95–96). Это, безусловно, лучшие страницы книги. Но в других случаях мы получаем скорее весьма познавательные конспекты, которые сопровождены краткими комментариями и организованы по более или менее определенным тематическим разделам, иногда хронологически накладывающимся друг на друга (например, упомянутая полемика в МДА разворачивается, когда другие авторы разрабатывают понятие «пророка» на основе трудов В. С. Соловьева).

267

Необходимость общей рамки для чтения текстов, связь между которыми не всегда очевидна, разумеется, сознается автором. Одним из способов ее решения становится концепция «кризиса идентичностей» Жака Ле Ридера: на рубеже XIX–XX веков «распад персональной, национальной и гендерной идентичности вызывал необходимость формирования новых идентичностей» (с. 97). Фигура харизматика, соответственно, признается ответом на вызов эпохи. Трудность заключается в том, что Ле Ридер и его интеллектуальный предшественник Шорске писали о «венском модерне» (Ле Ридер 2009; Шорске 2001). Как следствие, применение этой рамки для разговора о России не кажется самоочевидным и нуждается в дополнительных основаниях. Вместо детальной аргументации, которая позволила бы понять, почему она актуальна, автор ссылается на книгу А. Жеребина, в которой проводится мысль о наличии «вертикальной линии» венского модерна в русской культуре (Жеребин 2011). На мой взгляд, это неудачный союзник по двум причинам. Во-первых, подход Жеребина принципиально аисторичен (или, в терминологии Вяч. Иванова, к которому и восходит

«вертикальная линия» Жеребина, «метаисторичен»): он заявлен как «аналитическая стратегия», для которой конкретно-исторические связи не имеют решающего значения, тогда как пафос книги В. Ячменника направлен на более конкретные вещи. Во-вторых, венский модерн у Жеребина имеет католический характер (Жеребин 2011, с. 11), в силу чего для филолога-германиста важным становится, например, спор между венским, католическим модернизмом и берлинским, протестантским натурализмом (*Ibid.*, с. 10–11, 23). Так как католические авторы почти не упоминаются в «Духовных вождях» (ни в качестве обособленных фигур, ни как источники влияния на православных богословов)¹, ссылка скорее затемняет дело, чем проясняет.

Иногда к путанице приводит и слишком вольное обращение автора с терминологией. Например, В. Ячменник замечает, что такие авторы, как Х. Ахелис и К. Холль, «опираясь на идеальную схему харизматической власти у Зома... пытались перенести ее на свой исторический материал» (2025, с. 58). Это предложение не вызывало бы возражений, но в этом же абзаце речь начинает идти уже о Вебере. Из-за этого соседства приходится перечитывать то, что было сказано: понятие «идеальной схемы», применяемое для характеристики Ахелиса и Холля (причем неясно, употреблялось ли оно ими самими при использовании работ Зома), слишком похоже на упоминание идеально-типовских конструкций Вебера — самой известной части его методологического проекта, представляющей собой удобные в использовании аналитические инструменты, которые не призваны «полностью» ухватить реальность и как раз в силу этого обладают эвристическим потенциалом. Несомненно, что если для протестантского автора Зома харизматическая организация связана с действием Духа, то это никакая не «идеальная схема», не конструкция, а реальность, которую и могло извратить «право». Можно было бы списать это на отдельную неудачную формулировку, но дальше в книге мы читаем, например: «Гидулянов вводит фигуру пророка как идеальный тип харизматической власти» (с. 206). Здесь использование веберовского словосочетания совершенно неуместно и отправляет читателя по ложному следу: если через пророка действительно говорит Святой Дух, в чем Гидулянов, по всей видимости, не сомневается, то это не «идеальный тип».

В. Ячменник поставил задачу определить функции понятия «харизма» в дискуссиях о власти в церкви. Эта цель, несомненно, была

1 Разумеется, с некоторыми исключениями. Например, в книге показана связь с католической традицией диссертации М. П. Фивейского, которую он пытался защитить трижды, на протяжении 15 лет, пока слово «харизма» в 1917 году не перестало вызывать резкую реакцию (с. 183).

достигнута. Интересная и глубокая книга вводит в научный оборот множество текстов и убедительно демонстрирует, как слово, бытавшее в немецком контексте, закрепилось в русском богословии и было использовано при обсуждении проблем церковного устройства в кризисную эпоху. Читатель, не занимающийся религиозными вопросами специально, найдет в книге, кроме увлекательных интеллектуальных сюжетов, скрытую историю того, в каких муках рождалось знакомое ему хрестоматийное понятие.

Наконец, книга В. Ячменика предлагает ряд сюжетов для дальнейшей разработки. Например, «чрезвычайный» дар харизмы, осмысленный в качестве такового у Н. А. Заозерского и Н. Н. Глубоковского и сыгравший свою роль в дебатах о восстановлении патриархии, наверняка вызовет интерес у авторов, работающих в русле популярной в России шмиттианской политической теологии.

Список источников / References

Борщ И. В. (2021) Харизматическое лидерство в католической церкви. *Современная Европа*, (2), с. 147–157. EDN: NIAZOG. <https://doi.org/10.15211/soveurope22021147157>

269

— Borshch I. (2021). Charismatic leadership in the Catholic Church. *Contemporary Europe—Sovremennaya Evropa*, (2), pp. 147–157. (in Russ.) <https://doi.org/10.15211/soveurope22021147157>

Вебер М. (2019) *Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии*. Т. IV. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». EDN: WXVKQ

— Weber M. (2019). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Vol. IV. M.: Izd. dom VShJe. (in Russ.)

Войшвило Е. К. (1989) *Понятие как форма мышления. Логико-гносеологический анализ*. М.: Изд-во Московского университета.

— Voyshvillo E. K. (1989) *The Concept as a Form of Thought: A Logico-Epistemological Analysis*. M.: Izd-vo MGU. (in Russ.)

Гадамер Х.-Г. (1991) *Актуальность прекрасного*. М.: Искусство.

— Gadamer H-G. (1991) *The Relevance of the Beautiful*. M.: Iskusstvo.

Гидулянов П. В. (1916) *Сущность и юридическая природа церковного властовования*. Пг.: Сенатская тип.

— Gidulyanov P. V. (1916) *The Essence and Legal Nature of Ecclesiastical Authority*. Petrograd: Senate Printing House. (in Russ.)

Жеребин А. И. (2011) *Вертикальная линия. Венский модерн в смысловом пространстве русской культуры*. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова. EDN: QWMFBX

— Zherebin A. I. (2011) *Vertical Line: Viennese Modernism in the Semantic Space of Russian Culture*. SPb.: Izd-vo N. I. Novikova. (in Russ.)

Крихтова Т. М. (2022) Восприятие женского лидерства неохаризматическими церквями на примере церкви «Слово жизни». *Технологос* (1), с. 74–85. EDN: NTSKJW. <https://doi.org/10.15593/perm.kipf/2022.1.06>

— Krihtova T. M. (2022). Perception of women's leadership in neo-charismatic churches on the example of “the word of life” church. *Technologist* (1), pp. 74–85. (in Russ.) <https://doi.org/10.15593/perm.kipf/2022.1.06>

Ле Ридер Ж. (2009) *Венский модерн и кризис идентичности*. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова.

— Le Rider J. *Viennese Modern and the Identity Crisis*. SPb.: Izd-vo N. I. Novikova. (in Russ.)

Скиннер К. (2018) *Значение и понимание в истории идей*. В: Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. М.: Новое литературное обозрение.

— Skinner Q. (2018) *Meaning and Understanding in the History of Ideas*. M.: Novoye Literaturnoye Obozreniye. (in Russ.)

Смирнов С. И. (1906) *Духовный отец в древней восточной церкви (История духовничества на Востоке). Исследование в двух частях. Часть I (Период вселенских соборов)*. Сергиев Посад.

270

— Smirnov S. I. (1906) *The Spiritual Father in the Ancient Eastern Church (A History of Spiritual Direction in the East). A Study in Two Parts. Part I (The Period of the Ecumenical Councils)*. Sergiev Posad.

Шорске К. Э. (2001) *Вена на рубеже веков. Политика и культура*. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова.

— Schorske C. E. *Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture*. Spb: Izd-vo N. I. Novikova. (in Russ.)

Ячменик В. А. (2022) Стратегии использования понятия харизмы в русской мысли конца XIX — первой трети XX в. *Социологическое обозрение*, (4), с. 34–56. EDN: GRYSSA. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2022-4-34-56>

— Yachmenik V. (2022) Institution or inspiration: Strategies for using the concept of charisma in Russian thought of the late 19th — the first third of the 20th centuries. *Russian Sociological Review*, (4), pp. 34–56. (in Russ.) <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2022-4-34-56>

Ячменик В. А. (2023) *Представления о феномене харизматической власти в церкви в русском богословии начала XX в. (историко-понятийный аспект)*: дисс. ... канд. теологии: 5.11.1. — ПСТГУ, М. — 253 с. EDN: BYXPSP.

— Yachmenik V. (2023) *Conceptions of the Phenomenon of Charismatic Authority in the Church in Early 20th-Century Russian Theology (A Historical-Conceptual Aspect)*. (in Russ.)

Ячменик В. А. (2025) *«Духовные вожди». Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века*. М.: Новое литературное обозрение.

— Yachmenik V. (2025) *“Spiritual Leaders.” The Concept of Charisma and Figures of Religious Leadership in Early 20th-Century Russia*. M.: Novoye Literaturnoye Obozreniye. (in Russ.)

- Barr J. (1962) *The Semantics of Biblical Language*. Oxford University Press.
- Beetham A. C. (Ed.) (2021) *The Concise New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis*. Zondervan Academic.
- Silva M. (1995) *Biblical Words and their Meaning*. Zondervan Academic.
- Silva M. (Ed.) (2014) *New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis*. Zondervan Academic.

Об авторе / About the author

Благодаров Кирилл Сергеевич — редактор кафедры литературно-художественной критики и публицистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Научные интересы: теория медиа, история литературной критики, методология интеллектуальной истории.

<https://orcid.org/0009-0001-0626-9495>. E-mail: blagodarov.journ@yandex.ru

Kirill S. Blagodarov — editor, Department of Literary and Art Criticism and Publicism, Lomonosov Moscow State University. Research interests: media theory, history of literary criticism, methods in intellectual history.

<https://orcid.org/0009-0001-0626-9495>. E-mail: blagodarov.journ@yandex.ru

271

Научный и общественно-политический журнал

СОЦИОЛОГИЯ

ВЛАСТИ

Том 37, № 3 (2025)

«ТЕОРИИ НАСИЛИЯ»

Дизайн Трушина Е. В.

Корректура Кроль И. Е.

Верстка Меерсон А. В.

Учредитель:

Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

ISSN 2074-0492 (Print)

ISSN 2413-144X (Online)

119571, Россия, Москва, пр-кт. Вернадского, д. 82
Редакция журнала «Социология власти»

<https://socofpower.ranepa.ru>

E-mail: soc.of.power@gmail.com

Цена свободная

Подписано в печать: 16.10.2025

Дата выхода в свет: 23.10.2025

Формат 70×100/16

Тираж 500 экз.

1-ый завод (1-50 экз.)

Отпечатано в типографии ИД «ДЕЛО»

119571, Москва, пр-кт Вернадского, 82